

# ДРУЖБА НАРОДОВ



- **Александр Бородиня**  
Самолет над квадратным озером  
*Историческая поэма*
- **София Григорова-Алиева**  
Я целую тебя в губы  
*Роман*
- **Генрих Сапгир**  
Когда небо дымится солнцем...  
*Стихи*
- **Николай Шмелев**  
Безумная Грета  
*Повесть*
- **Валерий Алтухов**  
Катастрофы — не неизбежны

## 9'94

# ДРУЖБА НАРОДОВ



*Независимый  
литературно-художественный  
и общественно-политический  
ежемесячник*

9'94

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан  
в марте 1939 года

## СОДЕРЖАНИЕ

|                               |   |     |
|-------------------------------|---|-----|
| Вячеслав<br>ПЬЕЦУХ            | Гадание на бобах  | 3   |
| <i>Проза и поэзия</i>         |   |     |
| Александр<br>БОРОДЫНЯ         | Самолет над квадратным озером.<br><i>Историческая поэма</i>   | 9   |
| Генрих<br>САПГИР              | Когда небо дымитя солнцем...<br><i>Стихи</i>  | 60  |
| Николай<br>ШМЕЛЕВ             | Безумная Грета.<br><i>Повесть</i>   | 63  |
| Сергей<br>ХАЗАНОВ             | Между грядущим и былым...<br><i>Стихи</i>   | 97  |
| София<br>ГРИГОРОВА-<br>АЛИЕВА | Я целую тебя в губы.<br><i>Роман. С болгарского. Перевод Фаины Гримберг</i>   | 100 |
| Борис<br>ВИКТОРОВ             | Птица певчая, птица ловчая...<br><i>Стихи</i>   | 147 |
| Йокко<br>ИРИНАТИ              | Алой тушью по черному шелку...<br><i>Из эротической поэмы.</i><br><i>Перевод Натальи Богатовой,<br/>Ирины Ермаковой</i> | 150 |

## *Нация и мир*

|                    |   |     |
|--------------------|---|-----|
| Валерий<br>АЛТУХОВ | Катастрофы — не неизбежны.<br>О смене мировых порядков и перспективах<br>общественного развития | 153 |
|--------------------|---|-----|

## *Публицистика*

|                    |                   |     |
|--------------------|-------------------|-----|
| Юрий<br>КАГРАМАНОВ | Если завтра война | 162 |
|--------------------|-------------------|-----|

## *Критика*

|                   |  |     |
|-------------------|--|-----|
| Роман<br>АРБИТМАН | Мы одни плюс разбитое зеркало.<br>Фантастика сегодня: воспоминания<br>о будущем и предсказания назад | 174 |
|-------------------|--|-----|

|                    |                    |     |
|--------------------|--------------------|-----|
| Александр<br>ЗОРИН | Выход из лабиринта | 184 |
|--------------------|--------------------|-----|

## *Эхо*

|                  |                    |     |
|------------------|--------------------|-----|
| Лев<br>АННИНСКИЙ | — Привет, соседко! | 190 |
|------------------|--------------------|-----|

|  |         |     |
|--|---------|-----|
|  | Summary | 192 |
|--|---------|-----|

Дорогой читатель!

В связи с исключительно тяжелым финансовым положением мы вынуждены временно сократить объем книжки «Дружбы народов». Надеемся на Ваше понимание и сочувствие.

Главный редактор  
Вячеслав ПЬЕЦУХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Денис ДРАГУНСКИЙ, Владислав ЗАЛЕЩУК, Наталья ИГРУНОВА, Владимир МЕДВЕДЕВ, заместитель главного редактора Владимир ПОТАПОВ, заместитель главного редактора Бронислав ХОЛОПОВ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Василь БЫКОВ, Альгимантас БУЧИС, Евгений БУДИНАС, Юрий В. ДАВЫДОВ, Тиркиш ДЖУМАГЕЛЬДЫЕВ, Нафи ДЖУСОЙТЫ, Иван ДЗЮБА, Фазиль ИСКАНДЕР, Грант МАТЕВОСЯН, Геннадий ЛИСИЧКИН, Евгений ПОПОВ, Кнут СКУЕНИЕКС, Константин ЩЕРБАКОВ, Атнер ХУЗАНГАЙ, Лев ХУНДАНОВ

© «Дружба народов» № 9, 1994.

---

Вячеслав Пьецух

## Гадание на бобах



Отчего-то человечество, особенно небогатая его часть, исстари стремилось хоть одним глазком заглянуть в грядущее, точно оно медом ему намазано, точно оно определено таит в себе радостные перемены или, напротив, ужасные катаклизмы, что с точки зрения праздного любопытства совершенно одно и то же. Даром что давным-давно сказано у Екклесиаста: «во многия знания многия печали» — хлебом нашего брата не корми, а подай ему хоть приблизительные сведения о грядущем, чего ради он от седой древности эксплуатирует цыган, звездочетов, юродивых, предсказателей по призыванию, вроде пифий, а также завел себе гадание на картах, на кофейной гуще и на бобах; специалисты говорят, что самое верное будет как раз гадание на бобах. И все-то человеку не терпится предугадать, от душещипательной цифири после черточки на надгробии до движения цен на продовольственные продукты. И вот, спрашивается, зачем? Да, наверное, ни за чем, затем, что, как сказано у Достоевского, «человек есть двуногое существо и неблагоприятное», то есть вроде бы живи и радуйся, пребывая в спасительном неведении относительно очередного государственного переворота или даты своей кончины, сиречь пользуясь величайшим благом, завещанным нам от Бога... и все-таки любопытно, до нитя под ложечкой любопытно: какие еще гадости нам готовит грядущий день?

В сущности, это любопытство не так уж и трудно удовлетворить, если оттолкнуться от опыта прошлого, прибегнуть к законам неформальной логики и принять в расчет некоторые шальные отклонения от столбового исторического пути и линий судьбы, начертанных на ладонях. Даже проще: что ни предскажи, все сбудется, поскольку возможности человека значительно превышают силы воображения, недаром пос-

ледовательно реализуются прогнозы ясновидящего Нострадамуса, предвосхитившего и Великую французскую революцию, и обе мировые войны, и множество прочих общечеловеческих неприятностей, а впрочем, он напустил такого поэтического тумана, что в каждом катрене мерещится намек на большевистский переворот. И даже еще проще: как говорится, к бабке ходить не нужно, чтобы, например, проникнуть будущее гг. Мюллера, Брауна и Дюпона — все помрут, если, конечно, какой-нибудь русачок с тоски не синтезирует эликсир вечной молодости, который немедленно запатентуют приспешники капитала; то же самое не мудрено угадать ближайшее будущее, скажем, Бельгийского королевства — конституционная монархия плюс стопроцентный социализм, если, конечно, какому-нибудь очумелому нашему соотечественнику не вздумается омыть в Шельде солдатские сапоги.

Что до России, то, по правде говоря, провидеть ее ближайшее будущее невозможно, как ни раскидывай бобы, раз за разом вырисовываются фигуры, подозрительно смахивающие на кукиш, а все потому, что русская жизнь на неожиданности таровата, даже и чересчур, к тому же развивается она отнюдь не по законам гегелевской диалектики, но некоторым образом наоборот, и несет ее, Мать, от подпункта «вчера» до подпункта «завтра», как пьяного домой несет — зигзагами и кругами. Оттого-то нашей России одинаково блазнит экономическое возрождение и хозяйственная разруха, упрочение демократических институтов и фашистская диктатура, органическое вращение в сообщество цивилизованных государств и третья мировая война из-за широкого распространения по Москве вялотекущей шизофрении. Точно также невозможно предсказать, что будет завтра с Ивановым, Сидоровым и Петровым, ибо хождения по

тротуарам и после наступления темноты у нас довольно рискованные предприятия, качественные показатели алкоголя по сносшибательности приближаются к цианидам, а национальный характер вообще таков, что человек может собраться в Большой театр, но в результате оказаться на похоронах, в Нижнем Новгороде, за решеткой или под кроватью чужой жены. Мюллер, Браун и Дюпон как договорятся через десять лет слегка обмыть в кафе «Ротонда» выгодное вложение, коли оно действительно окажется выгодным, так и не отступят от своего решения ни на йоту, а с нас, в сущности, чего взять, если в России даже таяние льда происходит не по Цельсию, а в силу неблагоприятно сложившихся обстоятельств.

Но отдаленное будущее нашего отечества вроде бы просматривается вполне, по крайней мере, виден его каркас: как была родимая земля велика и обильна, такой она и останется, как не было в ней порядка, так и не будет, хоть ты смертную казнь вводи за непристойные надписи на заборах. И через эту твердокаменную конституцию нам, похоже, до скончания века не перешагнуть, ну ниша у нас такая, такое вот чертово назначение — изумлять поднебесный мир, вернее, заинтересованную его часть, хитросплетением безалаберности, чувства долга, беспричинной жестокости, детского добродушия, низменных порывов, космической высоты духа, бессребреничества, жуликоватости, изысканной мысли, дурасти и стоптанных каблучков. Миссия эта, конечно, неблагодарная, но у каждого свое: у голландцев тюльпаны, у американцев сокровища, а у нас чертово назначение — беспокоить мировое сообщество на тот счет, что эволюция человека вовсе не пресеклась.

Так вот, относительно далекого будущего Руси. Если отталкиваться от опыта прошлого, то принципиальнейший вывод, который напрашивается у каждого маломальски сведущего лица, будет состоять в том, что русскому народу сильно не повезло на правителей, а правителям на народ; этот-то мезальянс, видимо, и послужил коренной причиной такого общественно-хозяйственного устройства, какое у нас в просторечье называется бардаком. Начиная с князя Игоря Рюриковича, как известно, ограбившего древлян и за то умерщвленного в окрестностях града Искоростени, недоразумения между властями поддерживающими и подданными Российской державы приобрели хронические черты, и нет другой такой страны в мире, где население столь горячо и непреклонно не симпатизи-

ровало бы администрации, как в России. Это, собственно, и понятно, поскольку монархи и государственные мужи точно по обету куражились над народом, испытывая его на кручение и излом: то кровожадный параноик возьмет и поделит страну на два самостоятельных образования, да еще определит в сопредельные государи, выкреста из татар, то беспокойный деспот, помешанный на судовождении, велит православному облачиться в бусурманское платье, введет налог на бороды и отдаст страну на откуп европейским хриstopродавцам, то великовозрастный озорник запретит носить модные шляпы под страхом ссылки в Сибирь и наложит вето на всякие сообщения с заграницей, то волоокий красавец с фельдфебельскими повадками заставит писать слово «Бог» с маленькой буквы и объявит сумасшедшим умнейшего из своих подданных, то бывший семинарист и разбойник с большой дороги под благовидным предлогом возродит рабовладельческую империю, а его преемник из подпасков вздумает Америку покорить. Со своей стороны, жители Российской державы тем досаждали властям преержажившим, что уж больно непредсказуема была их реакция на кручение и излом: то безмолвствовал народ под игом изуверов и дураков, покорнонося самые дикие надругательства, то вдруг по сравнительно пустячному поводу ударялся в такой неистовый бунт, «бессмысленный и беспощадный», что половина страны лежала в руинах, точно Мамай прошел; чудно сказать, но московское восстание 1612 года, вызвавшее гражданскую войну, хозяйственную разруху и страшный мор, случилось из-за того, что царь Лжедмитрий I не спал после обеда и потому восстановил против себя ортодоксально настроенных горожан. Еще российские подданные были несносны тем, что могли трудиться не иначе как из-под палки, поскольку кривая исторического процесса вогнала изначально работающую Русь в стойкую ипохондрию и с восьми до пяти она преклась не об интенсификации производства, а как бы насолить соседу по этажу, что Ивановы, Сидоровы и Петровы до неузнаваемости извращали всякие трезвые начинания, постоянно ехидничали в адрес администрации и думали не столько о материальном благополучии, сколько о ходе ночных светил. Но самая загадочная наша гражданственная черта, вероятно, ставившая в тупик и деятелей и наблюдателей, была та, что своих тиранов народ не только терпел, но даже боготворил, во всяком случае, ни при Иосифе Джугашвили, ни при Анне Иоанновне,

ни при Иване IV Грозном не было отмечено ни одного сколько-нибудь масштабного возмущения, а того же Лжедмитрия I, пытавшегося ввести в обиход общественные туалеты, москвичи выбросили с третьего этажа, а царю Петру Федоровичу, вздумавшему отменить политический сыск и допросы с пристрастием, проломил шандалом череп, а Павла I, давшего крепостным крестьянам значительные послабления, жестоко искоренявшего казнокрадство и создавшего огромные запасы хлеба на случай неурожая, удавили гвардейским шарфом, и Александра II, упразднившего рабовладение, уходили народовольцы, и государя Николая Александровича, горемыку, фотолюбителя и редкого чадолюбца, походя расстреляли большевики, и последнего всесоюзного самодержца Михаила Сергеевича, исполнившего вековую народную мечту о свободе слова, печатного и непечатного, его же царедворцы упрятали под замок, — одним словом, стоило дать поблажку нашему соотечественнику, чуток поослабить вожжи или того хуже — сделать ему добро, как в нем немедленно просыпался ратоборец и пироман.

Да и поныне так ведется, в рамках еще не простывшей истории нашего государства, что и правители изгаляются над народом, и народ безобразничает, почувствовав слабинку. При башибузуках со Старой площади, которые то встречный план нам устраивали, то борьбу против космополитизма, то очередную новую Конституцию, то рыбный день, лишь отчаянные единицы явно протестовали против азиатских ухваток администрации, массы же, как водится, безмолвствовали и вредили исподтишка, например, методично растаскивая все лежащее плохо и хорошо, но стоило этим массам высочайше пожаловать право на человеческое достоинство, как тут же из теплых щелей поналезли бандиты, жулики и кликуши с идеей примата русско-большевистского начала над европейской цивилизацией или, на худой конец, нового персидского «похода за кушаками». Таким образом, исходя из опыта прошлого, есть все основания полагать, что еще долго не пресечется семейная склока между властителями нашего государства и подданными оногo государства, функционируй они хоть в стремных условиях демократии, хоть под гнетом привычного самовластья. Следовательно, порядка ну никак не приходится ожидать в этой стране, что широка и обильна, особенно на дураков, и в отдаленном грядущем константой российской жизни по-прежнему останется нестроение и вражда. Сдается, что именно так и будет. А может быть, и не так...

Теперь раскинем бобы, уповая на неформальную логику, которая тем отличается от формальной, что она учитывает не только количественный, как арифмометр, но и качественный показатель явления, как часы. Так вот, если подойти к грядущему общественно-хозяйственному развитию на Земле, оперируя законами неформальной логики, то, во-первых, нужно будет отдать Марксу Марксово: бытие в большинстве случаев действительно определяет сознание, а характер собственности отчасти — государственное устройство, социальные превращения вытекают из единства противоположностей, и мир ни в коем случае не замрет на капиталистическом способе производства по той простой причине, что все течет, но при этом дело пойдет не совсем по каноническому писанию, так как самая рассоциалистическая республика не всегда в состоянии обеспечить благосостояние и порядок, а монархическое устройство — не обязательно беззаконие, публичные казни и нищета. Отсюда вытекает неформально логическая перспектива, надо сказать, удаленная, даже слишком: человечество хотя и черепашьим шагом, мирно либо с боем, уклончиво, даже и наобум, но последовательно движется к той высоко организованной общности тружеников и лоботрясов, которая называется коммунизмом, причем параметры этого исторического движения в гораздо большей степени зависят от интеллекта созидателей, вроде великого Альберта Германовича или прилежания какого-нибудь безвестного Ивана Ивановича, нежели от хотения бузотеров, вроде Льва Давидовича или Владимира Ильича. В том-то все и дело, что наше грядущее питает объединенный труд, а не классовые противоречия, и это было ясно даже тогда, когда на одного богатея приходились многие тысячи бедняков, тем паче это должно быть ясно в нынешнюю многообещающую эпоху, когда уже и в России не голодают, даром что против нее ополчилось все: ну учы с кожаными портфелями, наш преподавательный персонал с его ленькой, убогой агротехникой и пристрастием к алкоголю, четыре времени года, метеорологические условия и суглинки. В том-то все и дело, что человечество на глазах благоустраивается, богатеет за счет перераспределения материальных благ и научно-технического прогресса и, следовательно, унимает социальную напряженность, ибо на пособие по безработице уже можно съездить проветриться на Канарские острова, и вообще человечество постепенно приближается к такому уровню общественно-

го благосостояния, когда деятельная его часть способна обеспечить пристойное существование болящим, празднующимся, патологическим бездельникам и витающим в облаках. Такое социально-экономическое устройство, вероятно, и есть коммунизм, общинность, коли оно дает возможность сильным содержать слабых, как это и водится в любом клане, в любой семье, а отнюдь не механическое распределение национального дохода между трудящимися и отлынивающими, не сосредоточение средств производства под дланью деспотов и невежд, не унификация человека под грезу малокровного референта, каковая унификация особенно дорога воспаленному сердцу большевика. Кстати заметим, что большевизм есть глубоко отечественное течение, нахрапистое и во многом ориентированное на авось, большевизм — это коммунизм, перешитый на босняка, и правый марксист так же отличается от правого ленинца-сталинца, как фармаколог от коновала, так что большевикам по логике вещей следовало бы избрать своим лозунгом не «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а «Лучшее средство от перхоти — гильотина». Собственно же коммунизм, в редакции реалистической и культурной, уповает на органическое превращение количества материальных благ в качество гуманистических общественных отношений, хотя бы это превращение без эксцессов не обошлось, поэтому всякий настоящий марксист есть неумолимый работник на капитал; собственно коммунизм представляет собой предвидение такого социально-экономического устройства, которое освободит человечество от забот о насущном хлебе и, таким образом, наставит его дальнейшую эволюцию на путь совершенствования разума и души, поэтому всякий настоящий марксист последовательно работает на Христа. Что же до равенства всех людей независимо от каких бы то ни было принадлежностей, на котором легкомысленно настаивали первые христиане и отцы научного коммунизма, то от него отказались даже башибузуки со Старой площади, поскольку уж слишком ясно, что до скончания дней на земле будут существовать умные и глупые, здоровые и больные, потому что бродяга мечтает о крыше над головой, а не о звании чемпиона по русским шашкам.

Это занято, но наша Россия, может быть, прежде прочих ввалится в «коммунистическое далеко», несмотря на то, что теперь она самое неблагоустроенное европейское государство, если Албанию не

считать, ибо для этого имеются фундаментальные предпосылки. Во-первых, среди русских водится избыточное множество идеалистов, которые отродясь не пеклись о насущном хлебе, которым другой пары ботинок и то не нужно, что в значительной мере упрощает материально-техническую задачу, во-вторых, Россия сказочно богата природными ресурсами и при разумной дезорганизации хозяйства, приобщении к делу ушлого производителя, повсеместном внедрении драконовской дисциплины и нейтрализации дурака всяческое изобилие — вопрос пары десятилетий, в-третьих, русский человек — прирожденный коллективист, от Гостомысла коллективист, и ему сильно довлеет общественное начало. При такой-то уникальной комбинации благ и качеств, в сущности, было бы даже и мудрено, если бы Россия не вышла в пионеры исторического процесса, на чем мы, как известно, один раз уже обожглись, однако и то надо принять в расчет, что первый прорыв оказался не органическим, то есть не обеспеченным единством противоположностей, именно противоречием между избыточным богатством и архаическим способом распределения, но самовольным и искусственным, как преждевременные роды, спровоцированные нетерпеливостью маньяка-родителя и вредоносной операцией над родительницей, а в результате таких хулиганских родов на свет может появиться только нежизнеспособное, глубоко дебильное существо.

Итак, коммунизм, в редакции реалистической и культурной, — точно неотвратимое будущее человечества, к которому оно подойдет скорее всего околицей, безболезненно и не скоро, причем не исключено, что России опять придется торить тропу. Сдается, что именно так и будет. А может быть, и не так...

И все бы хорошо, кабы не шальные отклонения от столбового исторического пути и линий судьбы, начертанных на ладонях. Недаром русский народ говорит: «И рад бы в рай, да грехи не пускают», — имея в виду не столько мелкое стяжательство и супружеские измены, сколько нечто вольноопределяющееся, в высшей степени шептунное, что сидит занозой в нашем национальном характере и время от времени наставляет русака на чуждую, а в худшем случае и на несправедную стезю. Допустим, у одного написано на судьбе тротуары подметать, а он сочиняет прозу, у другого — пилотировать военные вертолеты, а он государством управляет, у третьего — опровергнуть теорию относительности, а он пьет горькую и регулярно меняет жен. В

итоге, разумеется, непорядок, потому что редкий человек на Руси занимается своим делом, зато почти каждый настолько универсален, что ему в равной степени по плечу и с государством управиться, и теорию относительности раздраконить, в чем, собственно, все и горе, но главное, тайна тайн, какая муха его укусит в следующую минуту и что за благоденствие или пакость он сподобится учинить. «Тому в истории мы тьму примеров слышим»: князь Владимир Святославович, отъявленный язычник, пьяница, женолюб, вдруг ни с того ни с сего ударился в истое христианство; Степан Тимофеевич Разин, демократ и борец за социальную справедливость, ни за што ни про што девушку утопил; царь Павел I под горячую руку послал казаков воевать Индию и заодно вызвал на дуэль всех европейских монархов, которые не одобряли его внешнеполитическую доктрину; капиталист Савва Морозов, помогавший материально революционерам, жуировал в Ницце, жуировал и вдруг застрелился из дамского пистолета.

Та же внезапная переменчивость, не всегда поддающаяся логическому анализу, характерна и для всей государственности российской, что, конечно, неудивительно, поскольку власти предрожания и подведомственный им народ не серафимы какие бестелесные представляют, а те же самые родимые русачки. Впрочем, наша ветреность не всегда бывает чужда логическому началу, скажем, если у правителя вдруг жена загуляла или сын из буфета ворует сахар, то жди обальной инфляции и серии катастроф, а если подданного с недельку продержать на тюремной пайке, то он, наверно, разразится ядовитым стихотворением, обличающим практику взаимных неплатежей. Также затейливо логичны и все наши коренные перевороты: вот вроде бы суждено было русскому племени по геополитическим причинам коснеть в собирательном образе Микулы Селяниновича, который так любезен нашим славянофилам, кое-как ковырять землю, хороводы водить да с опаской поглядывать за Оку на предмет очередного нашествия крымчаков, ан нет — один-единственный энергичный мужик, зачарованный крахмальными фартуками немочек и загадочным добродушием мюнхенских пивоваров, взял и перекроил Россию по всеневистному европейскому образцу, да еще так ловко перекроил, что всего через каких-нибудь двадцать лет наше отечество из захудалой Московии превратилось в могущественную империю, которая держала в струне все окрестные государства;

или вот оттого, что у нас ружья чистили кирпичом, случилось поражение в Крымской кампании, потребовавшее многих общественно-хозяйственных корректив, и по ходу дела русский народ до такой степени эмансипировался, что скакнул из рабовладельческой формации в коммунизм, хотя бы и военный, в то время как ему по хорошему следовало миновать стадию развитого капитализма, который, по крайней мере, унял бы нашу ордынскую хромосому и отучил бы от экстенсивного способа бытия. Итак, разнообразные кривые относительно столбового исторического пути, с одной стороны, выглядят затейливо логичными, а с другой — действительно шальными, ибо по большей части зависят от чепухи, как то: крахмальных фартуков и толченого кирпича, поэтому predetermined путешествие в коммунистическое далеко, похоже, будет не из приятных, с поломками, соловьями-разбойниками, блужданиями меж трех сосен, непредусмотренными остановками, но, правда, обязательно с задушевыми песнями ямщика.

Да и сама коммунистическая формация образуется совсем не в том виде, в каком она грезилась отцам-основателям, тем паче «отцам народа», а выдастся она куда будничней, прозаичней, пожалуй, даже и не без обыкновенной российской неразберихи, ибо корень всему — русак с его преподобными свечаями и обычаями, а не тоталитаризм, который еще декабрист Лунин характеризовал как «царство грабежа и благонамеренности», и не демократия, которую следует квалифицировать как государство благих намерений, но главным образом грабежа, тем более что при тоталитаризме простолюдину всегда жилось сравнительно весело и удобно, а в условиях демократической республики головоломно, беспокойно, голодно — в общем, нехорошо. Таким образом, если исходить из того, что настоящего порядка нам до скончания века не видать как своих ушей, то и в коммунистическую эпоху у нас постоянно будет что-нибудь да не так, например, пиво, которое пойдет в квартиры по трубам напрямую с Бадаевского завода, станут время от времени отключать с той же периодичностью, что и горячую воду, например, жены будут по-прежнему казнить своих запойных мужей, невзирая на Кодекс строителей коммунизма, ну разве что с помощью компьютерной техники, а не банального кухонного ножа, и когда по завету Ильфа на каждом углу начнут даром раздавать кондитерские изделия, на угол, положим, Тверской и Козицкого переулка вместо конфет завезут уксусную

эссенцию, и это еще хорошо, если уксусную эссенцию, а не патроны для АКМ. Но зато культурное строительство человека пойдет у нас гораздо живее, шибче, чем у наших меркантильных соплянетян — этим еще долго предстоит выдавливать из себя по капле соискателя бранных благ, потому что вековая бедность отбила у русака вкус к материальному процветанию и настроила его на лирическую струну. Посему и впредь жить на Руси будет беспокойно, но интересно и по-своему весело, как нигде.

Что же до форм общественного устройст-

ва, которые сложатся на Руси с построением материально-технического фундамента коммунизма, то тут бабушка надвое сказала: это может быть и демократия по уездам, но если русский мужик одумается и поймет, что демократия есть равенство на посредственность, не исключена разумная диктатура, соединяющая в себе неограниченную свободу для культурного элемента и строго подневольное состояние для животного в образе человека, разгильдяя и крупного дурака. Сдается, что именно так и будет. А может быть, и не так...

*Александр Бородыня*

# Самолет над квадратным озером

*Историческая поэма*



В природе вещей сие не принято, но изредка, как исключение, как случайный солнечный луч, попавший в темную комнату, вдруг освещается кусочек прошлого, как вырванный из контекста фрагмент; он только ужасная, без смысла, пародия, не больше. Не следует его пугаться.

*О.М.*



Причал блестел — узкое огромное зеркало. Ветер энергично рассеивал по этой отражающей плоскости ледяную легкую воду. Архангельское солнце в зените: оно сияло под ногами, слепило, оно сверкало над головой, как точка, как алмаз, и одновременно оно было везде — злое, осеннее, холодное.

Прозрачные большие волны упруго обхаживали ржавые бока плавучего ресторана. Ресторан, закрытый на ремонт, выглядел довольно безжизненно, небольшой и неряшливый, он удачно контрастировал с белым неподвижным корпусом теплохода «Казань». Теплоход был новенький, огромный, сияющий.

Волны, ударяясь о бетон, рассыпались в ледяную колючую пыль. Они дотягивались до лица — краткие соленые укусы, моментально подсыхающие на ветру. Если такая капелька попадала на губу или ниже губы, можно было слизнуть горький микрон Белого моря. Если капелька попадала выше, например, на щеку или на лоб, ее можно было потерять перчаткой. Попадая в глаз, она жгла.

Потом ветер вдруг стих, но это никак не изменило общего настроения. Выброшенные на причал первым туристическим автобусом, пассажиры чувствовали себя неважно. Их было немного, всего человек пятнадцать. По-московски суетливо они топтались на месте, кутались в плащи и куртки, курили, плевали в воду, обменивались анекдотами, кашляли и сморкались.

С точки зрения белой чайки, парящей над огромным морем, толпа была всего лишь цветной россыпью на бетонном пылающем зеркале пирса. Совсем иначе горстка людей смотрелась с самолета. В ту минуту, когда прекратился ветер, легкий военный бомбардировщик попал в тяжелую ситуацию. Разом заглохли все двигатели. Торжественно и бесшумно он планировал над городом; медленно погружаясь в воздушный сияющий океан все глубже и глубже. Два корабля с самолета выглядели, как два пятнышка: черное и белое, пирс был похож на очень длинную металлическую пластинку, отрезающую город от воды. Пилот нарочно посмотрел вниз, когда мотор его машины неожиданно потерял голос. У пилота всегда была такая возможность — маленький, из толстого зеленого стекла иллюминатор в ногах.

— Посмотрите-ка! — Рука в перчатке указывала на самолет. Снизу он казался втрое меньше парящей чайки. — Послушайте, нет, вы прислушайтесь!.. Ведь никакого звука. Я не знал, что теперь такие делают, вообще без звука.

— Советский?

— Конечно... В том-то все и дело. Прислушайтесь, прислушайтесь, ведь совершенно ничего, никакого шороха даже...

— Действительно, странно... Советский, и не гудит.

Самолет падал, но этого никто не понимал. Единственный среди пассажиров, сгрудившихся на пирсе, орнитолог мог бы сказать об отряде и подотряде парящей чайки, но он тоже не разобрался в самолетах.

Только один молодой человек испытал приступ возбуждения. До этой минуты он что-то лихорадочно записывал в блокнот, а теперь затянул пояс своего тяжелого коричневого плаща. Он, так же как и остальные, не понимал опасности происходящего, но чуть романтика среагировало на отсутствие звука, как любое изящное отклонение от нормы, это заострило внимание. В поисках объяснения молодой человек огляделся вокруг, но наткнулся лишь на еще одно изделие ВПК.

Наравне с прочими пассажирами ожидал загрузки на «Казань» оцинкованный гроб. Его привезли позже всех на зеленом микроавтобусе, вынули и поставили прямо на бетон в тонкую огромную лужу. Дрожащий от холода и отвращения групповод, перескакивая с официального тона на злую шутку, пытался объяснить, что, мол, никакой мистики здесь нет, ровным счетом ни грана потустороннего, просто юноша возвращается в таком неприятном виде к себе на Родину, по месту проживания, так сказать, на Большой Соловецкий остров.

Не слушая идиота групповода, высокая светловолосая девушка заглянула в раскрытый на весу поэтический блокнот, прищурилась и, стараясь прочесть, даже облизала губки кончиком языка.

— Что это? — спросила она. — Что-то написал? Покажешь? — Ее яркая легкая куртка не могла согреть, девушка дрожала. — У тебя лицо даже переменялось... Ну, покажи! — Она потянулась к блокноту. Длинный шарф, трижды обматывающий шею, но все равно захватывающий пушистыми концами воду, описал дугу. — Покажи! — Ноги в красивых туфельках отбили чечетку, большие глаза под натянутой полосой шерстяной вязаной шапочки вспыхнули. — Что ты написал?

— Ничего.

Его рука указывала в небо, на самолет. Девушка проследила за рукой, прищурилась против солнца. Полминуты она пыталась сообразить, в чем же дело, потом зажала ладошкой себе рот. Глаза ее от восторга еще сильнее распахнулись и еще сильнее заблестели. В глазах этих можно было прочесть: «Неужели?!. Неужели рванет?»

«Она, не отрываясь, смотрела на самолет, а молодой человек, сминая в замерзшей руке жесткий блокнот, смотрел уже только на нее. Страх отступил, сменившись пониманием, и он попытался сравнить свою подругу вечернюю с нею же полуденной. Она, вечерняя, хорошо держалась в памяти. Худенькое женское тело, свернувшееся в мяукающий клубок на казенной простыне гостиничного номера. Она, вечерняя, истекала нетерпением, и глаза ее смыкались в предвкушении одновременного для двоих глубокого сна, она всегда рассчитывала на общее сновидение. Она закрывала шторы, не скрывая от обитателей соседних домов своей наготы, но и не желая демонстрировать им свою любовь. Она обрезала маленькими маникюрными ножницами ногти у себя на ногах и неприятно шурилась, вызывая этим раздражение, а иногда и ярость. Зато здесь, в полдень, ничего, кроме восторга. Ожидание удара, ожидание моментальной ужасной смерти, как экстаз. Он еще сильнее сдавил блокнот и ощутил то же, что и она. Впрочем, так уже случалось в их игре.

Самолет, белая металлическая точка над Белым морем, все никак не мог упасть. Он планировал, он парил, бесшумный, а в открытый опять блокнот попадали между размашисто выведенных поэтических строк маленькие рисунки: Ее глаза, Ее длинные ресницы, черные тени от этих Ее ресниц, Ее зажатый ладошкой рот. Потом в блокнот въехал острым углом рисунок оцинкованного гроба.

— Разорвет в клочья! — восторженно, но очень тихо прошептала она. — В пыль разнесет!

Пассажиры готовились к посадке на теплоход, и на молодых людей никто не обращал внимания. Тонкий фломастер уперся в лист, рванул, но ничего не вышло. Изобразить, как они превратятся в пыль над Белым морем, поэт не смог ни в строке, ни в рисунке, он только прикусил слегка губу от беспомощности, и рука с фломастером замерла.

Сперва сочно гуднул теплоход, и тут же, обретая свою мощность, включились

разом оба двигателя самолета. Серебряная точка, только мгновение назад совпадавшая с женскими зрачками, покачнулась, пошла вверх и в сторону.

— Жаль! — выдохнула девушка. — А вы говорили, не гудит... Еще как гудит...

Если советский, должен гудеть... Просто какая-то мертвая петля.

— Жаль! — повторил поэт, увидев в ее глазах слезы. — Это могло бы быть так прекрасно.

— Дурак!

— Извиня...

— Ладно, замяли.

Теплоход выдал еще один гудок, вложив свой голос в разрастающийся рев реактивных двигателей. Пассажиры засуетились.

Под ногами пилота в круглом толстом иллюминаторе бетонная полоска с кораблями и людьми прыгнула назад, и осталась только каменная пена. В наушниках кричал, охрипнув от напряжения, молодой голос диспетчера. Один и тот же повторяющийся запрос.

— Не могу катапультироваться, — сказал пилот с облегчением, он выводил свою ожившую машину на иную высоту над морем.

Как свистящее пламя, прошибая гладь бесконечно огромных северных небес, бомбардировщик уходил подальше от города.

— Все в порядке! — сказал пилот, и диспетчер, кажется, услышал его. — Все в порядке.

Была приготовлена совершенно другая фраза. Приготовлена очень-очень давно, лет десять назад, когда он совершал еще свой первый учебный рейс с бомбами на борту. Фраза звучала так: «Буду падать вместе с машиной... Я на себя этого не возьму... Я не виноват...» Много раз он представлял себе катастрофу во всех подробностях, избегая самого плохого конца, он моделировал свою гибель только над пустым, ненаселенным квадратом, над пустыней или над океаном.

Он чувствовал, что вот сейчас, не истечет и двадцати секунд, он ударится о твердую воду и расплывется взрывом, кожей и сердцем ощущал, как это произойдет: сначала взбунтуется желудок, и планку микрофона залепит зеленым и тягучим. Рвота не пропустит больше ни одного сухого слова. Потом он перестанет что бы то ни было видеть, ощущать и помнить.



Ветер налетал порывами, и пассажиры судорожно кутались в свои разноцветные куртки, пальто и шубы. Когда «Казань» произвела третий сочный звук, они лениво потянулись к трапу, задирая головы, потому что на самом верху узкой крутой лестницы, подвешенной под углом к белому металлическому борту судна, стоял сам капитан. Он приобнимал за плечи небольшого роста женщину в коротенькой беличьей шубке. Женщина была без головного убора, ее волосы било ветром, молодая она или старая, не разобрать.

— А капитанская жена ничего, дорогая! — сказала Маруся, глаза ее уже подсохли на ветру и выглядели усталыми.

— А почему ты думаешь, что это жена? Может быть, она сестра?

— Сестре такую шубу мужик не подарит. — Маруся скривила губы. — Если только он голубой?

— Пойдем на судно, что ли?

— Нет... Не хочу... Пойдем в кабак! Видишь, какой он ржавый.

— Не успеем. Кроме того, он, кажется, закрыт.

— Ну, хоть по чашечке сладенького кофе... — неожиданно изменив интонацию, замурлыкала Маруся. — По пирожному, по одному только... На секундочку.

Концы шарфа сильно зачерпнули воду, она подхватила их, и руки в тонких лайковых перчатках стали отжимать тяжелую цветную шерсть. Потом она вдруг вся замерла, наверное, вспомнила свой восторг. Она стояла и смотрела вниз, себе под ноги, в бетонную выемку, полную ледяной воды. Точно такая же она стояла накануне ночью в микроскопической ванной гостиницы, разглядывая себя в чистом зеркале. Зеркало было изуродовано черной молниеобразной трещиной посередине.

— Ладно, ты меня убедил. Не пойдем в ржавый кабак. — Голос у нее был такой же, как и всегда, хрипловатый и нежный. — Увы, он закрыт! На борту кофе пить будем, в нормальном баре! Вот у него в гостях. — И она, бросив концы шарфа, показала рукой на белый китель капитана.

Подкатил второй экскурсионный автобус, через две минуты третий, потом четвертый. Минут через пятнадцать первые пассажиры еще не успели подняться на верхнюю палубу, а к «Казани» уже выстроилась целая очередь автобусов. Они гудели, разворачивались, пытаясь занять место поудобнее, а первый из поднимающихся по трапу уже разглядел лицо женщины в беличьей шубке.

— Все-таки жалко, что он не упал! — с чувством сказала Маруся. — Никогда не видела, как в Белое море падает военный бомбардировщик!

— А в южное море — торговый самолет, ты видела, как падает?

— Нет, не видела, потому что торговых самолетов не бывает. Самолет по определению может быть либо военным, либо пассажирским!

Раскачивались на волнах, почти терлись боками морской красавец лайнер и убожище — ржавая шхуна-ресторан. Толпа, разбиваемая узким трапом на отдельные люди, быстрым ручьем текла вверх. В какой-то момент бегущий ручеек притормозил, по шатким ступенькам двое туристов тащили под руки третьего, одновременно поддерживая его как спереди, так и сзади. При внимательном взгляде можно было вычислить и четвертого в компании, он шел позади. Все они, как пьяный, так и его сопровождающие, были совсем молодые ребята, тепло и красиво одетые, все бородатые и, за одним лишь исключением, шумные. Пьяный более походил на труп, чем на допившегося человека, он был напрочь лишен каких бы то ни было реакций.

Маруся толкнула своего поэта локтем в бок и голосом откровенной дуры сказала:

— Олесь, ты смотри, пьяного на судно тащат! Ведь не пустят!

Позволяя себе идиотскую гримаску, Маруся и становилась полной идиоткой на какой-то отрезок времени. После сильного восторга или ужаса с ней это бывало. Состояние идиотии было своеобразной мимикрией, во-первых, и разрядкой, во-вторых. В таком виде она раздражала необычайно, зато можно было никак не реагировать на сказанное ею, она не требовала внимания.

— Я их видел в гостинице, — сказал Олесь более для себя, чем для нее. — Это ребята из Афганистана. Вчера они были в драной форме. Только теперь вырядились...

Он смотрел на капитана, на пьяного, на других пассажиров, все время сбиваясь взглядом на белый однородный металлический борт судна, и, ощущая уже какую-то неясную тревогу, рылся в памяти.

«Что-то было еще в гостинице? — спрашивал он себя. — Что-то очень странное. Что-то неестественное, опасное... Но что? — Вспомнить не получалось. — Самолет этот меня с толку сбил. Нужно быть внимательнее и не увлекаться всякой ерундой!»

— Проходите, проходите, товарищи. Попрошу не задерживаться на трапе. Не создавайте, гражданин, пробку, не надо! — вдруг громко, так что слышно было даже стоящим в самом низу, закричал капитан. — Не бойтесь, идите-идите, если что-то непонятно, куда идти, так везде же стрелочки нарисованы, читайте, читайте на стенах.

— А кто читать не умеет? — спросил Олесь, отгесняя немного свою Марусю и выходя первым на железную палубу лайнера.

— А кто читать не умеет, тот пусть попросит, чтобы ему прочли те товарищи, которые грамотные! — сказал очень громким голосом капитан.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что вовсе это никакой не капитан, а просто директор туристического маршрута. На его высокой фуражке не было положенной капитану блестящей кокарды. По-польски, двумя пальцами он отсалютовал, когда втащили на палубу оцинкованный гроб.

«Шут гороховый... — подумал Олесь. — А может, и сволочь, а не шут. Сволочь, которая рядится в шута».

— Смотри, какой смешной лжекапитан! — сказала все тем же идиотским тоном Маруся. — Прямо цыпленочек из драмтеатра.

Гроб, поставленный на металл палубы, отражал солнечный свет еще сильнее,

чем там, внизу, в луже на бетоне. Директор-капитан еще раз по-польски отсалютовал и, увлекая за собою женщину в беличьей шубке, исчез с глаз. Минут через десять опять раздался его голос, но на сей раз усиленный громкоговорителями:

— Внимание! Говорит радио туристического теплохода «Казань». Внимание, отход судна в тринадцать ноль-ноль. Товарищи отдыхающие, в тринадцать тридцать у первой смены обед. Внимание! — Слово «внимание» он проговаривал с какой-то особой тщательностью, с нескрываемым удовольствием. — Внимание, на борту работает бар, вы сможете найти его на третьей палубе. Внимание! При баре работает видеосалон...

В эту минуту теплоход еще раз зычно загудел, давая понять, что его голос, слышимый с пирса, и его голос, слышимый с верхней палубы, вовсе не одно и то же: на пирсе он призывал подняться по трапу, на палубе он призывал к порядку.

— Внимание! — сказал женский голос изо всех динамиков. — В двадцать три ноль-ноль на теплоходе будет проведена учебная пожарная тревога. Всех пассажиров просят с двадцати трех ноль-ноль до двадцати трех тридцати не покидать свои каюты!

С тяжелым скрипом пошла лебедка. Звук натягивающейся якорной цепи, неприятный и долгий, заставил зазевавшихся на палубе пассажиров поискать лестницу, ведущую вниз.

— Кайф! В тринадцать тридцать у нас обед, а в двадцать три ноль-ноль у нас будет пожар.

— Ты предпочел бы что-нибудь одно? Обед?

— Пожалуй, пожар!

— Правильно, пообедать мы еще успеем... А возможность сгореть заживо на теплоходе посреди Белого моря может больше и не представиться. — Маруся опять сменила тон, на сей раз голос ее звучал иронично. — В двадцать три ноль-ноль мы как раз будем на полпути.

Через несколько минут, за которые прозвучало еще несколько громкоговорящих оповещений, якорь был поднят, он повис на белом борту возле огромного «К», и, оставляя на берегу нескольких усталых групповодов, автобусы и лужи, полные окурков, теплоход отчалил. Его потащил за собою маленький грязный буксир. Буксир надрывался, заваливал небо вонючей копотью из своих засаленных труб, пыхтел, казалось, с трудом одолевая вес величественной «Казани», но этого никто из пассажиров уже не видел. Пассажиры устраивались в своих каютах, разыскивали бар, покупали билеты в видеосалон и готовились к обеду.

Коридоры первого класса более всего напоминали апартаменты пятизвездного отеля, коридоры третьего класса — занюханную гостиницу где-нибудь в Ростове или Вологде, второй класс — нечто среднее между пятизвездным отелем и гостиницей. Коридор четвертого класса знакомых ассоциаций не будил. С верхней палубы Олесь и Маруся вынуждены были идти вниз, в глубину, по круглым железным лестницам. С непривычки спуск показался утомительно долгим, и возникло ощущение, будто они давно уже сошли под ватерлинию «Казани». Узковатый коридор был отделан грязно-желтым пупырчатым пластиком. Освещение здесь было ровным. Горели яркие лампочки внутри толстых, вероятно, не бьющихся матовых плафонов. Было душно и сыро. Присутствовал неотступно унылый звук двигателей.

Маруся выматерилась — она иногда умела сделать это с особым чувством — и ударом кулака открыла дверь в назначенную путевкой каюту.

— Мило! — сказал Олесь тоже с чувством. — Знаешь, я всегда мечтал спать под занавеской.

Желтыми узкими занавесками были прикрыты спальные места. Очень близко под круглым окошком каюты билось холодное море. На столе горела маленькая настольная лампа.

— Уют и комфорт! Главное — это уют и комфорт! — Не снимая верхней одежды, Олесь присел к столу, выключил лампочку и стал смотреть на дрожащую в иллюминаторе воду. — Нет! — с некоторым интервалом заключил он. — Все-таки главное — это романтика.

Волна, облизывающая иллюминатор, походила на стеклянную птицу. Птица взмахивала лениво то одним крылом, то другим, и это завораживало немножко.

— Надеюсь, мы одни здесь будем жить? — Маруся, отжав концы шарфа, размотала и сбросила его, потом избавилась от своей куртки. — Тесно здесь.

— Четыре места!

- Ты думаешь?
- Я сосчитал.
- Думаешь, еще кто-то придет?

И тут Олесь вспомнил, что же зацепило его там, в гостинице, вспомнил свой неожиданный глупый страх перед закрытой дверью номера. Ключ в замке проворачивался, Маруся ругалась, а он отчетливо слышал за дверью какой-то шорох, возню. Когда они наконец вошли, окно оказалось приоткрыто, в комнате холод и — никого. Ночью Маруся заснула, а он потянулся за своим блокнотом и вдруг увидел белую нитку. Длинную шелковую эту нитку Олесь долго наматывал на палец. Кто-то был в их номере, кто-то шарил в их вещах, но зачем? Кто?

— Нет, думаю, никто не придет! — сказал он, пытаясь выбросить из головы неприятное бессмысленное воспоминание. — Судно полупустое.

Ему было немножко не по себе, он смотрел на море. Стеклопанная птица опять ударила крылом, но на этот раз к иллюминатору снаружи оказался приклеен цветной печатный листок. Маруся заперла дверь и скинула туфельки. Носки тоже пришлось отжимать. В дверь постучали. Тут же постучали еще раз, настойчивее.

— Вот и вся романтика. — Маруся повернула ключ. — Ты был прав, четыре места.

Непроизвольно Маруся сделала босыми ногами реверанс, чуть не свалившись на теплый ковровый линолеум. Появившиеся в дверях две теткки неприятно поразили ее воображение. Теткки были сорокалетние, накрашенные, одна — объемна, как огромный темный мяч, другая, в противовес, — жердеобразно тоща, в остальном же они были совершенно одинаковы.

- Добрый день! — бодрым голосом сказала жердеобразная.
- Здравствуйте, — отозвался Олесь, припадая лицом к иллюминатору.

К стеклу снаружи прилепился фрагмент цветного журнала. Крупными красными буквами было написано: ПАСХА ХРИСТОВА 12/25 АПРЕЛЯ. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 5/18 АПРЕЛЯ. ВОСКРЕСЕНИЕ.



Наконец он снял с себя этот тяжелый кожаный плащ и повесил его на крючок. Он достал из многочисленных карманов плаща книги и авторучки, вытащил блокнот (он принципиально не пользовался сумкой, а все свое носил на груди и на животе), вынул бутылку коньяка, початую на треть, и к ней две алюминиевые стопочки. Разместил все хозяйство на столе, на той части стола, что не была еще оккупирована тетками.

— За знакомство?

Тощую тетку звали Тамара Васильевна, она от коньяка отказалась и вообще через несколько минут, разобрав чемоданы, ушла в душ, но толстая Виолетта Григорьевна охотно наравне с Марусей хлопнула стопочку и тотчас сделала неприятно словоохотлива. Олесь коньяк пить не стал, только налил дамам.

— А вы отсюда, местная? — втискиваясь в паузу, спросила Маруся. Коньяк возымел на нее действие. Щеки чуть окрасились, будто их тронуло или морозом, или румянами. Она закинула левую голую ступню себе на правое колено и массировала, растирала ее ладонями. — Выговор у вас что-то не московский.

— С Беломорья мы, — сказала тетка. — Но не совсем отсюда.

«Воскресение Христово, — почему-то подумал Олесь. — Откуда это? Пасха Христова... Летом? Сейчас у нас осень... Тоже, наверное, есть какие-то праздники, просто мы не знаем. Нужно, нужно...» — Ему даже думать было лень, на все накладывалось усыпляющее ворчание двигателей, кабину покачивало, как и всю «Казань». — Нужно знать свои праздники, а то совсем с ума сойдем!»

— А у вас тут симпатично... Я здесь пожила бы годик. У вас тут воздух такой чистый, такой он морской, ледяной, он у вас тут, как водка из холодильника, — заставляя тетку на время умолкнуть, завела Маруся голосом полной идиотки. — Глотнешь, и — в кайф!.. У вас тут...

— У нас — где? — поморщилась толстая Виолетта Григорьевна.

Олесь представил себе водку из холодильника, и горло его перехватило легким спазмом.

— Здесь, на море, — сказала Маруся. — Я вообще-то не поняла, какой для вас смысл в поездке? Если уж ехать, то куда-нибудь в другой регион. Вот, без обид, объясните мне, зачем же, ведь дорого?

— У Тамары Васильевны муж на Соловках погиб, — сказала тетка. — Молодой совсем.

— Отец, наверное? — поправил ее поэт.

— Нет, муж. В семьдесят втором году раскопал на острове что-то... объявили несчастный случай. Ну, какой тут случай, понятно: не копай, где не просят. Иначе как с группой на остров не попасть, вот она и собралась. А я уж за компанию с подружкой.

— Воздух! Все-таки воздух у вас фантастический... — попыталась прервать неприятную тему Маруся. — Дышишь, как нигде!

— Ну, если воздух, то конечно. — Виолетта Григорьевна комфортно расплывалась на своей нижней полке. — В общем-то, верно, девушка, верно, воздух у нас тут замечательный... — Теперь ее было просто невозможно остановить, не удавалось вставить ни одного звука; она рассказала о быте рыбацкого поселка, из которого была родом, потом о беглых зеках, построивших себе где-то в тайге собственный лагерь и через несколько лет заключивших за колючую проволоку нескольких охранников, поизнесенно. Тем зекам не нужна была свобода, они хотели только воплощенной справедливости. — Даже проволока под током, представь себе, — Виолетта Григорьевна ткнула Олесь кулаком в плечо. — Ветряк поставили, динамку запустили. Так товарищ полковник и умер на колючке, не выдержал несвободы, хотя они его и кормили, говорят, и полушубок выделили... — Олесь разглядывал большой распахнутый чужой чемодан. Его поразило, что чемодан этот плотно набит белыми шелковыми платьями, из чемодана торчала углом даже какая-то фирменная коробка с женской парадной обувью, нечто на высоких тонких каблуках. — Соловки — это история. Это наша история. Наше подлинное прошлое.

«А ведь она все эти платья тащит с собой только потому, что больше ей их негде надеть, — подумал Олесь. — Для нее эта поездка то же самое, что мне, например, пойти на прием в Алжирское посольство. Но какая же редкая она все-таки зануда».

— Мы в бар хотели пойти, — попытался было вырваться он, но Виолетта Григорьевна удержала за пуговицу. Она развивала свой рассказ: поведала о первом муже, рассказала о том, как взорвалось в тайге, взлетело на воздух хранилище радиоактивных ватничков, так что смертоносную вату разметало по хвое и снегу километров на сто, она заговорила о своем втором муже, подробно, чуть не со слезой. Тот, оказывается, утопил свою машину «Жигули» на Беломорье...

И, казалось, выхода из каюты нет, но в коридоре раздались шаги, в дверь настойчиво постучали.

— Да! — истошным голосом крикнула Маруся и тут же через секунду пожалела о своей поспешности.

«Лучшее — враг хорошего, — подумал Олесь. — Пусть бы она рассказывала, чем нам было плохо?»

Все трое молча смотрели на ворвавшегося в каюту мужчину. Это был человек с Кавказа, из тех, что не имеют определенной национальной принадлежности. Он размахивал длинными тощими руками, крутой подбородок казался черным от неаккуратной щетины, кожа на щеках и на лбу тоже была черной, почти как у негра. Летающие перед лицом Олесь узловатые пальцы унизаны металлом.

— Она сказала, сюда! — крикнул кавказец и, не дав никому открыть рта, продолжил без смысла: — Какое сюда, зачем?! Ты должен понимать, нежное, любимое существо, девушки... Две девушки, понимаешь? — он обращался исключительно к Олесе. — Зоя и Виктория! Женская кожа не должна портиться, нежные существа должны принять душ...

— погоди ты! — попытался прервать его Олесь. — Стоп! Я все понял...

Но остановить не получилось. Опершись ладонью о стол и наклонившись, кавказец выплюнул в лицо Олесь запах свежепроглоченной водки, запах пива, крабов, все запахи отчетливые и отдельные, при каждом быстром вздохе они сменялись, как картинки в калейдоскопе.

— Женская кожа не должна портиться, — сказал он, причем слово «кожа» попало между запахом отбивной и запахом «Ркацители», а слово «нежная» между запахом бутерброда с черной икрой и запахом крахмальной скатерти.

«Скатерть он, что ли, жевал? — подумал Олесь. — Вполне вероятно».

Сыпались десятки бессмысленных пошлых громких фраз, мелькали в воздухе золотые и серебряные печатки и перстни на синеватых пальцах, и уже через минуту это произвело на поэта некоторое гипнотическое воздействие.

Вероятно, судно развернулось. Волна за окошечком-иллюминатором приобрела иной оттенок и форму, она заискрилась и запенилась. Она стала похожа в своем движении на распарываемый бритвой натянутый шелк.

— Тихо ты! — крикнула Маруся, пресекая слово-запахоизвержение. — Я ничего не поняла. Давай про девочек... Но только по порядку и внятно. Будешь невнятно, выйдешь сразу.

Кавказец, будто проснувшись, вытупился на Марусю, оценил и сделался понятен. Выяснилось, что зовут его Илико, что проживает он в каюте рядом, прямо за переборкой, проживает там не один, а втроем. Кроме него в каюте за переборкой находятся еще две девушки — нежные существа с ароматной розовой кожей, как лепесток розы тонкой. Одну девочку зовут Зоя, другую девочку зовут Виктория, сокращенно Вика. Двух этих шлюшек Олесь хорошо запомнил еще в гостинице, там нежные существа искали себе мужскую компанию побогаче. Здесь они, вероятно, ее уже нашли в лице Илико. Кавказец также поведал, что они втроем живут на четырех местах, но это гадость, потому что это четвертый класс. Их, конечно, селили в первый класс, в двухместную каюту, они бы согласились, они бы вполне разместились и на двух местах. Но ту каюту не дали, и вместо комфорта теперь дополнительная кубатура для любви. Неизвестно, что приятнее. А теперь девочки промокли и все целиком, до пальчиков на ногах, дрожат от холода, они хотят пойти в душевую комнату. Он, Илико, как мужчина, пошел и постучал в дверь душевой комнаты. И ему через дверь посоветовали грубо зайти вот в эту каюту. Вот он и зашел узнать, что теперь ему делать.

— Зачем же она так! — искренне расстроилась Виолетта Григорьевна.

— Ты ее подруга! — сказал Илико. — Ты пойди. Пойди, попроси ее, чтобы вышла сейчас. Я тебе сто рублей дам.

Виолетта Григорьевна отвернулась, потому что лицо ее немного покраснело, и сразу вышла в коридор.

— Выгони, выгони ее оттуда, красавица, — сказал Илико. — Выгони, я тебе за это триста рублей дам.

— Правильно! — сказала Маруся. — Розам нужно помыться, а какая-то мырра павильон оккупировала.

Оказавшись в коридоре, Виолетта Григорьевна от раздражения не смогла сразу сориентироваться и несколько раз повернулась вокруг своей оси.

— Там! — Дверь ближайшей каюты приоткрылась, и голая рука, принадлежавшая, вероятно, одной из немтых роз, Зое или Виктории, указала на полированную дверь, лишенную номера и располагающуюся по другую сторону прохода. За дверью отчетливо шумела вода.

— Тамара Васильевна! — Виолетта сильно и зло постучала в лаковую поверхность. — Тамара Васильевна, можно вас попросить... — она прислушалась, ожидая ответа.

В душевой была какая-то возня, громкое дыхание, казалось, нескольких человек. Потом женский голос все-таки сказал:

— Минуточку... Я поняла... Идите к себе... Я сейчас, скоро... Идите в каюту.

Распахнув раздраженным ударом дверь собственной каюты, Виолетта Григорьевна спросила, как смогла, громко, с напором:

— Они что у вас там, голые сидят?

Она хотела добавить еще что-нибудь пожестче, но репродуктор на стене неожиданно громко кашлянул, и Виолетта Григорьевна испугалась. Олесь заметил, как вдруг побледнело и осунулось лицо толстухи. Он почти угадал ее мысли.

«А ведь это был не Тамарин голос, — подумала с внезапным ужасом Виолетта Григорьевна. — Точно, нет! — Она попыталась припомнить и припомнила, как они с Тамарой ходили в душевую после работы и там, намыливая свои уставшие за день тела, болтали через тонкую перегородку под шорох воды. — Нет, не ее, не ее голос,

совсем другой. Сказать? А если я ошиблась? Нет, дура, ошиблась, ерунда все это... — Пытаясь справиться с возрастающим беспокойством, она сказала себе: — Нужно потерпеть десять минут. Через десять минут она выйдет, и все разъяснится».

Олесь задумчиво смотрел на тетку, надеясь проникнуть глубже в ее мысли. Он почувствовал, что происходит что-то интересное, но никакой логической схемы выстроить не смог.

— Ну, ты же пойми, — сказал Илико. — Девочки замерзли, промокли до последней нитки! Почему они должны сидеть в сырых джинсах и кофточках? Даже трусики промокли. Как ты считаешь, почему я вышел, почему я не там? — Он указал пальцем на стену. — Там приятнее, наверное, чем здесь. У вас коньяк армянский, а у нас коньяк французский. Но они замерзли, и я, галантный, вышел вон.

После продолжительной паузы репродуктор снова закашлял, но на этот раз не замолк, а сказал чисто и разборчиво голосом капитана-директора:

— Товарищи отдыхающие, команда теплохода «Казань» просит первую смену проследовать на обед. Ресторан расположен на второй палубе.



Избегая по лестнице впереди Олесь, опережая его на четыре высокие ковровые ступеньки, Маруся все пыталась сообразить, какая же смена у них. Карточка осталась в каюте вместе с кавказцем и подвыпившей соседкой. Она даже спросила об этом Олесь, но голос ее съела музыка. Музыка неожиданно вырвалась из створчатых широких дверей по левую руку. За дверью оказалась огромная зеркальная комната. Там под потрескивающую, но очень громкую запись разучивала какой-то танец большая группа в народных костюмах. Маленький человек в черном трико, заметив восторженный глаз Маруси, проникающий в щель, не сориентировался в пространстве и закричал, замахал руками не самому глазу, а его многочисленным отражениям в зеркалах.

— Уйдите! — простонал он. — Все уходите. Вы не видите, люди работают... Имейте терпение, вы все всё увидите потом на сцене... Приходите на концерт... — и закончил безумным криком: — Прокочук! Где этот проклятый Прокочук? Почему двери не на запоре? Почему посторонние подглядывают?

Девушки-танцовщицы под эти вопли сбивались с движения и останавливались, разводя руками. Костюмы их были при более внимательном рассмотрении вовсе не народные. На белых облегающих трико нарисованы разными цветами кости, а на высокие, очень белые молодые лбы прямо на кожу наклеены крупные красные звезды.

— Слушай, а какие запахи! — зачем-то вцепившись в рукав своего поэта, восторженно шептала Маруся. — Когда кидаешься жрать, ведь ни черта не оценишь. А когда не пускают, можно осознать все это величие. Ты принюхайся, принюхайся только, кайфы-то какие.

За распахнутыми дверями аппетитно и недоступно блестили каких-то совершенно невозможных округлых форм супницы, витые графинчики, сияли аккуратные чайнички, разложенные на чистом крахмале скатертей приборы, несомненно, были подлинными серебряными и неестественно для советского человека разнообразными.

— Я сейчас умру! — уже совсем сладким голосом сказала Маруся. — Пойдем на верхнюю палубу. На воздух.

— Ты же говорила, в кайф нюхать, когда не пускают.

— Нанюхалась уже. Я все эти запахи лучше в памяти сохраню.

Высокие стулья ресторана пришлось заменить на крутящиеся мягкие кресла бара. В бар особого приглашения по радио не требовалось. Здесь оказалось огромное окно, во всю стену, за которым до горизонта выравнивалась большая вода, здесь оказалось жарко и довольно шумно.

Маруся медленно поворачивалась в своем удобном кресле, тогда как Олесь ставил перед нею на столик белые чашечки с черной жидкой начинкой — навязчиво ароматный турецкий кофе. Морская гладь одновременно и текла и выгибалась перед любопытным взглядом. Гладь эта простиралась до самого горизонта, но не сливалась с небом, между небом и водой густела отчетливая тонкая темная линия.

— Хороший кофе! — сказала Маруся, поднимая свою чашечку и делая первый глоточек. — Но все равно жалко, что тот ржавый ресторан был закрыт.

— Даже если бы он и был открыт, то все равно не смог бы выйти в море. Очень старая шхуна.

— Тоже верно. Всегда нужно чем-то пожертвовать. Смотри-ка, — она показала вытянутым пальцем. — Как ты думаешь, что это там в воде такое?

— Где?

— Ну вот же, внизу, почти у борта. Такое пятнистое. Смотри.

— Не вижу ничего.

— А ничего уже и нету. Его унесло.

— А что это было?

— Странно... Ты знаешь, больше всего было похоже на какие-то книги или журналы, — делая глоток побольше и нарочно обжигая рот, сообщила Маруся. — Цветные! Как ты думаешь, могут в открытом море плавать книги?

— А почему бы и нет?

— Действительно, почему бы и нет? Вот, вот они, опять... Смотри... — показывая на этот раз уже не пальцем, а всей рукой, Маруся подалась вперед, резко отодвинула спинку чужого кресла, закрывающую обзор. — Смотри, внизу у борта плывут...

Кресло повернулось, Олесь не успел увидеть ничего у борта, вместо этого он увидел прямо перед собой молодое, очень бледное лицо.

— Вы тоже заметили? — спросил хозяин помешавшего кресла, и губы его смяла какая-то чахоточная улыбочка. — Книги в море. Правда ведь, странно?

— А может, это вовсе и не книги, а рыбы? — воспротивилась неожиданному натиску Маруся.

— Почему же, именно что книги. — Олесь сыдентифицировал это лицо, перед ним сидел в кресле один из тех парней, что с таким упорством втаскивали на борт пьяного. — В Архангельске, я видел, целый грузовик в море спустили. Правда, я не понял, то ли это церковные календари, то ли антисоветчина какая. По фактуре издали на журнал «Огонек» похоже, цветное что-то.

— Правильно, — сказал Олесь. — Церковные календари. Одна страничка к иллюминатору приклеилась, можно было рассмотреть. Христово воскресение. А приятеля вашего как, с судна не сняли, все в порядке с ним?

Но на этот вопрос чахоточный молодой человек ответить не захотел. Он поскреб в бороде и опять неприятно улыбнулся, подмигнув Марусе. В его руке был высокий тонкий стакан, наполовину наполненный чем-то густым и красным. Алкоголь, который он вливал в себя, очень походил по цвету на жидкую венозную кровь.

— И вы видели, как календари скидывали с грузовика прямо в воду?

— Видел!

— А может быть, вы и самолет видели? — Маруся нарочно смотрела в глаза, это был один из ее излюбленных садистских приемчиков.

— Какой еще самолет?

— Военный.

— Военных самолетов много.

— Маленький, бомбардировщик. Он падал, когда мы стояли на пирсе, ждали посадки. Что-то случилось, наверное, с двигателями. Между прочим, мы все могли там погибнуть.

— Нет, такого не видел. Простите, не обратил внимания. На пирсе у меня было чем заняться! — Наконец он отвел глаза и, казалось, полностью сконцентрировался на своем красном стакане. — Каждый видит то, что хочет, — добавил он негромко. — Каждый видит только то, что может увидеть, ни в коем случае не больше.

Все время смотреть на морскую даль невозможно, глаза от такого развлечения быстро устали, так что Олесь был вынужден сосредоточиться на внутренности бара. Бар постепенно заполнялся. Мягкая бархатная обивка кругом, в освещенной изнутри нише большая стойка, и там, за стойкой, конечно, человек, и, конечно, лица бармена не разглядеть, только ловкие руки скачут, протирая и наполняя стаканы. Случайный собеседник хотел еще что-то добавить к сказанному, но его позвали. Вероятно, еще кто-то из той веселой компании.

— Очень! Очень приятный молодой человек! — с глубоким чувством сказала Маруся. — Мы у него даже имени не спросили.

— Он тоже не поинтересовался.

— Я спрошу. Он мне понравился, он вполне в моем вкусе. Если мы с тобой здесь поссоримся, то я, пожалуй, пойду к нему. Как думаешь, не прогонит?

— Тебя прогонишь! Пойдем, для аппетита зарядимся морским свежим воздухом.

Они опять, на сей раз уже не бегом, взошли по крутым железным ступенькам, накрытым ковровой дорожкой, и, преодолев железную тяжелую дверь, оказались на верхней палубе. Стоять на верхней палубе и смотреть на воду, изгибающуюся в горизонт, было совершенно не одно и то же, что смотреть на нее сквозь огромное окно бара. Солнце делало мир неестественно ярким, лишая цветов и убивая зрение, доводило до слез. Крепкий ледяной ветер заморозил тело Олесь, заморозил до боли. И только теперь он испытал полный восторг открытого морского пространства. Он взял Марусю за руку, и Маруся вцепилась в его руку, разделяя восторг. Глаза ее были опять широко раскрыты, почти так же, как на пирсе перед посадкой, когда падал с неба бесшумно военный самолет, предполагающий моментальную яркую смерть.



Распахнуть тяжелую дверь, сойти вниз в тепло, в относительный полумрак! После такого света что угодно покажется полумраком. Олесь достаточно промерз, чтобы покинуть палубу. В конце концов, их ждал роскошный стол в ресторане. Он хотел сразу идти, но Маруся что-то прошептала, удерживая, не пуская к двери.

— Смотри, он плачет.

Оказывается, они были здесь не одни. Олесь не заметил еще одного извращенца, потому что тот хоть и стоял в каких-то двух шагах справа, но был хорошо скрыт выступом палубной надстройки. Это был старик, высокий, согбенный, седой. Он смотрел вдаль, не отрываясь, и глаза его были полны слез.

— Дедушка, пойдемте вниз, вы простудитесь, — ласково сказала Маруся. — Пойдемте обедать, уже пора.

Старик повернул голову, он с минуту смотрел на девушку, явно не видя.

— Простите, — сказал он хрипло. — Вы видели, видели его, вы его видите?! — Он тыкал рукою в открытое море и явно был не в себе. — Оно не изменилось за сорок пять лет. Не изменилось вообще, никак. Оно такое же!

— А знаете, большие массивы воды за такой отрезок времени не очень меняются, — возразил Олесь. — Не положено им. А вы были здесь сорок пять лет назад?

— Да.

— Холодно, — сказал Олесь, — и кушать хочется. Пойдемте покушаем, а потом поговорим.

— Зачем?

— Ну, так, — он сделал небольшую паузу. — Мне бы хотелось... — Старик смотрел на него с подозрением, и Олесь поспешил объясниться: — Видите ли, я поэт. Я изучаю соловецкую старину, в особенности меня интересует тот нашумевший исторический отрезок с тридцать третьего по тридцать седьмой... Вы же очевидец событий?

— Хорошо, согласен! Давайте!.. Давайте, я расскажу вам все, что вы захотите...

— После обеда в баре? Наверное, будет много народу, мы зайдем для вас место. Угощение за наш счет!

Уже от двери, ведущей вниз, он еще раз оглядел старика, тот стоял спиной, темная одинокая фигура бывшего зека, возвращающегося в места мучений и пыток обыкновенным советским туристом. Физически возвращающегося в свой, давно уже умузрительный ад.

— Я тебя вот о чем очень попрошу, — сказала негромко Маруся, когда они усаживались за свой стол в ресторане. — Ты его, пожалуйста, не трогай. Его нельзя трогать, он погружен в прошлое, он весь там, а мы все-таки здесь, нам к нему не прорваться.

За столом были еще три человека. Пытаясь разобраться в сложных серебряных приборах, Олесь параллельно разглядывал своих сотрапезников. Вот уже несколько часов он мысленно пытался пристроить белую нитку, обнаруженную в номере

гостиницы, к чьей-нибудь одежде. Но здесь нитка никак не пристраивалась. Один из соседей по столу, маленький, никак не выше метра пятидесяти, человечек был одет в черную рясу, его взлохмаченная борода и длинные кудри производили комическое впечатление, второй, массивный здоровяк с чисто выбритым жирным подбородком, сидевший напротив коротышки, был одет в коричневый строгий костюм, ворот кремовой рубашки торчком, свежайший галстук повязан, как на дипломатическом приеме. Оба они, как и поэт, не имели ни малейшего представления об этикете и путались в многочисленных ножах и вилках. Но в отличие от Олесья их это не смущало, по всему было похоже, что они между собой знакомы и то ли боятся друг друга, то ли ненавидят. Пятой за их столом сидела неопрятная старуха в темном платье.

— А что это вы так смотрите на батюшку? — заметив косые любопытные взгляды поэта, сказала она.

— Не буду! — с полным ртом пробурчал Олесь. — Извините!

— А нечего тут извиняться! — сказал мужчина с жирным подбородком. — Ясно же, ряса в ресторане глаз режет! — Он протянул через стол прямоугольную ладонь. — Шуман!

— Олесь Ярославский. А это Маруся!

— Очень приятно!

— Нам тоже приятно!

— Глупо, — сказал священник и стрельнул глазами в Шумана, глаза у него были карие, навывкате. — Святое облачение всюду уместно. Также и слово Божие.

«Кто ж их, таких разных, за один стол-то посадил? — подумал Олесь, спрятав улыбку. — Тут, ясное дело, не без промысла».

Маруся, не обратив никакого внимания на весь этот разговор, продолжала, используя неизвестную до сих пор поэту округлую вилку с шестью острыми зубами, поглощать салат из помидоров.

— Может быть, потом, дома, в Москве, заглянешь к нему со своим блокнотиком и все зафиксируешь? Дома он будет, конечно, не такой. Дома он тебе с удовольствием все расскажет.

— А если не станет? — спросил Олесь, не в состоянии выбрать из трех, почти одинаковых, серебряных ложек супную. — А если не захочет?

— Вот этой надо! — Маруся указала ему нужную ложку. — Грибное ассорти едят вот так, — она показала. — А эту положи, ты лучше ее вообще не трогай...

— А ты откуда все это знаешь?

Выпуклый бок супницы был зеркальным, и, покосившись на отражение, Олесь увидел свой подбородок, неприятно перемазанный красным соусом, и на левой щеке была какая-то темная точка. Обед показался ему небольшой китайской пыткой.

— Отец Микола, — обращаясь с почтением к человечку в рясе, сказала старушка. — А не грех ли все блюда одной ложкой кушать?

— Коли другой ложки не знаешь, коли она тебе незнакома, то не грех! — почему-то немножко нараспев отозвался священник. — А ежели грех, то не велик вовсе.

— Нет, не могу тебе обещать, — сказал Олесь, глядя теперь только на Марусю, ей в глаза.

— Почему же не можешь?

— Ты представь себе нумизмата-фанатика, которому предложили самую редкую монету в мире за маленькое отступление от морали. Ты можешь себе представить такого нумизмата, даже кристально честного, но фанатично любящего монетки? Ты можешь. Скажи, он откажется от мини-преступления?

— Сволочь твой нумизмат! — сказала Маруся и, потянувшись через стол, салфеткой вытерла щеку и подбородок поэта. — Но представить, конечно, можно.

Смятая салфетка полетела в пепельницу, мелькнув выгнутым отражением в боку супницы. Старушка наморщила свое желтое личико и тоже воспользовалась салфеткой.

— Вот тебе и чудесные... Вот тебе и манящие запахи... — выбираясь из-за стола и проходя через полупустой ресторан, говорил Олесь. Покосившись на зеркало, он отметил, что комическая тройца все так же сидит за столом, священник что-то напористо говорит, дергая бородой, а товарищ в коричневом костюме злобно смотрит на него, и лицо у товарища уже побагровело от сдерживаемой с трудом

ненависти. Старушка богомолка сдвинула в желтом кулачке серебряный ножик и замерла в напряжении.

Столы вокруг выглядели омерзительно: белые скатерти в пятнах, тарелки с остатками пищи, как разбросанные повсюду цветные натюрморты, и парят над ними заостренные, хищные лица официантов.

— Пойдем подышим. — Он повернулся к приотставшей Марусе. — Может быть, он еще там?

Маруся дернула плечом так, будто ее длинной иглой пощекотали под лопаткой.

— Нет, — сказала она. — Холодно. Пойдем в бар, погреемся. Все равно ты уже пообещал этому куску исторической памяти место в баре занять.

Солнце, все также неподвижное, стояло за огромным окном бара. Легко поворачиваясь в кресле, можно было потерять его из виду и сосредоточиться на мелькающих руках бармена, на чужих лицах и на стаканах, а можно было легким нажимом ног вернуть себя прямо в морское послеобеденное сияние.

— Не пришел! — сказала Маруся и лениво отглотнула из бокала.

— Наплевать, я уже забыл про него.

— Про кого ты забыл?

— Про старика.

— Про это нельзя забывать, это наше общее место. — Маруся сделала большой глоток, и ее верхняя губа окрасилась белым. — Преступно забывать прошлое!

Ее любовь к молочным коктейлям, проявляющаяся только в сугубо алкогольных заведениях, всегда удивляла Олесья, но не казалась чем-то патологическим. Теперь белая полоса под носом возлюбленной раздражала поэта.

— Я схожу вниз, в каюту.

— Зачем?

— Возьму блокнот... Подожди меня. Пожалуйста, не исчезай никуда, я минут через десять вернусь... Подожди здесь!

Прежде чем сорваться с кресла и пробежать вниз по ступеням, Олесья нарочно пристально, не мигая, долго смотрел на солнце, впитывая белую точку глазами, и теперь оно осталось с ним, оно металось в полутьме по стенам, по ковровым дорожкам, по зеркалам, по металлическим переборкам, по дверям, по тусклым лампочкам, по лицам попадающих навстречу людей. Когда солнце начало меркнуть и зрение адаптировалось к электрическому свету, Олесья осознал, что испытывает сильный страх. Ему не хотелось возвращаться в свою четырехместную каюту в четвертом классе на самом дне теплохода «Казань».



Он попытался представить себе холодный, полный невидимой энергии воздух там, за железными переборками, снаружи, огромную колышущуюся воду, полную тайн и пенящуюся, и блистательную, не смог этого сделать — вышло как-то скупое — и в совершенном уже раздражении толкнул дверь каюты, даже не подумав, что она может быть заперта.

Первое, на что он наткнулся, был напряженный женский взгляд. Тамара Васильевна сидела на своей нижней полке. Обильная косметика, еще недавно украшавшая ее лицо, теперь отсутствовала начисто. Косметику, похоже, долго и тщательно соскабливали. Лицо тетки сделалось после этой операции серым, заостренным и выразительным, и оно стало значительно моложе. Тамара Васильевна не двигалась, даже не моргала, а рядом с нею подпрыгивал и юлил неопрятный кавказец Илико. Он пытался угостить ее чужим коньяком. В волосатой руке приплясывал алюминиевый, полный до краев стаканчик.

— Слушай, она с ума сошла! — сказал Илико, увидев поэта. — Ее лечить надо... — Он сделал еще одну попытку, придвинув стаканчик к губам Тамары Васильевны, и на этот раз она послушно сделала маленький глоток. — Вот молодец, девушка... — Илико повернул голову и впился глазами в Олесью. — Слушай, скажи, я не русский, я не могу понять. Что такое квадратное озеро?

Олесья непроизвольно попятился. Женщина облизала мокрые губы, но притом не шевельнула даже пальцем. Полуодетая, она даже не пыталась прикрыться.

— Квадратное озеро? — Олесь прижался спиной к двери. — Я не знаю, что это такое! Вероятно, что-то геометрически правильное в ландшафте... Что у вас тут, я что-то не пойму?

Тамара Васильевна еще раз облизала мокрые бесцветные губы и ничего опять не сказала.

— Понимаешь, она молчит! Пришла и молчит! Села вот так, и ни одного слова, понимаешь? А потом вдруг спрашивает таким голосом, — Илико наморщил щеки от неприязни, — как из гроба...

Тамара Васильевна, не дав кавказцу сымитировать ее голос, сказала, неприятно глядя поэту в глаза:

— Квадратные черные озера... — Интонации в этом никакой не было, до ужаса никакой. Хрипловатый безвкусный голос сумасшедшего. — Квадратные озера большого острова... — Она опять облизала губы. — Черные!..

— Ну вот, вот! — обрадовался Илико. — Ты что-то понял? — Олесь покачал головой. — Нет, ты не понял, и я нет! Черное озеро! — взмахнув руками, вдруг крикнул он. — Черное озеро!

— Погоди, — попросил Олесь. — Не повышай голос. Стоит подумать. — Он смотрел на косо ползущую за стеклышком иллюминатора белую пену. — Знакомое что-то. Но что, вспомнить не могу! — Он взял со стола свой блокнот и сразу попытался выйти из каюты. Но передумал. Только теперь он оценил по-настоящему тетку. Дикая маска из помады, пудры и теней стекла куда-то в отверстие умывальника, и стало понятно: Тамаре Васильевне немногим более тридцати, молодая баба. Всего лет на пять старше Маруси. — Что же с вами случилось? — спросил Олесь, опускаясь перед нею на корточки. — Давайте вспомним. — Он успокоился, увлекся происходящим и говорил с ней вкрадчиво, как с ребенком. — Вы поднялись по трапу на борт. Капитан объявил о пожарных учениях и пригласил на обед. Вы спустились сюда в каюту, поздоровались со мной, потом пошли в душ, что было дальше? — Тамара Васильевна напряглась, что-то попыталась сказать, но получилось лишь неразборчивое мычание. Олесь взял ее за руку. — Что с вами произошло, что с вами случилось? — Рука была маленькая и очень тяжелая. — Что за бред про квадратные черные озера, откуда вы их взяли?

— Мокрая вода! — сказал Илико. — Черное озеро. Ты такое видел? Голубое — да! Зеленое — да! Черное и квадратное... Квадратный — это бассейн. — Он наклонился к Тамаре Васильевне и пророкотал ей прямо в глаза: — Бассейн?

— Нет! — сказал Олесь. — Я, кажется, понял. Я вспомнил, что это такое. Квадратными озерами называют братские могилы на Большом Соловецком. Они не похожи на бассейн.

— Могилы! — ужаснулся Илико.

— Братские! — подчеркнул Олесь. — Для монахов и для врагов народа.

Теперь он хорошо припомнил серию цветных иллюстраций — приложение к журналу «Посев». Каменные широкие ступени лестницы, ведущие на Секирную гору, убийцы в черных плащах и черных ушанках, попирающие начищенными сапогами мерзлую почву. На шапках красные масонские звезды. Монахов привязывали к большим бревнам и бросали вместе с бревнами со ступеней так, что они катились. А внизу лежала уже куча трупов, и текла по каменным изломам соловецкой осени святая кровь. Это не были фотографии, это была яркая антисоветская живопись. Все было нарисовано каким-то немецким художником, атеистом.

— Могилы? — спросила вдруг жалостным голосом Тамара Васильевна и, будто опомнившись, прикрыла красивое белое колено ладонью. Она посмотрела на мужчин смущенно. — Господи... — проронала очень тихо она.

Илико ловким движением опять наполнил стаканчик и поднес ей.

— Пойду я... — сказал, так чтобы его не услышали, поэт и осторожно выскользнул в коридор. — Сами разбирайтесь, какого озера вам теперь надо.

Поднимаясь по ступеням, он снова пытался представить себе могучую энергию океанского простора, его воздух, его бесконечную воду, и это почти удалось. В бар он вошел почти восторженный, с блокнотом, зажатым в руке. Вошел и остановился. Дважды он обежал пространство бара глазами. Маруси нигде не было. Она исчезла.



Стеклопанная стена от прямого попадания солнечных лучей нестерпимо горела. В баре было ярко, ярче, чем в полдень. На коричневои и красном бархате вытянулись широкие полосы света. На столе стоял недопитый стакан Маруси. Никто больше здесь не брал молочных коктейлей, не перепутаешь, а за столом сидел старик. Олесь не сразу узнал его: человек, встреченный ими на палубе, и человек, сидящий в кресле, был не совсем один и тот же, там, на палубе, он был погружен в себя и печален, здесь скован и почти напуган.

— Вас тоже пугают квадратные озера? — без всякого предисловия, присаживаясь за столик и бросая блокнот, сказал Олесь. — Черные квадратные озера видели? — Он поставил рядом с блокнотом чашечку кофе.

— Видел! — отозвался послушно старик и тут же добавил: — Нет никаких квадратных озер.

— Ну тогда что же вы видели?

— Вы, молодой человек, немножко не понимаете. Тогда было не до геометрии. Копали как попало, только бы можно было хорошо засыпать. А когда докапывались до воды, расстреливали и землекопов. Глубже ямы не делали.

Морское сияющее пространство за окном казалось неподвижным, могучим, твердым.

— А вы как, сами копали или стояли рядом?

— Вы хотите, чтобы я вам ответил?

— Конечно.

— Я вам не могу ответить на этот вопрос. — Глаза у старика были коричневые, глубокие, в длинных паузах между словами он жевал губами. — Наверное, вы сами догадались... Но это не имеет никакого значения, все сроки давности прошли...

«О чем я должен был сам догадаться? — подумал Олесь. — Наверное, он все-таки не копал, наверное, он рядом стоял с автоматом и держал землекопов на мушке, то бишь занимался совершенно иной работой. Вот о чем».

— А озера, они, конечно, есть, искусственные, — продолжал старик. Он тоже пил кофе, но в отличие от Олесьа держал чашечку все время на весу в руке, не ставил ее на стол. — Можно допустить, что были и квадратные. Когда ямы засыпали, очень часто на месте могил происходило опускание почвы. Получались такие черные огромные лужи. Сперва думали — они мелкие, откуда глубине взяться, сами же только что копали. Помню, пытались нащупать дно. Шест трехметровый, а до дна не достает. Помню, я хотел нырнуть с лодки, молодой был, психованный, разлился на шест, смотрю, а там рыба. Представляешь, рыба в таком озере!

— Нет, не представляю! — сказал Олесь и отвел глаза от глаз старика.

— Ну, так мы одну поймали, — сказал все так же без чувства старик. — Здоровая, килограмм на восемь...

«Все-таки псих... Завернутый товарищ, — определил себе Олесь и открыл блокнот. — Но поэтичен... Поэтичен очень... Чертовски, безудержно поэтичен старикан! Не напрасно я в него вцепился».

— А какая рыба? — спросил он. — Треска, наверное? Может, щука?

— А рыба-то слепая... Похожа на щуку, точно, только глаза белые, навькате, как у мертвеца!..

Олесь попытался представить себе огромную щуку с глазами покойника, но вместо ясной картинки увидел нечто бесформенное и неприятное. Он поймал себя на том, что уже не на шутку беспокоится и хочет, чтобы Маруся поскорее вернулась в свое кресло. Он допил свой остывший кофе и, уже не слушая старика, а тот расходился в описаниях своих все больше и больше, даже голос зазвенел, разглядывал трех «афганцев», выпивающих в другом конце бара. Они сменили свою штатскую одежду, вероятно, на более привычную. Головы бритые, гимнастерки, натянутые на могучих спинах, пожелтели от солнца, плечи без погон, в больших стаканах, похоже, водка.

«Разве в баре торгуют водкой?.. Наверное, с собой принесли».

— Она не сказала, куда пошла? — спросил Олесь.

— Ваша девушка?

— Вы ее видели?

— Конечно, она заняла мне место. Она сказала, что выйдет на верхнюю палубу. Ей очень понравились вид и ветер.

— Вас приглашала?

— Пригласила. Но для меня это чересчур.

«Маньячка, — подумал Олесь. — Покажи вагон с сахаром, не остановится, пока весь не сожрет».

Он нарисовал в блокноте чашечку кофе, руку старика схематично, три коротко стриженные головы и несколько небольших рыб с глазами навывкате.

— А вот и ваша девушка!

Перо прыгнуло по изрисованному листу.

— Скорее... — Маруся задыхалась, вероятно, после бега. — Скорее пошли! — Лицо ее было пунцовым, губы кривились, казалось, от сжигающей ее ярости. — Извините нас, Николай Алексеевич!..

— Куда ты исчезла? Можно было предупредить?.. — Увлекаемый горячей рукой Маруси к двери, Олесь успел заметить, как повернулась одна из бритых голов и как обожженная рука зачем-то потерла костлявое плечо на том месте, где раньше был левый погон. — Куда ты меня тащишь?

— На верхнюю палубу! Ты можешь шевелить ногами быстрее?

— Попробую. Слушай, а откуда ты знаешь, как старичка зовут?

Но на этот вопрос Маруся уже не ответила, оттолкнув сильно скрипнувшую дверь, она первой выскочила на палубу. Вытянутой напряженной рукой она указывала на что-то, находящееся рядом с поручнями, метрах в трех от них.

Воздух ударил в лицо, ледяной и холодный, могучий, полный заходящего солнца и водяной пыли. Олесь зажмурился. Ему показалось, что возник на грани слышимости звук реактивного двигателя. Посмотрел вверх — никакого самолета, только развернутая бездна синевы, и в этой бездне тает наработанная военным бомбардировщиком белая длинная линия.

— Ты что, ослеп? — спросила Маруся.

Палуба была металлическая, жесткая, звенящая при каждом маленьком шаге, а вода вокруг была огромна и мягка, море пенилось. Олесь в этот момент ощутил весь корабль, ощутил его, как огромный кусок металла, погруженный почти наполовину в шевелящуюся, легкую соль. Скользящий огромный нож, направленный острием своим на Большой Соловецкий остров.

— Да посмотри ты! — крикнула Маруся. Она попыталась отобрать у поэта блокнот. — Видишь, кровь?

— Где?

— Вот! — Палец Маруси описал в воздухе неправильный эллипс.

— Действительно... Ты смотри-ка... Кровь... Всегда ты найдешь что-нибудь интересенькое... Хоть на цепь сажай.



Солнечный сильный свет не дал бы обмануться даже человеку вовсе неискреннему, даже ребенок не перепутал бы это пятно с каким-то другим. Ни томатный сок, ни клюквенный, ни краска — ничто не могло бы выглядеть так. Большая, свежая, но уже спекающаяся лужа крови имела неприятный черный отлив и была будто подернута пленкой. Лужа была огромной, такая могла образоваться, если выпустить из человека не менее половины всей содержащейся в теле жидкости.

Олесь опустил на корточки.

— Плохо дело, — сказал он, и в голосе прозвучала деловая интонация. — Лучше нам с тобой в это не лезть... — Он попробовал пальцем густую жидкость, понюхал, вытер палец о палубу. Палуба почему-то оказалась холодной и чистой. — Но, пожалуй, нужно сообщить!

— Куда?

— Не куда, а кому. Вероятно, либо директору маршрута, либо капитану. Интересно, а есть вообще какой-нибудь милиционер на корабле?

— Мне не кажется.

— И мне не кажется. А вот какой-нибудь сотрудник КГБ обязательно същется.

— Ты думаешь?.. — Маруся была совершенно спокойна, выполнив свою задачу,

ткнув поэта носом в лужу крови, теперь она откровенно заскучала. — А может, пойдем в бар... Пойдем выпьем чего-нибудь не молочного.

— Когда ты заметила эту лужу?

— Минут пятнадцать назад. Вышла подышать и сразу заметила.

— Но она совершенно свежая, — рассуждал Олесь. — Это значит, человека на этом месте убили минут двадцать назад. Убили и унесли.

— Унесли, да, — в тон ему подхватила Маруся. — Но, может быть, все-таки не насмерть его убили... А может быть, ее?

— Ты думаешь, это кровь из носа? — Олесь, не поднимаясь, задрал голову и посмотрел на Марусю напряженно. — Ты допускаешь что-то банальное?

Она пожалала плечами.

— Почему бы и нет.

— Очень, очень не хочется банальности... — Олесь наконец поднялся на ноги и зачем-то отряхнул рукава. — Ужасно не люблю. Ладно, не наше дело. Пойдем... Пойдем сообщим и потом выпьем... Чего-нибудь не молочного.

Дверь скрипнула, Маруся резко обернулась и сказала громко, обращаясь к человеку, вышедшему на палубу:

— Посмотрите! Посмотрите! Здесь произошло убийство! — Голос ее был по-актерски истеричен, и Олесю с трудом удалось спрятать улыбку. — Видите! Кровь! — Она показывала пальцем.

— Много крови... — подавленным голосом поддержал Олесь. — Очень много невинной человеческой крови.

Прикрыв за собою аккуратно металлическую дверь, на палубу вышла знакомая дама, та самая, что стояла рядом с капитаном-директором во время загрузки на «Казань». Она загадочно улыбалась и поеживалась от холода.

— Вы считаете, здесь убили человека? — спросила она и ослепительно улыбнулась, демонстрируя дорогие зубы.

— Да, похоже... — сказал Олесь. — Может быть, даже не одного. Очень... Очень много крови!

— Это кабанчика резали! — сказала дама и снова улыбнулась. — У капитана день рождения сегодня. Подарок на ужин.

— А почему не на кухне резали? — спросила Маруся.

— Почему же не на кухне, на кухне. Начали на кухне, но он вырвался и убежал.

— Я понял. — Олесь тоже улыбнулся. — Он хотел броситься в море и плыть к материку.

— Именно так! — сказала дама и не к месту мелодично рассмеялась. — Свиньи вообще весьма свободолюбивые и жизнелюбивые твари... — Ее светлые волосы трепались по узким плечам, в глазах отражалось только солнце. — Так что вы немножко не то подумали. — Она протянула руку. — Валентина.

— А день рождения у какого капитана? Наверное, у директора у нашего? — спросила Маруся, пожимая эту руку.

— У директора. Пойдемте вниз... Очень холодно... — Валентина дернула плечиком. — Очень романтично и очень холодно. А это матросы вымоют... — Она покосилась на лужу крови. — Я уже сделала распоряжение. Я думала, уже вымыли. — На лестнице она спросила: — А вы, молодые люди, в покер как, играете?

Олесь и Маруся переглянулись. Тогда Валентина ухватила их обоих за руки и просто насильно потащила вниз.

— Пошли, пошли... Я вас приглашаю... Все равно делать нечего. Еще пятнадцать часов плыть.

«Вполне может быть, и кабанчика резали, — послушно следуя за ней, размышлял Олесь. — Вполне можно представить, что он вырвался, но допустить, что кабанчик добрался до верхней палубы, будет трудно, кухня на второй. По таким вот лестницам, да вверх, да на четырех ногах, даже если от ножа бежишь... Выходит, резали его на палубе специально, выходит, кому-то понадобилась эта лужа крови. Кого-то кто-то очень хочет напугать. Но кто хочет напугать? И кого? Ясно, что не меня и не Марусю, мы с Марусей напугались случайно».

Капитан-директор был все такой же статный, как и в первую минуту на трапе. Он был одет в тот же белый костюм, только фуражки на голове не было. Он галантно поцеловал Марусю руку и широким жестом пригласил к столу. Окна каюты первого класса ничуть не напоминали зеленые донные иллюминаторы, в них не билась

волна, волна находилась много ниже и являла собой лишь небольшой серо-голубой штрих между легкими шелковыми желтыми занавесками. Когда все устроились в мягких вращающихся креслах, капитан быстрыми движениями шулера распечатал свежую колоду, у него были очень белые болезненные руки, а полировка стола отражала не хуже зеркала.

— Уютненько тут у вас! — сказала Маруся и поправила волосы, глядя в крышку стола. — Хорошо устроились.

— Начальству положено! — сконфуженно сказал Олесь. — Это мы отдыхаем, а люди, между прочим, при исполнении служебных обязанностей.

— Точно! — Голос у капитана все-таки был не директорский, а капитанский. — Через десять минут опять буду объявлять по радио распорядок дня. И сообщать о времени учебного пожара. А то, не дай Бог, кто-нибудь воспламенится. — Он хохотнул. — Какая-нибудь женщина!

Тут же он объяснил, что его голос записан на магнитофон и включается в нужное время простым нажатием кнопки. Кнопку нажимать тоже не надо, потому что ее нажимает радист в радиорубке. Выяснилось, что в продолжение всех этих скучных маршрутов приходится прятаться в каюте. Хорошо, Валечка компанию составляет, а что еще делать — коньяк, карты...

«О дне рождения ни слова не сказал, — отметил Олесь. — Либо Валечка про день рождения просто наврала, либо, что вероятнее, нас не хотят приглашать. Про беглого кабанчика тоже ни слова».

Играли по мелочи, писали в больших фирменных блокнотах, а деньги складывали в ресторанные большие золотые тарелки — одни медяки, но медяков много. Под шорох карточных листов, сопение и звон монеток капитан-директор поведал, что действительно ходил когда-то настоящим капитаном. Ходил не где-то там, а по самой Москве-реке, на малом водном транспорте перевозил песок. Но, увы, был по некоторым причинам списан на берег и вот уже пять лет веселит туристов на Белом море и в других симпатичных местах. Выходило, что Олесь ошибся в своем первом впечатлении, директор был вовсе не шут и не злодей, он был мирный пастырь, как заботливая мама, пекущийся о покое и комфорте безумных туристов. Улыбка не сходила с красивого лица Валентины, карты в ее руках скакали, как кадры цветной кинохроники, не уследишь. Всмотревшись в ее лицо, можно было определить под маской тридцати лет все сорок пять, а за смехом и бравадой легко угадывались расчет и некоторая скука. Зубки у Валентины были очень мелкие, очень белые, очень острые, может быть, дни были искусственными, острым был и выскакивающий наружу кончик мокрого языка.

— А вы поэт? — спрашивала Валентина задиристо. — Я понимаю... Но только вот странность. — Олесь все пытался проследить за картами в ее руках, и все не получалось. — Поэт без псевдонима, это странно!

— Почему вы решили, что я не взял псевдонима? — Ему очень хотелось сказать теперь хоть какую-нибудь ложь. — Просто псевдоним стал именем.

— Значит, Олесь — это ваш псевдоним?

— В принципе, так!

— А каково же тогда имя?

— А зачем это вам?

— Тайна?

— Тайна.

— Вот где настоящая творческая кухня! — Валентина обращалась к капитану. — Вот что скрыто за пафосом строк!

«Какая гадина!» — подумал Олесь. Судно делало поворот, и солнце в квадрате окна быстро двигалось слева направо, оно двигалось над морским пространством между желтыми шторками по небесной высокой сфере. Тени в каюте тоже перемещались. Мысли в голове Олесь от этого немножко запутались, он будто слегка опьянел. Карты скользили по полированному столу, как намыленные, позвякивали монетки: копеечки, пятак, двушки, гербастая-молоткастая медь.

— А на Соловки вы уже ходили, капитан? — спросила Маруся.

— А как же, ходил... Странные места, доложу вам, но и жуткие, конечно. Столько монахов расстреляли, что от ряска и подрясничков в глазах темно.

— Лагерь смерти! — с чувством сказала Валентина. — Очень страшный!

— Ладно бы расстреливали, — продолжал директор. — К пуле в брюхо русскому

человеку не привыкать. Есть там такая Секирная гора. Была там лестница каменная, довольно-таки высокая, скажем так, крутая, отвесная такая лестница. — Капитан-директор напряженно смотрел в свои карты. — Так они заводили монахов на самый верх, к бревнам привязывали... — Солнце, проделав свой путь от железной рамы до железной рамы, ушло, и в каюте сделалось вдруг полутемно. — Привязывали, значит, к бревнам, — продолжал капитан-директор веселым голосом, — и скидывали!.. Скидывали!.. — он бросил карты и взялся за запись. — Скидывали вниз. Кровища — рекой!

Олесь разглядывал карты в своей руке: червовые шестерка, валет и туз.

## 20

Он бессознательно притянул к себе блокнот, но не открыл его. В каюте сгустился полумрак, и за этим полумраком Олесь ясно увидел соловецкую лестницу, белые каменные ступени, с треском катящиеся огромные бревна и палачей в кожаных плащах, на черных лбах ушанок кровавые брызги звезд, ноги в сапогах расставлены.

Валентина поднялась и включила свет. Каюта опять засверкала и выросла в объеме. Видение исчезло, и тут же настойчиво постучали в дверь.

— Конечно! — крикнул капитан-директор. — Входите, не заперто!

В дверь зачем-то еще раз постучали, и она распахнулась. Стараясь сбросить с себя нахлынувшее оцепенение, Олесь смотрел на Марусю, искал какой-нибудь поддержки. Маруся смотрела на открытую дверь. Только когда челюсть у Маруси дебилно отвисла, а в глазах появилось что-то убийственно идиотское, поэт тоже посмотрел на вошедшего. Он увидел, что в каюту первого класса впорхнуло нечто большое, шелковое, белое, порывистое и шумное, «нечто» имело яростно красные губы и огромные женские глаза. Олесь только по голосу догадался, кто перед ним, и у него так же, как и у Маруси, отвисла челюсть.

— Тамара Васильевна умирает! Срочно нужен врач! У нее, как минимум, микроинфаркт. — Впрочем, и голос у Виолетты был теперь другой: скорый, громкий, хотя в нем и сохранялось что-то из интонационного набора подвыпившей тетки. — Вы что, не поняли меня, что ли?

— Вы уверены, что требуется врач? — Отодвигаясь вместе со своим креслом, ошарашенный капитан-директор пытался сопротивляться. — Это точно?

— Точно. Уверена, я сама врач!

— Так, раз вы врач, сами и помогите.

— Что значит сами? Нужно оборудование, нужны медикаменты. У меня нет ничего, кроме одеколona и тампакса! — Оказавшись у стола, она накрыла красивой рукой разбросанные по зеркальной поверхности карты. В голосе ее прорезался острый металл. — Вообще есть врач на судне?

— А я думала, тетка! — наконец закрывая рот, восторженно прошептала Маруся. — Это всего лишь декорация!..

Виолетта не обратила на нее внимания, она атаковала напуганного капитана:

— Вы директор маршрута. Если она погибнет, отвечать будете вы.

— Ну, причем тут... — заблеял директор-капитан. — Ну, зачем же... Не стоит, гражданочка... Не нужно... Не нужно меня пугать! Не следует! — Он поднялся наконец из кресла. — Выйдите отсюда. На судне врач есть, он будет приглашен. Выйдите! — Упирая руки в бока, он смотрел на Виолетту, а та смотрела на него. Она, передразнивая, тоже уперла руки в бедра, растопырила пальцы. Тетка была совершенна и великолепа в этом новом своем качестве. — Ну, хорошо! Пойдемте! — не выдержав напора, крикнул хозяин номера. — Пойдемте. Я готов на все!

Олесь неся по коридору, сжимая в руке блокнот, потом он падал вниз по отвесным лестницам, по ковровым дорожкам. Он так рванул, что через минуту потерял Марусю, потом где-то отстала и Валентина, только капитан-директор дышал в затылок, его сапоги бухали по железным ступеням все время рядом. Попадались навстречу люди, по левую руку на миг развернулось пространство бара, Олесь успел заметить, что там все в порядке, чинно и пьяно, но тут же он и осознал, что это пока тихо, что неминуема на «Казани» паника, что очень скоро тихо не будет. Что произошло, поэт, конечно, не знал, но желал, чтобы происходило нечто

чудовищное. Сбегая по лестнице, он представлял себе, будто катится по каменным белым ступеням, привязанный к бревну, представлял и морщился от предполагаемых смертельных ушибов.

Дверь в каюту оказалась заперта. Олесь дернул пару раз за ручку, надавил коленом, надавил плечом. В отличие от верхних палуб коридор четвертого класса наполнялся и наполнялся гудением огромных дизелей, и от этой вибрации, от неприятных лампочек в крепких плафонах поэту стало не по себе.

— Я ее заперла от греха, мало ли кто здесь еще ходит, — сильно шурша белыми рукавами, Виолетта встала ключ, повернула, распахнула дверь в каюту. Голос у нее был быстрый и неостановимый. — Я все сделаю... Мы с Тамарой двадцать лет дружим... Девчонками еще, вместе пошли в медицину!..

— Так она что, тоже врач?

— Врач! Она хороший специалист в отличие от меня. — Голубые глаза тетקי расширились и сужались в какой-то ненормальной пульсации. — Но и врач может случайно умереть.

В каюте оказалось совсем темно и, кроме глаз Виолетты Григорьевны, отражавших коридорную лампочку, ничего видно не было. Олесь застыл неподвижно в дверях, рядом с ним стоял капитан-директор, через минуту присоединились и остальные. Тяжело дыша после бега, Маруся попыталась включить свет, но Виолетта отстранила ее.

— Не надо, Тамара не терпит электричества! — Виолетта подняла шторы на окне, и стало видно, что на кровати внизу с правой стороны лежит умирающий человек. Женщина еще жила — это можно было определить по дрожанию ресниц. Глаза ее были закрыты.

— Подождите, — очень тихо попросила она. — Подождите, я должна сказать...

Отпихнув директора, Олесь склонился к умирающей, встал рядом на колени.

— Ну говорите. Говорите! — попросил он свистящим шепотом. — Рассказывайте! — Он положил блокнот на стол и посмотрел зачем-то в иллюминатор. За стеклом ходила ходуном, рябила темная пена. — Рассказывайте, рассказывайте все по порядку. Тамара Васильевна, вы слышите меня? — Женщина молчала, и, сосредоточившись на бледном лице, поэт продолжал: — Вы пошли в душ. Вы помните, как это было? Скажите, вы успели принять душ?

Сухие губы шевельнулись:

— Нет!

— Почему?

На затылке Олесь ощутил горячее дыхание капитана-директора. Он услышал, как Маруся недовольно фыркнула и вышла из каюты.

— В душевой лежал труп! — Тамара Васильевна чуть приоткрыла глаза. — Труп мужчины... — В узких щелочках под веками дрожала влага. — Это был совсем еще мальчик. Я осмотрела его. Но он умер уже очень давно. — Олесь затаил дыхание, он боялся, что кто-нибудь вмешается, прервет, он прикусил губу, чтобы самому не сорваться на вопрос. — Он был очень плохо заморожен. Чем-то его накачали, не знаю чем, я не смогла определить препарат. Препарат без запаха, видимо, что-то импортное... Наше лекарство я бы распознала...

— Дальше... Дальше... — прошептал поэт, не выдержав. — Что было дальше?

— Грудная клетка вскрыта. Он лежал на кафельном полу. — Губы ее искривились в подобие профессиональной улыбки. — Ну, совершенно как в анатомичке, никакой разницы. Все-таки я его осмотрела. Грудная клетка вскрыта, но вскрыта по старому шву... Его вскрывали, как минимум, два раза... Там был еще какой-то белый порошок... Просыпали на пол, смыли, но не весь...

— Какой порошок?

— Я не знаю! — Глаза Тамары Васильевны опять закрылись, и она болезненно сильно задышала. — Не знаю!

— Давайте по порядку, — спокойно сказал Олесь. — Вы пошли в душ. Вы разделесь, потом увидели труп. Вы вернулись в каюту сразу?

— Да.

— На теле покойника были татуировки?

— Да.

— Надписи?

— Да.

- Там было написано что-то про квадратное озеро?  
— Бойтесь черных квадратных озер...  
За спиной Олеся капитан-директор спросил шепотом:  
— Но если она патологоанатом, то чего же она так испугалась?  
— Она всегда боялась. Всю жизнь... — прошептала Виолетта. — Я думаю, здесь результат неожиданности, шок.  
— Вы вернулись в каюту. Вы выпили коньяка, — продолжал поэт. — А потом пошли обратно в душ?  
— Да.  
— Труп был все еще там?  
— Да.  
— Вы осмотрели его еще раз, вы кому-нибудь успели сообщить о происшедшем?  
— Нет.  
— Вас ударили сзади по голове?  
— Нет. Скорее, это был платок с хлороформом...  
— Почему вы решили?  
— Язык распух, так бывает от хлороформа. — Глаза опять чуть приоткрылись, блеснули щелочками. — Но хлороформ с какой-то добавкой... Мне кажется, какой-то допинг...  
— Скоты! — сказала Виолетта. — Но, по крайней мере, понятно, откуда инфаркт.  
— Мне, например, ничего не понятно! — сказал капитан-директор. — Может быть, объясните?  
— Допинг и успокоительное на одной салфетке. Очень просто убить человека.  
— Ничего не понимаю! — сказал директор и вдруг, повысив голос, крикнул: — Валентина!  
Но Валентины рядом не оказалось, подружка капитана успела ускользнуть.



Корабельный врач, тощий старикан лет семидесяти пяти, одетый в хорошо сшитый темный костюм, на который халат был только накинут, потребовал, чтобы пространство вокруг больной было освобождено. Осталась помочь только Виолетта. Маруся скривила смешную рожу и, покидая каюту, прихватила верхнюю одежду. Она почти насильно одела на Олеся плащ и, поскольку поэт сопротивлялся — он хотел дежурить под дверью, боялся что-то упустить, — потратила десять минут на уговоры. Маруся снова желала идти на верхнюю палубу. Да, конечно, она уже видела и море, и небо, и самолет, и белый инверсионный след, и это солнце, но еще не видела, а очень хочет увидеть ночные морские пространства. Предполагалось, что это совершенно иные, особенные пространства.

— Маньячка! — подытожил Олесь, в который уже раз выбираясь по лестнице вверх. — Ты если во что-то вцепишься, то обязательно зубами. И челюсть вилкой не разомкнешь.

Но Маруся не обиделась, хотя и следовало, она только ухватила поэта под руку. После многочисленных подъемов по крутым лестницам у нее сильно заболели ноги. Не признаваться же в этом, когда хочешь увидеть ночное Белое море.

— Ты доктора видел? — выбираясь на палубу и затягивая на горле свой тяжелый шарф, спросила она. — Думаешь, может быть врачом на морском судне такой старикан?

— Не знаю... — Олесь не слышал ее, ночь, прозрачная, и огромная, до горизонта набитое звездами небо, чернота и контраст серебряных искусственных линий заняли моментально все его внимание и воображение. Он вообще не хотел никаких слов. — Не знаю...

— Мне всегда казалось, что на флоте должны служить молодые люди, а также люди средних лет. А он старый, его обязательно должна была резать медкомиссия.

— Как тот кабанчика?

— Смотри, — Маруся присела на корточки возле поручней. — Смыли пятнышко. Совсем его не видно, или это в темноте?

— В темноте... Знаешь, о чем я сейчас подумал, что себе представил?

— Знаю. Ты представил себе, что сейчас тридцать пятый год, что мы оба зеки и плывем под конвоем на большой ржавой барже к острову смерти, где нас будут убивать и мучить. Правильно?

— Умная!

— А действительно, ведь страшно, ведь из такой картинке не убежишь, как тот кабанчик от поварского ножа. Не прыгнешь за борт, не доплывешь до берега. Холодно. Выходит, либо смерть сейчас, сию секунду, либо можно еще пару недель ее подождать.

Они оба замолчали. Морé походило на ночную пустыню — черный песок, медленно перекатывающийся из бархана в бархан. Песок отражал серебряный лунный свет. Луна не шевелилась в окружении звезд, казалось, она обжигает холодом лицо, тогда как руки на легком ветру моментально коченели и пепел с вдруг прикуренной сигареты падал на железную палубу.

— Мы не знаем такой силы чувства! — сказал Олесь. — Мы готовы на все, только бы появились эмоции, и это — полная ерунда по сравнению с теми годами... Ведь понимаешь... — Он, не отрываясь, смотрел в черную звездную пустоту, и пустота была, как лед. — Мы придумываем любви, ужасы, жадность, мы кричим, переживаем, молимся, и все в миллионную часть чувства, все мелочь, сор, сырые спичечные головки в сравнении с тем костром...

— Ты что, готов обменяться с тем зеком? Если б было, конечно, можно!

— Конечно. За всю жизнь хоть раз подняться на вершину одной минуты. Мы не умеем испытать ни отчаяния, ни страха, ни боли, ни безысходности. Нам просто негде все это опробовать... — Он перестал смотреть в черноту и обратил лицо к Марусе. — Ты перепробовала тысячу мужчин...

— Девятьсот сорок восемь, ты — сорок девятый, — отозвалась она, но он не услышал и продолжал:

— И вся эта патология не может сравниться даже с одной минутой фантазий какого-нибудь малограмотного зека, посаженного в карцер... А я стихи пишу! Я пытаюсь высосать из своей жизни максимум. Получается, что все ложь. Все мелко и не значимо, каждое стихотворение — подделка, а все они вместе — цепь подделок.

За бортом что-то неприятно плеснуло. Напрягая слух, можно было уловить отдаленно звучащую музыку.

— Ты один, что ли, такой! — вдруг зло сказала Маруся.

Опять они с минуту помолчали. Плеск не повторялся.

— Ты видел эту, Виолетту? Тетка теткой, она никто и ничто, какой-нибудь вшивый, скучный терапевт во вшивой, скучной поликлинике. Ты думаешь, почему она вырядилась, почему она накрасилась? Она эти платья десять лет хранила, а теперь сунула в чемодан. Где ей их еще надеть? И совершенно не нужен лагерный клифт, извращение может быть каким хочешь, оно все равно будет настоящим. Важно, не что происходит, а что ты чувствуешь.

— Слушай-ка, — прервал ее Олесь, поднимаясь теме. — А как ты думаешь, чего ради опытный патологоанатом впадает в тихую истерику при виде трупа?

— Не знаю. Но, когда падал самолет там, на пирсе, я почувствовала, что от ужаса сейчас взлечу птицей. Наверное, есть еще какая-то причина. — Она щелчком стряхнула пепел со своей сигареты. — Мы здорово запугались. — Олесь слушал не перебивая. — Чуть не упал самолет. Потом странная история с грузовиком церковной литературы. Ансамбль «русские народные скелеты» репетирует. Кабанчика режут на палубе. Эта парочка за столом. Они же оба сумасшедшие. А труп в душе? Ну, скажи, куда он потом-то делся?

— А куда! — наконец отозвался Олесь. — Мне кажется, труп всего один. И убили молодого человека еще в Афганистане законным образом, в бою. Нет никакого преступления. Просто гроб внесли на корабль отдельно, а покойника отдельно. Другой вопрос, зачем? Другой вопрос, какого черта нужно было мертвеца в душе мыть и дважды взрезать?

— Ты думаешь, тот пьяный был мертвец из Афганистана?

— Не думаю, а уверен. Про кабанчика вот не знаю, загадочная история, про Библию тоже не знаю, нужно разобраться, а вот насчет мертвецов, тут как раз понятно, тут все слишком логично, тут-то как раз все складывается.

— А зачем тогда пустой гроб?

— По логике, для того, чтобы что-то подпольно провезти, скажем, оружие или

наркотики. Ведь это очень логично: труп под видом пьяного едет отдельно с билетом, а в гробу едет что-то иное. В душ они его, предположим, приволокли, потому что запах. И распоролли еще раз по той же причине, пьяные дураки...

— Слушай, а кому нужно на Большом Соловецком оружие или наркотики?

— Вопрос, конечно. Не знаю! Нужно посмотреть, что там в гробу, может быть, вообще что-то другое. Я же исходил из стандартных предположений, а возможны ведь и более интересные варианты.



Внизу, в коридоре четвертого класса, рядом с дверью их каюты все еще стоял капитан-директор. Глаза у капитана-директора были какие-то оловянные, он курил, часто затягиваясь, и свободную руку держал зачем-то на ручке двери.

— Ну как она? — спросил Олесь, на ходу расстегивая плащ.

Капитан-директор надавил ручку двери. В каюте все так же сидел корабельный доктор, Тамара Васильевна лежала на своем месте, правда, теперь вся обещанная какими-то датчиками, а Виолетта, неподвижная, разместила у окна.

— Кто разрешил войти? — спросил сухо корабельный врач. — Я прошу выйти отсюда.

Олесь и Маруся скинули верхнюю одежду и послушно ретировались.

— Ну, и что вы обо всем этом думаете? — спросил капитан-директор, когда они оказались снова в коридоре.

— Я думаю, нужно как следует осмотреть душ, — сказала Маруся и прикурила от папиросы капитана. — Или вы уже?..

— Нет, как-то не сообразил. Нужно осмотреть. — Он высоко поднял руку и стряхнул с папиросы пепел.

На белом рукаве возле локтя отчетливо была видна небольшая затяжка. Где-то капитан-директор этим рукавом зацепился и потерял нитку. Опустив руку в карман, Олесь нашел эту припасенную нитку, сохранившуюся как вещественное доказательство, и не без удовольствия намотал ее на палец.

«По крайней мере, понятно, кто лазил по нашему номеру в гостинице», — подумал он.

Капитан-директор покашлял точно так же, как делал это в радиотрансляции, и сказал хрипло:

— Вне зависимости, что бы мы ни отыскиали в душевой, всех приглашаю сегодня на ужин.

— По поводу? — спросила Маруся.

— Именины у меня! — Капитан опять покашлял. — Если не придете, обижусь насмерть и спишу с судна прямо в открытом море.

Но осмотреть душ так и не успели, потому что дверь каюты приоткрылась, в щели возникли широкие шелковые рукава Виолетты, рукава скорбно взлетели вверх, и Виолетта попросила:

— Кто-нибудь, срочно в аптеку, нужен викаронит. В ампулах.

Капитан-директор кивнул послушно, загасил о подметку светлого ботинка папиросу и полез по ступенькам вверх. Дверь тут же с треском захлопнулась, и Виолетта повернула ключ.

— Пойдем, — сказал Олесь. — Посмотрим!

— Нет, — сказала Маруся. — Ты можешь, конечно, пойти и посмотреть. А я пойду выпью. Приходи в бар.

Когда звук ее каблучков утих на железных ступенях, Олесь постучал в дверь. Опять повернулся ключ, и он беспрепятственно вошел в каюту. Ни слова не говоря, он взял казенное полотенце, достал из кармана плаща мыло в розовой мыльнице, достал старенькую зубную щетку в коричневом футлярчике и тюбик с зубной пастой.

Душ состоял из двух секций. Сперва, прямо за дверью, маленькая раздевалка. Здесь была вешалка и некрашенная скамеечка. Потом за стеклянной узкой перегородкой кафельный квадрат с металлическим большим стоком и стационарно закрепленным раскателем на высоте полуметра над головой. Воздух здесь был наполнен горячей влагой, все говорило о том, что душ только что посещали. Олесь зажег свет, запер наружную дверь. Он устал за этот безумный день и раздевался очень медленно, зачем-то осматривая каждую снятую с себя вещь.

Когда он снял трусы, к двери кто-то приблизился. Прошелестели очень осторожные шаги. В дверь даже не постучали, а только тихо-тихо поскреблись.

— Занято! — сказал зло Олесь и положил трусы на скамеечку. Человек по ту сторону двери громко, казалось, судорожно дышал, но не говорил ни слова и не уходил.

«Вот сначала я помоюсь, а потом буду играть в сыщиков-разбойников, — сказал себе поэт и растворил стеклянную перегородку. — Хватит на сегодня идиотских приключений... Нечего придумывать...»

Гудела лампочка в толстом матовом плафоне, было очень душно, человек за дверью громко дышал, но не говорил ни слова. Было слышно, как его ноги переступают нетерпеливо на месте. Олесь уже протянул руку, чтобы повернуть кран, когда сообразил, что хорошо бы все-таки вымыться с мылом. Он повернулся взять его со скамеечки в раздевалке и только теперь увидел труп.

За дверью сдержанно кашлянули, после чего три раза, вероятно, костяшками пальцев постучали. Труп лежал сбоку под самой стенкой, и, естественно, когда перегородка была задвинута, увидеть его было нельзя. Он был накрыт большим куском целлофана. Из-под целлофана торчали лишь розовые пятки. На целлофане концентрировались большие капли, они отражали лампу.

В дверь снова поскреблись. Преодолевая вдруг навалившуюся усталость и отвращение, Олесь сделал шаг и, опустившись на корточки, приподнял край целлофана.

Кафельный пол под его босыми ногами казался горячим. И глубоко под полом явственно вибрировали, гудели могучие двигатели теплохода.

— Открой! — очень тихо прошептали по ту сторону двери. — Открой дверь... — Рефлекторно Олесь отрицательно помотал головой. — Лучше для тебя, открой сейчас.

На полу лежала мертвая женщина. Это была очень молодая женщина. Лицо показалось знакомым, но не вспомнить сразу. Лежала она на боку, вероятно, в последнем приступе боли левой рукой вцепившись в правую стопу. Приблизив лицо к лицу трупа, Олесь убедился, что губы чуть приоткрыты, дыхания нет, а длинные черные ресницы не дрожат.

«Но если она пошла мыться, разделась... Предположим, потом на нее напали, убили и накрыли... Предположим, целлофан убийца принес с собой. Тогда где же одежда, неужели убийца унес одежду? — Осторожно Олесь кончиками пальцев потрогал тело. Тело было теплым и влажным. — Вероятно, это произошло только что, когда мы вдвоем стояли в коридоре, в душ никто не входил. Убийство могло произойти за те две минуты, что я заходил в каюту, чтобы взять мыло и полотенце. Уж никак не более двух минут. Значит, за две минуты она успела раздеться, включить воду и умереть! Не слишком ли быстро?»

— Открой, ты! — опять послышалось из-за двери, голос был какой-то неприятный, утробный. — По-хорошему просят...

Олесь накрыл труп целлофаном и распрямился. Надо было одеваться, но он замер в каком-то приступе оцепенелой тоски.

«Еще один труп, — повторил он себе. — Еще один. Но этот труп никто не разрезал... И это уже никак не может оказаться молодой человек из Афганистана... — На ногах у мертвой девушки был красивый педикюр, из-под целлофана торчали аккуратные красивые пальчики. — Что же на этом корабле происходит? При чем тут я? При чем тут я?»

Он не смог двинуться с места, когда под нажимом, вероятно, очень сильной руки дверь распахнулась. Со звоном ударился о кафель отлетевший замочек.

— Конеч! — прошептал Олесь, даже не делая попытки сопротивляться. — Но при чем тут я?

Его ударили по голове, и он ничего не видел. Только чувствовал, что лежит на лопатках и что на горле смыкаются чьи-то руки. Перед глазами расплывались большие черные круги, как от камня в ночной воде, медленные, красивые. Он ощутил запах одеколона, потом боль в шейных позвонках, кафель скользил под лопатками, сознание уплывало внутрь черного круга. Последнее, что поэт услышал, был истерический женский вопль.

## 13

Сознание уплыло и, казалось, тут же вернулось. Он лежал на спине, накрытый одеялом. Сильно болела шея. Он подумал: «ЖИВ!», и мысль оказалась сладкой. Можно было это слово, как конфету, обсосать, не открывая глаз.

— На меня напали! — сказал он на пробу, все так же не открывая глаз. — Меня чуть не убили.

— Ну, ты же хотел чего-нибудь по-настоящему опасного. — Голос Маруси прозвучал совсем рядом, почти в самое ухо. Голос этот был насмешливый, издевательский.

— Не смешно! — сказал Олесь и открыл глаза.

Маруся действительно сидела рядом, она склонялась к нему, она ехидно строила глазки и улыбалась.

— Смешно! — строгим голосом сказала она. — Именно что смешно, и никак не больше! Ты думаешь, кто тебя удушил?

— Марусенька... — Олесь попробовал нащупать ее руку, он хотел хотя бы жалости. — Я не знаю, кто это был. Я зашел в душевую, разделся, снял трусы... Потом я увидел труп!

— Значит, труп! — Глаза Маруси неприятно полыхнули.

— Женский, молодой, красивый. Пальчики... Педикюр... Реснички... Меня по башке сзади стукнули...

Ощувив неудобство, Олесь с трудом повернул голову. Шея все-таки сильно болела. Он увидел, что лежит не в санитарном отсеке и даже не в своей каюте. Крутом набросаны дорогие вещи, висит большой фотоаппарат в коричневом футляре, женские чулки валяются, на столе раздавленное пирожное, рядом хрустальная рюмка с коньяком и открытая губная помада.

— Где мы? — спросил Олесь, пытаясь сесть.

— Это был мой труп! — плачущим голосом сказала девушка, сидящая напротив на нижней полке. — Нет, честное слово... — Она судорожным движением запахивала пестрый халатик на груди. — Извините. Честное слово, мне неловко! — Это была одна из девочек кавказца, кажется, Вика. — Простите меня, пожалуйста, а?

— Твой?

— Нет, право, честное слово, мой!

— Это был ее труп! — подтвердил кавказец, он стоял, прислонясь спиной к двери. — Можно не сомневаться! Если бы это была другая женщина, я бы тебя не стал за горло душить!

Наконец, нащупав лежащую на подстилке твердую ладонь Маруси, поэт сдвинул ее и сразу сел на своем месте, спустил ноги на пол. Маруся поморщилась и ответила таким же сильным пожатием.

— Значит, ты не была мертвой? — обращаясь к девушке в пестром халатике, спросил Олесь, он чувствовал неловкость.

— Не была! — всхлипнула та.

— Совсем дурак ты! — сказал кавказец, и в его голосе легко можно было опознать неприятный голос, раздававшийся из-за закрытой двери душевой. — Совсем ничего не понимаешь, да?

— Трахались люди! — сказала Маруся. — Иликко вышел на одну минуточку, он забыл в каюте одну необходимую вещь, а дверь оставил открытой. Ну, задержался немножко, а тут ты вошел и заперся...

— Так что ж он не сказал-то!

— Неудобно... — прогнусавил кавказец, лицо его налилось краской, он отвернулся и, распахнув один из чемоданов, стал в рыться в вещах. — Что сказать?.. Кому сказать?.. Глупость!.. Спасибо, не убил тебя!

— Ну, вот видишь, нужно сказать спасибо! — Маруся дернула Олесь за руку, заставляя подняться на ноги. — Даже без нашатыря обошлось.

— А ты чего не сказала, — упиравшись и не давая себя сразу вытащить из каюты, спросил Олесь у девицы. — Ты бы могла сказать. Зачем ты целлофаном накрылась, он же прозрачный. В конце концов, можно было завязать, по морде меня отхлестать. Дура, что ли, совсем?

— А я и завязжала! — сказала Вика. — Ты не слышал, что ли?

Только оказавшись в своей каюте, Олесь сообразил, что одет. Одежда, правда, была сыровата.

— Ты меня одела? — спросил он. Маруся кивнула. — А где эта, Тамара Васильевна? В санчасть унесли?

Маруся опять кивнула, не поворачиваясь, она вставила в замочную скважину ключ и, не глядя, повернула его, она смотрела на поэта уже другими глазами.

— Там труп лежал, — сказал Олесь, послушно расстегивая рубашку. Маруся вынула ключ, положила его на стол и тоже стала раздеваться. Делала она это быстро и как-то сосредоточенно. — Совсем запугали меня, — продолжал Олесь. — Везде трупы мерещатся! Рубашка мокрая, брюки мокрые, даже трусы мокрые. Самому противно.

Маруся тщательно соединила шторы так, чтобы не осталось даже щелочки, будто с той стороны иллюминатора мог кто-нибудь заглянуть, и темная ночная волна присутствовала теперь лишь в виде плещающего движения, неостановимого ритмичного звука.

— А ты что вернулась? — спросил Олесь, поудобнее устраиваясь на полке и принимая на ладони предлагаемый вес. — Ты же в бар пошла. Выпить хотела?

— Ты думаешь, я сама вернулась? Ты знаешь, сколько ты без сознания лежал?.. — Казалось, шум дизелей под полом усилился, стал ритмичнее, мягче, он уже сам по себе, без усилия накладывался на плеск волны, составляя некий сюрреалистический звуковой дуэт. — Они испугались, идиоты, думали, грохнули тебя. Девушка вторая за мной в бар бегала. Как же, грохнешь тебя!.. Думали, просто... Тебя так просто не грохнешь... Это не просто... Не грохнешь...

Волосы Маруси растрепались по его телу и ездил теплыми шелковыми прядями, они то закрывали ее лицо, то расступались, и можно было заметить искривленные темные губы и сильно зажмуренные глаза.

— И зачем они в душ пошли?.. Зачем в душе?.. Когда у них отдельная каюта... Отдельная каюта в полном распоряжении... На троих...

— Эй, откройте! — Наконец дошло до сознания, что давно уже сильно стучат в дверь и кричат. — Очень вас прошу, откройте мне. Срочное дело.

— Ну, что еще? — Олесь даже не пытался скрыть раздражения.

— Понимаете!.. — В отличие от предыдущих случаев Илико стоял в коридоре и даже не пытался войти. — Понимаете, меня обокрали. У меня украли деньги. Семь тысяч.

— Больше нету? — полюбопытствовал Олесь, испытав некоторое злорадство.

— Больше нету.

— Врет он, есть! — сказала девушка, стоящая за его спиной.

— Но семь тысяч — все равно много.

Кавказец повернулся, ему что-то пришло в голову, и, повышая голос, стал наступать на свою девушку, оттесняя ее в глубину коридора.

— А ты где была? Скажи, где ты была, когда мы с поэтом в душевом отделении насмерть дрались?

Девушка, кажется, ее звали Зоя, фыркнула обиженно и объяснила:

— Рядом с душем, видел, есть маленькое заведение. Ты зачем меня вчера омарами кормил? — Теперь она наступала, а кавказец пятился. — Ты меня теперь подозревать будешь, гад. Не кормил бы омарами, сидела бы в каюте, как хорошая девочка. — Она демонстративно прижала ладони к своему плоскому животу. — Видишь, крутит меня. А если буря? А если качка?

Снова запирая дверь на ключ, Олесь улыбался. Он не хотел улыбаться, слишком глупа была причина, но не мог справиться с собственными растянутыми губами. Маруся не стала одеваться, когда постучали в дверь. Она сидела на нижней полке, обхватив голыми руками голые колени, положив на колени растрепанную голову и закрыв глаза.



Одевшись, Маруся сразу шагнула к окну и разомкнула шторы.

— Пойдем к капитану.

— Тебя интересуют именины директора? Если хочешь, иди, мне он противен, честное слово.

— Нет, не то. Пойдем к настоящему капитану, должен же быть у «Казани»

настоящий капитан, хотя бы такой же старичок, как настоящий доктор. Жареная свинина меня тоже не увлекает.

Боль в ногах возобновилась, настроения уже совершенно никакого — ни вырывающаяся из бара музыка, ни запахи съестного из ресторана не будили фантазию и чувства. Зато к капитану попасть оказалось до смешного просто. Молоденький офицер в черной отглаженной морской форме с золотыми витыми погонами поправил пятерней непослушные волосы, завел их назад и широким жестом предложил пройти за ним.

— Вообще-то полагается к капитану по предварительной записи и в определенное время. Но вы первые в этом рейсе. Морской закон гласит: кто первый пришел, тот и прав. Кто первый пришел, тот имеет право.

Очень большая квадратная каюта поражала не столько коврами на стенах и шикарнейшей старинной мебелью, сколько своими потолками, казалось, они были пятиметровыми, так высоко вздымались над головой и такой были украшены лепниной. В остальном все было по-домашнему. Висящий на спинке стула белый китель, почти такой же, как у капитана-директора. Початая бутылка коньяка. Рюмочки в распахнутом сейфе между каких-то толстых кожаных папок, и там же, в сейфе, кобура с револьвером. На столе лежала еще не распечатанная колода. А на стене против входной двери была большая морская карта, утыканная разноцветными флажками. Подле карты стоял действительно немолодой лысоватый мужчина в опрятной рубашке и хорошо отутюженных белых форменных брюках. Он был босой и в левой руке держал галстук. В правой руке была булавка. Когда Олесь осторожно прикрыл за собою дверь, капитан воткнул булавку в карту, кинул галстук на спинку стула поверх кителя и широким жестом предложил гостям присаживаться.

— Коньяк? — спросил он, уstraиваясь на стуле.

— Нет, спасибо.

— Может быть, партию в покер?

— Тоже нет.

Отвечали Олесь и Маруся строго по очереди, отчего ироническая улыбка капитана сделалась чуть шире.

— Слушаю вас! — Он налил себе в рюмочку коньяка и, приподняв, проглотил. — Слушаю вас, молодые люди.

«Это уже не цирк, — подумал Олесь. — Это не клоун. Это не клоунада. Это балет! Опера! Большой театр!»

— Маруся! — протягивая руку, представилась его подруга.

— Казанец, Петр Викторович, — пожимая эту руку, сказал капитан.

— Олесь!

— Приятно, Петр!

— На судне произошла кража.

— Это ЧП.

— В душевой четвертого класса женщина нашла мужской взрезанный труп.

— Ну, это совсем уже неприятно.

— Он потерялся. Его унес кто-то и спрятал.

— Придется, значит, поискать... — Улыбка капитана сделалась еще шире. — Да знаю я, знаю все. Ничем вы меня не удивите. — Его добродушный тон поразил поэта, лишив всякого желания продолжать разговор. — Обычное дело. Вы же видите, это туристическое мероприятие, а не морская ходка. Мы живем в некотором смысле не по законам флота, а по законам карнавала.

— А откуда вы знаете? — жестко спросила Маруся.

— Директора маршрута, шута горохового, видели?

— Конечно... Даже играли с ним в покер.

— Ну, так это вор.

— Вор? — не удержался Олесь.

— Фармазон. Я с ним пятый рейс хожу. Каждый раз мы их по приходе в Архангельск сдаем милиции обоим, и каждый раз они возвращаются. И знаете, ничего нельзя сделать. Они проходят медкомиссию, они невменяемые, видите ли, kleптоманы-мистики. И с работы их из туристического агентства не увольняют. А что? Рекламаций нет. Жалоб нет, — он помассировал рукой шею. — Нужно будет в этот раз самому жалобу написать.

— А труп?

— Труп — другое дело. Труп — это серьезно. Эти никого убить не могут. Они по-человечески и украсть ничего не могут, только в карты хорошо играют, шельмы.

— Они свинью на палубе зарезали! — зачем-то сказала Маруся.

— Вполне может быть. У них каждую ходку именины сердца. Любят отметить шикарно. Пригласили вас?

— Пригласили.

— И меня пригласили. Пойдете?

— Нет.

— И я не пойду.

Рюмочки в глубине открытого сейфа колыхались и очень тихо звенели. Переводя взгляд с предмета на предмет в каюте, Олесь остановил свое внимание на стенном зеркале. В зеркале отражался капитан. Поза капитана в другом ракурсе показалась поэту какой-то неестественной.

— А что делать-то будем теперь? — спросила Маруся.

— В общем, ничего страшного, — сказал капитан. — Вы, девушка, помогите мне с галстуком справиться. Видите ли, радикулит страшнейший, сам не могу, с утра пытаюсь, ничего не выходит. Пора в отставку, да вот никак не могу решиться... А вы, молодой человек, если не в труд, ботинки мне помогите завязать. Извините, но другого выхода у нас с вами теперь нет. Не могу же я к кагебешнику босиком через все судно идти.

Пока Маруся осторожными красивыми движениями расправляла галстук, а Олесь, опустившись на корточки, зашнуровывал на ногах капитана ботинки, Казанец рассказал, что на корабле вообще-то милиции нет и не было, только мелкая сошка из КГБ обычно крутится, такая, в общем, мелкая, что к ней действительно и босиком было бы можно. Но как раз в этот рейс вместо обычного контролера пошел полковник по фамилии Шуман. Имя-отчество сразу и не припомнишь. Кого-то пасет, а за компанию и вторую ставку на этот рейс взял. Такая шишка капитана без галстука и без ботинок всерьез не воспримет.

На лестнице Маруся взяла поэта за ухо и сказала:

— Иди один, я тебя в баре подожду.

Желание Олесья плюнуть и тоже отправиться в бар пресек молодой дежурный офицер, по приказу Петра Викторовича составивший им компанию. Когда Маруся развернулась и ушла в распахнутые двери навстречу огромному окну, мягким креслам, коктейлям и приятной музыке, офицер, поправив свои светлые волосы, взял поэта вежливо за локоть.

25

«Сволочь я, сволочь, — думала Маруся, размякнув в кресле и закрыв глаза. — Нужно было вместе идти. — Тяжелый, на сей раз вовсе не молочный коктейль в стакане оттягивал ее руку, но она все не ставила и не ставила его на стол. — Теперь обидится. А, наплевать, пусть обижается сколько хочет... Поэт не должен обижаться на свою женщину, — она чуть приоткрыла глаза. Звучала мягкая музыка, за окном лежала огромная черная пустыня. — Господи помилуй, как хорошо! — она сделала большой глоток и лихо двумя перстами перекрестилась. — Помилуй мя!»

— Простите, сестра! — тотчас раздалось рядом, и в соседнее кресло опустился знакомый коротышка. — Мы, кажется, сегодня трапезничали вместе?

— Обедали!

— Всегда красивое слово слаще. Ну, пусть по-вашему, обедали.

Он был уже не в рясе, а в темно-коричневом, довольно-таки неопрятного вида костюмчике.

— Я имел неосторожность услышать часть вашего разговора на лестнице, — продолжал он. — Насколько я понял, ваш приятель пошел к Шуману. Если вы хотите получить от этого мерзавца какую-то помощь, то я должен предостеречь.

— Не надо, — попросила Маруся. — Не надо меня ни от чего предостерегать. Лучше... Не могли ли бы вы мне сделать одолжение?

— Пожалуйста, любое.

— Пересядьте за другой столик.

— Конечно, конечно, но я хочу сказать, коли вы уже обратились к Шуману, я обязан, как честный человек, предупредить о грядущих последствиях сего поступка.

Маруся залпом добила стакан. Ей показалось, что луна белым огромным шаром вкатилась сквозь стекло прямо в глаза, и это было достаточно приятно.

— И не стыдно вам, отец Микола, к девушке клеитесь, как подросток! — сказала она, разыгрывая пьяную. — Сан, мне казалось, он обзывает. Разве не так?

— Сан! Естественно, так!.. Но Шуман!..

— Что вы заладили: Шуман, Шуман?.. Это тот, что ли, дылда здоровый, что за нашим столом сидел? Симпатичный мужик, только он какой-то немножко дебильный.

— Я его ненавижу! — сказал отец Микола. — Ненавижу!

В окно смотреть надоело, и Маруся попыталась нацупать в густой толпе, переполняющей бар, троих «афганцев». Не нашла, невозможно было уследить ни за одним человеком, никто почти не сидел на месте со своим коктейлем, к тому же все время менялось освещение. Оно было в прямой связи с музыкой. Чем нежнее мелодия, тем больше накатывал мрак. Маруся, сосредоточившись на бармене, выбралась из кресла и заказала еще одну порцию. Только миг она поколебалась: «Не взять ли чего-нибудь холодного, молочного?»

Бармен в своем углублении (стойка вдавалась округлой темной нишей в стену) двигался, как в замедленном кадре. Белыми волнами поднимались и опускались его руки. Пригубив новый ледяной стакан, Маруся хотела найти другое кресло за другим столиком, не нашла свободного и вернулась в свое.

— Шуман — это исчадь!.. Это не человек!.. Это даже не Божья тварь!.. — продолжал отец Микола. Его невозможно было унять, и Маруся смирилась. В сущности, ей было все равно, что будет: музыка, проповедь, лекция или злобная исповедь. А святому отцу требовался слушатель. — Здесь, в святых местах... Здесь, в северной колыбели христианского слова, разгуливает и творит свои злодеяния такой... Такой!.. Здесь погибали монахи. Здесь рушились монастыри, пылали приходы и осквернялись могилки... Думаете, кончилось? Нет, не кончилось. Пока Шуман ходит здесь, всегда остается возможность возврата. Я вам говорю — будут, будут снова монахов казнить на Большом Соловецком. Точно!..

Он даже не переводил дыхания. Он не требовал каких-то ответов, и можно было его слушать, вовсе не перебивая. Но Маруся все-таки один раз спросила:

— Вам-то лично он что сделал, святой отец? Вы-то лично за что его так невзлюбили?

От подобного вопроса Микола даже на миг онемел. Он выплеснул на Марусю бурный, полный ярких эпитетов рассказ о борьбе дьявола в человеческом обличье с простым служителем культа, скромным и богобоязливым. Скромный служитель культа, провернув какую-то не очень законную коммерческую операцию, изготовил полулегально огромный тираж цветных богословских пособий, а Шуман уничтожил слово Божье.

— Ладно бы, сожгли — это благородно, — быстрым-быстрым шепотом рассказывал батюшка. — В море бросили. Ладно бы, в штить, можно было б сетью попробовать, просушили бы. Слово Божье, оно и с морской солью будет слово Божье. Но ведь весь самосвал — с обрыва, в четыре балла, в Белое море! Все пропало. К иллюминаторам картинки приклеиваются снаружи!..

— Да, я видела, — соврала Маруся, она очень хорошо представила себе красиво напечатанного святого, заглядывающего снаружи в каюту сквозь зеленое толстое стекло. — Очень неприятная история получилась.

Сцѣпив вдруг челюсти, религиозный фанатик сказал совершенно уже другим голосом:

— Признаюсь тебе, сестра: хочу убить его. И убью.

— Шумана?

— Его! Черный дым в человеческой оболочке. Сие, мне видится, вовсе не грех. Грех — человека умертвить, но умертвить воплощение зла — это чудо и цель.

— А как вы отличаете?

— Что от чего, сестра, я должен отличать?

— Проявление зла в человеке от обычного проявления злого человека.

— А ведь девушка права, — раздался рядом еще один знакомый голос, и в свободное кресло опустился давешний старичок. — Разрешите к вам присоединиться, молодые люди?

— Если на то есть позволение Господне, то можно! — сказал Микола.

«Нет, он не зек, — разглядывая желтое лицо старика, выплывающее из полутьмы, его крупные морщины, его изогнутые синеватые губы, блестящие глаза, решила Маруся. — Конечно же, палач. Едет на место преступления, тянет его туда... Нужно будет Олесю сказать. Ясно же, не его с лестницы спихивали. Он сам спихивал».

Николай Алексеевич, будто прочитав мысли Маруси, старательно, каждым своим следующим словом подтверждал их верность. Он совершенно заглушил отца Миколу. Тот сделался сразу каким-то несчастным и обмяк. В руке старика был полный стакан, и стакан этот тяжело двигался над столом, в такт словам описывая петли.

— Большая Секирная лестница идет углом вниз, — говорил он. — Я, представьте себе, все это видел своими глазами. — Он был, конечно, пьян, иначе откуда бы взялся подобному величию в голосе, этой уверенности в собственной непогрешимости? — Нельзя убивать. Я сам убивал, и меня убивали, я знаю. Это может быть очень приятно, но все равно нельзя.

Ночное море опять разлеглось зыбкою пустыней, черным бескрайним песком, оно представилось Марусе, как огромное блюдо из черного глянцевого стекла, блюдо, на которое рука исполнина поставила их маленький белый кораблик.

«Какой все-таки дурак, — лениво определила для себя Маруся. — Оба дураки какие-то!..»

## 26

С Олесем Маруся встретилась только за ужином. Олесь был весел и записывал все время что-то в свой блокнот.

— Ну, как тебе понравился Шуман? — спросила Маруся, красиво обрабатывая кровавый бифштекс серебряным острым ножичком.

— А ты откуда знаешь, как его зовут? — удивился Олесь. — Псих он! Не интересуют его никакие мерзкие кровавые преступления, совершенно не интересуют, понимаешь!

Олесь говорил с набитым ртом, размахивая левой рукой с красивой вилкой, а правой, не глядя, записывал что-то в свой блокнот.

— Говорит, вернемся в Архангельск, милиция трупы подсчитает и, если окажутся лишние, обязательно заведет уголовное дело. А ограблением грузина вряд ли и милиция заинтересуется, если только возьмут кацо в каталажку и немножко побьют. Он, понимаешь, переживает за разгул религиозного фанатизма. Нет, честное слово, он урод, хотя я про него уже все написал. Его застрелит какой-нибудь религиозный фанатик.

— А ты откуда знаешь? — на этот раз удивилась уже Маруся.

— А вот, слушай. — Олесь запил бифштекс чаем и закрыл блокнот. — Я нашел каюту, в которой эти ребята живут.

— Какие ребята?

— Ну, «афганцы», все трое. Где они труп прячут, я, конечно, еще не знаю.

Полужинав, они вместе спустились в четвертый класс, нужная каюта находилась в конце коридора, всего через четыре двери после их собственной. Но прежде, чем заглянуть туда, Олесь затащил Марусю в свою каюту, и они потратили минут сорок на любовь.

— Все это ряд чудовищных совпадений, — говорил Олесь перед дверью в каюту «афганцев». — Я думаю, кража не имеет никакого отношения к трупу и вообще все никак не связано. Вот, смотри, спят. — Действительно, дверь была не заперта, и можно было войти и посмотреть на двух молодых парней, крепко спящих на своих койках. — Как убитые дрыхнут! Но эти-то живые, видишь, ноздри шевелятся.

— Меня интересует, милый, во-первых, почему их двое, а не трое? Где третий? А во-вторых, странно они спят. — Маруся, тихо ступая, подошла к ближайшему из парней и двумя пальчиками, своими красивыми, наманикюренными ноготками приподняла его рукав. — Вот, пожалуйста, взгляни, почему они спят.

Отчетливые на нездоровой рыхлой коже, открылись рядом красных опухших точек следы уколов.

«Значит, все-таки наркотики, — думал Олесь, поднимаясь по проклятой лестнице вслед за Марусей. — В гробу все-таки наркотики, а где же тогда труп?»

Бар теперь был битком набит, но оказалось, что старичок Николай Алексеевич забронировал для них два кресла у самого окна. Громко играла музыка, и говорить было трудно.

— Ну, и где этот псих религиозный? — спросила у старичка Маруся, оставившая Николая Алексеевича с сумасшедшим Миколой. — Где он, спрашиваю? — пытаюсь перекричать музыку, повторила она. Но Николай Алексеевич ничего не услышал и только покивал в ответ. Старичок Марусе очень нравился: мягкий, обаятельный, кроткий до резкости в защите своей кротости, он по первому ее знаку ходил к стойке и без слова за свой счет принес крепкий коктейль. Олесь, правда, на коктейль покосился, но Николаю Алексеевичу все-таки улыбнулся вполне искренне. За огромным стеклянным окном скапливалась, выгибая море своей тяжестью, северная лунная ночь. Казалось, она сместила упругим своим воздухом стекло и дышит прямо в лицо. Олесь смотрел в никуда, в черное шевеление, он весь был там, в пустоте вселенной. Тогда как его тело, постепенно наполняясь алкоголем, тихо бодрствовало в огромном удобном кресле, дух многократно умирал в невидимом море, а рука без коррекции глаз криво вела по странице витиеватую линию стиха. Строка наползала на строку, взбирались, буква за буквой, вверх и вдруг от удара музыки по пальцам обрушивались вниз, к бумажному обрезу. Маруся в пику Олесю разглядывала толпу. Густо лежали тенями на стенах переплетения рук. В яме бара летали белые, словно одетые в перчатки, чуткие руки, создающие из пустых стаканов полные. Двигались губы людей и губы дикторов в двух укрепленных высоко цветных телевизорах, и ни слова, ни звука за звуками музыки. В подвижном рисунке глаза Маруси нашли желаемое сочетание: угол стола, уголок белой салфетки, лицо над перекошенным воротом, сорванный пятерней галстук, немного ниже початый стакан, и по полу между ног катится маленький луч еще не включенного цветомузыкального блока, лавирует, оранжевый и зеленый, между ботинок и туфель, пытающихся танцевать.

Толкнуло легко в сердце. Она добила двумя глотками свой крепкий коктейль, установила пустой бокал на столе так, чтобы не смахнули, слева от блокнота, в котором суетливо чертило строки перо поэта. И, пробившись танцевальным движением между двух ритмов сменной пластинки, Маруся оказалась подле «афганца». Парень был невероятно пьян, но выглядел куда бодрее своих приятелей, лежавших неподвижно в каюте, ипил он, понятно, в одиночестве, хоть и среди толпы.

— А ты не наркоман! — ухватив его рукой за подбородок, заглядывая в слезящиеся от усталости глаза, зло сказала Маруся. — Ты у нас алкаш! — Она присела на ручку кресла. — Расскажи мне, мальчик, как все это у вас устроено?

— Что? Чего устроено?

— Я спросить тебя хотела, ну, несколько вопросов... Во-первых, что вы в гробу прячете?

«Афганец» совсем не испугался, а глаза его чуть протрезвели и, не переставая слезиться, посмотрели на Марусю уже с любопытством.

— Нет, — сказал он хрипло. — Здесь была только его воля, никто нас не осудит. — Он еще прихлебывал из бутылки, но уже без упоения. — Ты не понимаешь...

— А ты расскажи, — поддержала его настроение Маруся.

— Тебе не понять... Мы вчетвером вместе перед боем поклялись, что войдем так же вчетвером на пароход... Пойми, войдем все вчетвером или умрем все вчетвером. Его в том бою убили... Но он вошел на пароход, хоть и мертвый, вошел... — Парень невыносимо длинно икнул. — А гроб — это... — Он махнул рукой. — Без него, в общем!..

«Значит, в гробу все-таки наркотики», — подумала Маруся и спросила:

— А зачем вы грузина обокрали?

— Мы обокрали? — Глаза парня округлились и покраснели от сдерживаемого бешенства. — Мы не крали ничего и никогда! Никогда и ничего!.. — Он поднялся с кресла и, размахивая бутылкой, сделал несколько шагов, после чего со звоном перевалился через стойку бара и плюхнулся по другую ее сторону.

Музыка оборвалась. Усиленный динамиками, загредел противный голос капитана-экскурсовода:

— ВНИМАНИЮ ОТДЫХАЮЩИХ! ФИЛИАЛ МУРМАНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ НА НАШЕМ КОРАБЛЕ, ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА ПОД РУКОВОДСТВОМ НАРОДНОГО АРТИСТА ГРИГОРИЯ ВОЛЧЕКА ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА

КОНЦЕРТ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН. ПОСЛЕ КОНЦЕРТА УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА ВСЕМ РАЗОЙТИСЬ ПО КАЮТАМ, НАМЕЧЕНО ПЛАНОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ — УЧЕБНЫЙ ПОЖАР.

В баре произошло сильное движение, но музыки больше не было, а бармен поставил на стойку табличку с красной надписью «Перерыв».



На лестнице, поджидая Марусю, Олесь закурил. Она последней вышла из бара. Ей так и не удалось увидеть, как парня вытаскивают из-под стойки. Она прикурила от сигареты поэта, зло стряхнула пепел и сказала:

— Тебе не кажется, Олесик... — Олесиком она называла своего любимого только в состоянии сильнейшего раздражения. — Тебе не кажется, что вокруг очень уж много разношерстных событий? Все они идут вразнобой, и далеко не все имеют объяснения. Все они какие-то, — она пощелкала задумчиво пальцами, — бесцельные! Все они — какая-то морская дичь... — Пристально рассмотрев свою руку, она вытащила из-под ногтя чужой черный волос. — Пойдешь на концерт?

— Почему бы нет?

— Вроде за бороду его не рвала, а волосы под ногтями! — Маруся, осторожно подцепив кончиками красивых ногтей, положила волосок себе на ладонь. — Бедный изуродованный мальчик.

— Тобой изуродованный? — спросил Олесь.

— Дурак, он войной изуродован. А я его пожалела, я его выслушала. Он мне душу раскрыл.

— И что в душе?

— В душе пустой гроб и труп, который ввели на судно, выдав за пьяного. Но это не преступление, это без злого умысла. Они все это устроили, потому что поклялись вчетвером взойти... Ну, — она сдула волосок с ладони. — Соответственно клятве и вошли.

— Было бы сложнее, если б они поклялись взойти трезвыми, — сказал Олесь. — А думаешь, приличный концерт?

— Думаю, мы уйдем, если нам не понравится. Все так скучно, все так бесцельно... А девочки в русском стиле танец скелетов под знаменами изображают. А насчет того, что они контрабандисты, давай плюнем... Приятные мальчишки, несчастные. Два наркомана и один алкоголик. Давай их пожалеем, а?

Уже спускаясь по ступенькам, Олесь сказал:

— Пожалеем?.. Может быть, я их и пожалею, готов согласиться, жалость очень качественное чувство, здесь, возможно, ты и права. Но цель цели — рознь. — Он резко обернулся, и Маруся увидела сверкающие возбужденные глаза поэта. — Может быть, цель бытия — определение сознания! Может быть, все это лишь для того происходит, чтобы я проникся и написал поэму!

— Хорошую? — голосом идиотки спросила Маруся.

— Самую лучшую. Гениальную. Все только для этого: все события, все несоответствия, все нагромождения. Все ради моей поэмы. Как тебе такая цель?

— Нравится! Ты знаешь, даже очень! — Маруся облизала губы, ей опять захотелось заgrimироваться. Захотелось выглядеть на минуточку поярче. «Вероятно, для поэмы», — подумала она.

В небольшом зеркальном зальчике музыка жила своею закрытой жизнью, снаружи ее почти не было слышно, но уже у дверей ощущение, что там, внутри, она отражается сама от себя и от всех стен. Воздух внутри залы-комнаты был какой-то тесный, вероятно, в результате дыхания полутысячи ртов и носов. Музыкальные звуки плавали, врезались друг в друга, втыкались звенящими шпагами в зеркала, они входили в уши, вертелись на месте, как запутывающийся клубок.

Не пропускаемые дальше, Олесь и Маруся застряли в дверях, упругая человеческая масса пружинила и отталкивала назад, на проклятую железную лестницу, на ковровую дорожку. На маленькой площадке в том конце залы-комнаты стояли черным частоколом худенькие прямые девушки в костюмах, разрисованных под скелеты. Перед ними, размахивая тощими, ненормально длинными руками, кружился человек в черном трико, кружился и орал что-то, для публики совершенно за

музыкой недоступное. Наконец он замер, выпрямился, наградил публику коротеньким поклоном. Он ткнул пальцем в лоб ближайшей девушки, прямо в наклеенную на кожу алую звезду, все-таки накрыв своим голосом музыку, сообщил:

— Господа! — Ноги его сделали па, похожее на какой-то тройной реверанс. — Господа, не стоит серьезно относиться, сегодня наша группа... Сегодня наш ансамбль... Ну, в общем, господа, это только прикидка. Собственно, подготовлена целая концертная программа. — У него были глаза больного шизофренией, полчаса назад удравшего из больницы и прицеливающегося ограбить газетный киоск. — Программа, посвященная памяти жертв соловецких лагерей смерти. Кто-то, может быть, не в курсе дела, но должен сообщить, там погибли миллионы. — Он закатил на секундочку от удовольствия глаза. — Миллионы! Миллионы невинных!

— Знаем... Знаем мы... Грамотные... Слыхали, — зашумели зрительские голоса. — Что мы, в школу, что ли, не ходили?.. Ясное дело, невинным — память...

— Это своего рода эксперимент, — продолжал сумасшедший балетмейстер, опять приседая в реверансе. — Это прикидка. Основной концерт будет дан завтра на самом месте казни, на Большом Соловецком острове!..

— Ну, Волчек, — шепнула горячими губами Маруся в ухо поэта, — ну, совсем такой же... Ну, совершенно как ты! Он тоже вдохновения жаждет! — Ей очень хотелось уязвить, уколоть каждым следующим словом. — Слушай, Олесик, а может, это для него все устроено в природе, чтоб он хорошо сплясал? Для него, а не для тебя, понимаешь?

— Для него, — согласился Олесь, даже не профикировав смысла фразы. Девушки-скелеты заскользили по сцене, отражаясь во всех зеркалах и глазах, от этого у поэта сразу закружилась голова. — Кайф! — он поймал руку Маруси и, не отрывая глаз от сцены, притянул к губам, жадно поцеловал. — Я тащусь, маэстро!

— По-моему, противенько! — Маруся отняла свою руку и помассировала пальцами багровое пятно на запястье. — Пойдем?

Она немного удивилась самой себе, удивилась тому, что не испытала на сей раз ни злости, ни раздражения. Олесь все же вошел внутрь, в зеркальную залу-комнату, и двери закрыли, а она осталась стоять снаружи. Осталась, не ушла и не разозлилась даже. Сквозь закрытую дверь приглушенно доходила музыка, печальная и ритмичная, стоны девушек-скелетов, которые с натяжкой можно было бы назвать горловым пением, и всплески многих ладоней.

— Варвары! — пристраиваясь рядом с Марусей у зеленой металлической стеночки, посетовал устало отец Микола. Откуда он появился, из зала или спустился по лестнице, она не поняла. — Если есть что-то большое, если есть что-то святое, обязательно им надо изуродовать, преуменьшить, обсмеять своими грязными ртами, не могут не испохабить!.. — И вдруг Микола спросил, наклонившись к Марусе так, что можно было ощутить запах из его разинутого маленького рта и разглядеть гнилые черно-коричневые мелкие зубы: — А вы не видели Шумана?.. Не могу мерзавца разыскать.

— За ужином его не было. И вас не было... — сказала Маруся. — А вы его не ищите, если он вам противен. Или он вам уже по делу нужен?

— Как сквозь землю провалился, — сказал Микола. — Как сквозь палубу! Нужен по делу. Я к нему привык, и, если долго на глаза не попадается, я себя неважно чувствую. Ведь неизвестно, что он там делает... — Маленькие ручки святого отца сдавились в маленькие темные кулачки. — Мне его очень!.. Очень надо!

За закрытой дверью в зале снова раздались аплодисменты, на этот раз подкрепленные мужскими голосами.

— Как вы считаете, скоро они? — Маруся искала глазами настенные часы. Нужно было уйти, но почему-то хотелось дожидаться конца.

— Стриптизерки! — сказал отец Микола и плюнул на ковер. — Скоро! Скелеты с себя снимут, задницу покажут, псалом пропоют, в колокол ударят, и — финал!

— А вы что, видели? — удивилась Маруся.

— Консультировал.

— Вы консультировали?

— Не духом единым! — По глазам было видно, что он немножко смутился. — Иногда приходится подрабатывать... Кроме того, что смог, то исправил.

Когда действительно раздался звук колокола, Маруся не удержалась, шагнула к

двери и приложилась глазом к тоненькой щели. Но за движением мужских затылков так и не смогла увидеть задницы стриптизерок.



«Казань» все же была огромна и тяжела. Пока царил на Белом море штиль, ее палубы ничем не отличались по своей устойчивости от бетонного пирса Архангельска, но когда пошла какая-то волна, под железом этих палуб отчетливее загудели могучие дизели и все эти узкие и широкие плоскости, облицованные где деревянной плиткой, где ковром, где линолеумом, потеряли свою строгую горизонтальность и незыблемость. Образовывались под ногами какие-то наклоны и углы, где-то можно было быстро бежать, а где-то приходилось подниматься в гору.

Волна накрыла иллюминатор каюты так, что можно было подумать, они находятся глубоко под водой. Виолетта, размахивая все теми же широкими рукавами и создавая ветер, объявила, что Тамаре Васильевне лучше, но сегодняшнюю ночь она все-таки проведет в медицинском отсеке.

— А завтрашнюю? — проглатывая горькую слюну, спросила Маруся.

— А завтрашнюю, вероятно, дома. То бишь здесь! Я говорю — лучше ей. Ничего страшного... Напрасно я всех перепугала.

«Нужно было к капитану-директору на кабанчика идти. Ну и что с того, что он вор, кабанчик-то настоящий. Ну и что с того, что именины липовые, можно все равно выпить, закусить и повеселиться, — размышлял Олесь, улегшись на свою полку, зажмурившись и настраиваясь на сон. — Правда, при такой качке лишнего лучше не пить. Небезопасно для рубашки и брюк!»

Что-то с неприятным звуком покатилося по полу каюты. Олесь открыл один глаз и посмотрел. Он увидел, как Виолетта, почему-то очень симпатичная в желтом искусственном свете, прикрываясь желтой занавесочкой на своей койке, осторожно расстегивает одну за другой булавки и постепенно снимает свой наряд, оказывается, состоящий из многих отдельных частей. Маруся спала на спине так крепко, что и ресницы не дрожат, устала. Раздевшись, Виолетта аккуратно все сложила и накинула на тело ночную голубую сорочку, взяла книгу и уютно легла, подставляя почти молодое лицо под свет ночничка.

— Коньяка хотите? — надеясь ее смутить, спросил Олесь. Из его памяти никак не желали удаляться скелетные стриптизерки.

— Да что ты! На ночь коньяк?! — нисколько не смутившись, отозвалась Виолетта. — Утром, если предложишь, с удовольствием перед завтраком... — Она с шорохом перекинула страничку книги. — Спасибо за заботу!

Отвернувшись к стенке, натянув на голову одеяло, прижавшись лицом к этой вибрирующей теплой переборке, Олесь попытался заснуть, но заснуть не сумел, вибрация впитывалась кожей, и не вылитый в любовь огонь мучил поэта. Он встал, решительно растряс Марусю и поволок за собою в коридор. Виолетта, приподняв занавесочку, посмотрела вслед закрывающейся двери, и кривая улыбочка изуродовала ее губы.

Душевая оказалась занята. Маруся судорожно кулаком терла глаза и тихонечко ругалась. Внутри, в кабинке, кто-то громко причмокивал, там лилась вода, и звонкие хлопки, вероятно, ладоней по голому телу напоминали давешние эротические аплодисменты.

— Ну? — спросила Маруся. — И как мы?

Сжав руку в судорожный кулак, Олесь ударил в дверь. Замок уже починили, и дверь только пружинила при ударах. Ждать пришлось еще несколько минут, после чего вышел голый по пояс кавказец.

— Чего стучишь? Не видишь, один! Один я купаюсь! Одна говорит, не пойду с тобой купаться, труп боюсь. Другая говорит, не пойду с тобой купаться, труп боюсь! Я им говорю, послушай, какой труп, какой мертвец, глупости... Его там никогда и не было, а она, дура, все равно — боюсь! — Он жадно осмотрел с ног до головы Марусю и прибавил, уже исчезая за дверью своего номера: — Мало, что деньги украли, так еще и труп боюсь. Что он, труп, укусит тебя?

Заперев дверь изнутри (действительно поставили новый замок, хороший, такой простым нажимом не вышибешь), Олесь, совершенно уже потерявший всякий жар и желание, опустился на деревянную скамеечку и отупело уставился в стену. Он положил руки на колени, он уже пожалел о том, что сюда пришел, он хотел спать.

Маруся же, напротив, только-только воспламенялась, она, раздеваясь, обошла мелким шагом обе смежные комнатки, осмотрела пристально. В нескольких местах зачем-то пощупала подрагивающие кафельные стены.

— Понять не могу, — сказала она бодрым голосом, избавляясь от белья и, не глядя, швыряя его в голову засыпающего поэта. — Зачем они старушку по башке стукнули, это ясно. Но зачем они сюда труп приволокли? Или они еще там, в Афганистане, поклялись на крови погибших товарищей помыться вчетвером на теплоходе посреди Белого моря по пути на Соловки? — Пол качнуло, босые ноги заскользили по мокрому, но Маруся легко удержала равновесие. — Не складывается что-то... ничего не складывается...

С трудом заставив себя подняться, поэт тоже разделся. Вглядываясь в женское нагое тело, рассматривая и оценивая его изгибы, повороты и впадины, как произведение искусства, он все же пытался возбудить себя, и в какой-то мере ему это удалось.

Маруся наладила воду и подставила под жесткие парящие струи сначала спину, потом грудь, потом опять спину. Она старалась не намочить волосы.

— Как ты думаешь, куда они теперь его спрятали?

— Кого? — Олесь попытался взять ее за мокрую руку.

— Труп, неужели не понятно?

— В гроб, наверное, положили!

— А ведь точно! Молодец! Сообразительный мальчик!.. — Она подставила все-таки голову под душ, по лицу, повернутому к Олесю, потекла вода. — Ты помнишь, что объявили?

— Нет.

— Сейчас на корабле будет учебная пожарная тревога.

— И что нам это дает?

— А то! Если не попадаться на глаза команде, можно же заглянуть туда, в гроб, а? Как?

— Зачем?

— А тебе не хочется узнать, что в нем?

Она звонко била в ладоши и подпрыгивала на раскачивающемся кафельном полу. Она уже успела намылиться и ускользала под растопыренными ладонями поэта.

— Мы узнаем, кто в гробу! — громко декламировала она. — Мы узнаем, что в гробу! — повторяла она нараспев. — Мы узнаем, зачем гроб.

«Лечить тебя надо», — подумал Олесь, все-таки притягивая к себе женское тело и затыкая орущие губы своими губами.



Ровно в двадцать два часа репродукторы по всему теплоходу издали хрип, и после паузы, наполненной далеким дыханием, вежливый голос капитана-директора, вероятно, он уже съел своего поросеночка и хорошо выпил, произнес:

— Внимание! Господа и дамы! Прошу в течение ближайшего получаса во избежание травм и нервных расстройств оставаться в своих каютах. Те, кто в баре сидит, пусть не выходят. Ну да ладно, — добавил он, будто сам себе, будто что-то отмечая параллельно в блокноте. — Бар мы заперли. Господа и дамы, на судне проводится учебная пожарная тревога. Я вас очень прошу, погодите ходить в туалет, не высовывайтесь!

— Виолетта Григорьевна, вы спите? — позвала в темноте Маруся, поднимаясь со своей полки. — Вы спите? — Только убедившись, что соседка спит, уткнувшись лицом в раскрытую книгу, Маруся выскользнула вслед за поэтом в коридор.

К часу учебной пожарной тревоги в коридоре выключили большую часть ламп, и полутемное пространство показалось наполненным какой-то шевелящейся зеленью. Пол все так же покачивался, и быстро двигаться не получилось. Решимость моментально была утеряна.

— Куда? — шепотом спросила Маруся. — Как ты думаешь, где он может официально размещаться?

— Кто? — еще более тихим шепотом отозвался поэт.

— Да этот гроб с покойником.

— Гроб?

Чтобы скрыть судорожный смех, Маруся зажала себе рот ладонью.

— В общем, понятно. — Она, напрягая глаза, смотрела в зеленоватую полутьму коридора. — Здесь рядом холодильный трюм, в конце следующего коридора. Иначе зачем героям Афганистана селиться в четвертом классе.

— Зачем?

— К приятелю поближе! — Маруся потянула поэта за собой. — Пошли, пошли...

За дверью кавказца довольно громко хихикали неприличными голосами девицы, за дверью «афганцев» царил тишина. Олесь все-таки приложил ухо к полировке и, к своему удовольствию, услышал пьяный храп.

— Тебе не страшно?

— Нет, просто спать хочется. Где твоя дверь?

— Сюда.

Они прошли до конца коридора, до надписи «Служебный проход», поднялись по лесенке и остановились перед белой металлической дверью. Дверь оказалась заперта, и нажатие на длинную ручку ничего не дало.

— Ну, и как теперь?

— погоди! — Маруся вынула из волос шпильку, выплюнула специально взятую жевательную резинку, быстрым движением замазала скважину жвачкой и воткнула в нее шпильку. С силой крутанула. Замок негромко, но отчетливо щелкнул. — Прошу вас! — растворяя дверь и делая шикарный реверанс, сказала Маруся и пропустила поэта вперед.

Дальше была полная темнота. Слабый свет лампочки над лесенкой совершенно не разрушал мрака.

— А я не знаю, как здесь без фонаря!..

Отодвинув поэта, Маруся сделала несколько шагов, пошарила какое-то время по стене, нашла выключатель, как и предполагается, он был справа на высоте среднего человеческого роста. Маруся была в упоении, она настолько вошла в роль, что делала все не только с неестественной уверенностью, а и точно, и быстро. Ни единой оплошности. Вспыхнули лампы, все сразу — огромные, белые, открылся узкий длинный проход с металлическими крашеными стенами.

— Пошли! — сказала она и опять подтолкнула слегка замешкавшегося поэта. — Пошли, мы уже почти у цели.

— У какой цели?

— Наша цель, если я правильно поняла, материал для поэмы. Мне кажется, мы уже в ее сердце.

— В чьем сердце?

— В сердце поэмы!

— Дура!

— Не хочешь, не ходи. Останешься без вдохновенного стиха.

Впуклые белые двери холодильных камер немного напугали и отрезвили Марусю. Она, до того передвигавшаяся веселым порывистым шагом, пошла между ними, расположенными с двух сторон на расстоянии трех метров друг от друга, осторожно, почти на цыпочках. Двигатели здесь ощущались сильнее, иногда вибрация просто подбрасывала ногу, сбивая с шага.

— Это где-то здесь! — сказала Маруся и снова облизала губы. — Будем открывать их все по очереди!

— Чего ты все время облизываешься? — спросил Олесь, потянув за ручку ближайшую дверь.

— Хочу быть красивой.

Холодильник распахнулся легко, но с неожиданным противным скрипом, и тут же по ушам ударила сирена. В холодильнике лежали аккуратной кучей заиндевевые окорока. Сирена нарастала. Олесь захлопнул дверцу.

Едкий дым учебного пожара, разнесенный вентиляцией по всем палубам, коснулся чутких ноздрей поэта. Сирена не унималась, но откуда-то из невидимого репродуктора вдобавок к ней слышались лающие слова команд.

Олесь распахнул следующую белую дверь. Не сразу оценив правильно то, что увидел, он подался назад и чуть не упал. В холодильной камере сидел, нахохлившись, живой человек. Он замерз, и его била сильная дрожь. Он смотрел на поэта маленькими глазками и подмаргивал.

— ВНИМАНИЕ! ОЧАГ ПОЖАРА НА ЧЕТВЕРТОЙ ПАЛУБЕ В РАЙОНЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК! — лаял невидимый динамик. — ВНИМАНИЕ! ПОЖАРНЫМ СРОЧНО СПУСТИТЬСЯ НА ЧЕТВЕРТУЮ ПАЛУБУ!

— А вы чего тут? — спросил Олесь. — Интересно устроились.

Давясь от смеха, Маруся опять чуть не сделала реверанс, приседая на наклоняющемся вибрирующем полу.

— Микола! — сказала она. — Святой отец, позвольте вас спросить? .

Религиозный фанатик угрюмо взглянул на нее из недр холодильной камеры, подморгнул и сделал нервный жест заиндевелой рукою в тонкой кожаной перчатке, дескать, закройте дверцу.

— Какими судьбами? — настаивала Маруся.

— Я его жду. Шумана! — недовольным голосом объяснил Микола. — Он, по моим расчетам, обязательно должен воспользоваться учебной тревогой и заглянуть в гроб.

— Значит, гроб здесь, мы его со второй попытки угадали?!

— Был здесь!

— А где же он теперь?

В коридоре за спиной загрохотали шаги. Микола снова дернул рукою в перчатке, притом скривив просительную жалкую гримасу, и поэт захлопнул холодильник.

— Нужно спрятаться! — сказал он.

— А что они нам могут сделать? — возразила Маруся.

Оба они остановились, повернулись на месте и сразу увидели, что в коридоре нет никаких матросов, желающих потушить учебный пожар и разматывающих пожарную кистку, в коридоре между выпуклых дверей появился еще один человек, тот человек, с которым Олесь провел почти час за беспочвенным разговором, попивая минеральную воду. Посмотрев на парочку и нисколько не заинтересовавшись и не смутившись, полковник КГБ Шуман стал один за другим распахивать холодильники. Дымом запахло сильнее. Когда полковник потянул за ручку того холодильника, где сидел отец Микола, Маруся хотела крикнуть, предупредить, но не успела.

Дверца распахнулась. В ярком свете ламп мелькнуло что-то короткое, металлическое. Шуман неприятным голосом вскрикнул и повалился на пол. По разбитой его голове стекала кровь. Отомстив таким странным образом за целый самосвал утопленной церковной литературы, святой отец перескочил через распростершееся на полу тело, подпернул побелевшие от инея костюмные брюки и моментально исчез в проходе.

Дым плыл волнами между поблескивающих металлических дверей.

— Ну, и где мы теперь будем его искать? Как мы теперь определим, в какую камеру этот псих гроб переставил?

— А что-то хорошо горит! — Не отвечая поэту, Маруся потянула носом. — Как ты думаешь, могли эти психи в учебных целях теплоход подпалить?

Полковник, хватаясь за окровавленную голову, сел в дыму, глаза его вылезали из орбит, вероятно, от боли, он озирался. Явно, он не понимал, где находится и что произошло. Налицо был классический случай амнезии.

— Которое теперь число? — склоняясь к нему, спросил Олесь.

— Четырнадцатое сентября.

— Правильно. А год какой?

— Восемьдесятый.

— А во время Олимпиады много народу арестовали?

Шуман посмотрел на него как-то вдруг иначе, в неподвижных, больших глазах будто крутились цифры.

— Нет, — сказал он. — Другой год. Совсем другой. Никого не арестовали, ни одного человека не тронули. Не было указаний!

Потеряв всякий интерес к полковнику, на глазах возвращающемуся к тяжелой реальности из своего героического прошлого, Олесь и Маруся кинулись открывать подряд все холодильники. Им повезло, нужную камеру они обнаружили за пять минут до того, как появились в коридорчике матросы с брандспойтами и огнетушителями.

Олесь потянул за ручку. Скрип. Екнуло сердце. В черном проеме холодильной камеры стоял оцинкованный гроб. Последнее убежище бойца-интернационалиста будто светилось. Дым вокруг густел. Полковник громко заматерился, перекрикивая

репродуктор, но подняться на ноги еще не мог. Поэт ощутил приступ вдохновения. Теперь он дышал ритмично, рывками отплевывая горький дым, он дышал ртом, и сердце его билось радостно.

— Ну! — Маруся подтолкнула поэта.

Тот вскочил внутрь холодильника и, ни секунды не поколебавшись, ухватил пальцами за край, приподнял никак не закрепленную крышку гроба. Маруся даже испугалась, поэт тут же отшатнулся назад, уронил крышку. На его лице можно было прочитать горькое разочарование.

— Что там? — спросила Маруся. — Что? Скажи, а?

Поэт пожал недовольно плечами, отряхнул ладонь о ладонь и спрыгнул на пол.

— Ерунда собачья, — сказал он. — Обыкновенный покойник.

— Какой покойник?

— Как положено, в пилотке со звездочкой. Вся грудь в медалях. Замороженный ветеран, и больше ничего. Обидно, знаешь. Ищешь, ищешь чего-то душещипательного, а находишь замороженного ветерана.

80

Только уже у себя в каюте, раздевшись и забравшись на нижнюю койку, Олесь понял, что допустил ошибку. Можно было успеть приподнять гимнастерку на покойнике и получше рассмотреть шрам, о котором говорила тетка. Виолетта похрапывала во сне, она так и спала, зарывшись головой в раскрытую книгу. Маруся, составяя с нею дуэт, тоже похрапывала, получалось что-то вроде двухголосия без слов. Когда он наконец заснул, то сразу увидел злополучный шрам, застрял на нем и рассматривал во всех подробностях до утра. Утром попытался припомнить и понял, что исследование было напрасно.

Проснулся он рано, за час, наверное, до завтрака. Виолетты не было, только лежала на подушке все так же открытая книга. Маруся сопела лицом вниз. За толстым зеленым стеклом, распространяясь до горизонта, лежала гладкая и неподвижная морская вода. Олесь попробовал припомнить шрам, хоть приблизительно поставить диагноз труп, не припомнил, быстро оделся. Хотелось выйти на палубу, на холодный воздух, вычистить из головы ночной кошмар. Он разбудил Марусю, заставил ее, ничего не соображающую, но на все согласную, полусонную, тоже одеться и выгнать из каюты.

— Куда мы? — капризным голосом, все еще не в состоянии проснуться, воспротивилась Маруся.

— На воздух.

— Не хочу на воздух. Хочу спать.

— На воздухе проснешься.

— Не хочу просыпаться, спать в кайф.

— А что снится? — Переменив свое решение, Олесь увлекал Марусю по коридору уже в другом направлении.

— Мне приснилась золотая лодка! — сказала Маруся. — Золотая лодка с мертвецами. С теми, что умерли на соловецкой лестнице, с теми, что попадали... — Она вдруг посмотрела на поэта ясными глазами. — Они же святые? — Олесь только покивал. — А тебе что приснилось?

— Шрам!

Не заинтересовавшись сном поэта, Маруся довольно внятно пересказала свой собственный сон, они сидели в медицинском отсеке на низкой белой банкеточке, привинченной к полу, ожидая, когда их пропустят к госпитализированной соседке, и Марусин голос, набирая обаяние и силу, звучал все громче и громче.

— Представляешь, мне приснилось, что я мужчина, монах. Я пошел за дровами в лес. Иду обратно, несу на плечах вязанку хвороста и вдруг вижу: по небу плывет золотая лодка, а в лодке братья — другие монахи. Я смотрю на них и понимаю, что всех их только что убили на соловецкой лестнице и все они плывут теперь, как мученики святые, в рай. Я бросил вязанку и побежал туда, где казнь еще не закончилась. Они, понимаешь, одновременно уже по небу плывут и одновременно еще не умерли, катятся, привязанные к бревнам, по ступеням. Я в гору вбежал, кричу: «Меня, меня забыли!» Думал, меня тоже убьют, и тогда золотая лодка меня

примет. Кричу: «Убейте меня!» А мне один такой в кожаном плаще, звезда на лбу, отвечает: «Потерпи, парень, до следующего разу. У нас обед! Потом, потом, потерпи...» Я лег куда-то в сено и зарыдал!

Когда она наконец замолчала, подробно описав запах сена и солнечный луч, пробивающийся сквозь дырявую кровлю, и стоны умирающих монахов в отдалении, Олесь спросил:

— Ну, и как тебе понравилось ощущать себя мужчиной?

— А как тебе понравился шрам? — парировала Маруся. — Хватит сидеть. Действительно, пошли на палубу. На свежий воздух.

Они уже поднялись, чтобы уйти, но внутренняя дверь открылась и вежливая медсестра предложила войти. Тамара Васильевна сидела, неподвижная, на койке и смотрела в большой квадратный иллюминатор. Ноги ее были закутаны чем-то чистым и белым, рука, лежащая на колене, была тоже белой и совершенно неподвижной.

— А мы навесить вас вот зашли... Перед завтраком! — испытал неловкость, сказал Олесь. — Как вы себя чувствуете?

Оказалось, что чувствует себя Тамара Васильевна хорошо и, вероятно, скоро выберется из медицинского отсека. Она сказала, что все время смотрит в окно, вчера ночью были приличные волны, а сегодня она уже видела слеза по курсу несколько маленьких островов. Ее никто не перебивал. И еще она сказала, что очень рассчитывает выйти на Большом Соловецком. Она сказала, что там, на Большом Соловецком, строят военную базу и очень скоро, может быть, уже в этом году, вообще никаких туристов пускать не станут, закроют зону. Вот и нужно ей в последний раз выйти посмотреть на то место, где умер ее муж.

— И вообще... — сказала она, все также глядя на воду, а не на своих гостей. — Следует в последний раз посмотреть на места репрессий. Концерт, говорят, будет замечательный, говорят, архангельская филармония прямо на местах событий... На местах казней — пляски. Когда в жизни еще такое увидишь?

Что же касается нападения в душевой, то на корректные вопросы Олесь она ответила, что добавить к уже сказанному просто нечего!

На лестнице Олесь обнаружил, что не прихватил блокнота.

— Сходишь? — спросил он, Маруся кивнула. — Я тебя на палубе подожду.

Достаточно было растворить последнюю дверь, достаточно было, чтобы лица коснулись одновременно холодный воздух и спящее солнце, как Олесь позабыл обо всем. Если только золотая лодка из Марусинога сна сохранилась как ассоциация. Он шагнул вперед, еще шагнул по железной палубе, взялся за поручни. В голубом глубоком небе чертил белые инверсионные петли маленький реактивный самолет. Самолет почему-то увязался в восторженном сознании с золотой лодкой из сна, хотя вовсе на нее не был похож.

— Подышать перед завтраком вышли? Доброе утро!

Рядом, также держась за поручень, также подставляя лицо морскому колкому ветерку, стоял капитан-директор. Он вежливо улыбался.

— Перед завтраком!.. — сказал Олесь. — Вы извините, мы вчера не пришли к вам на именины. Как кабанчик получился? — Он заставил себя подмигнуть.

— Восхитительно получился! — сказал капитан-директор. — Зря не пришли, очень много потеряли. Вы, кстати, в какую смену завтракаете?

— Во вторую!

— А мы в первую!

— Глупо.

— Очень глупо. А не холодно без шапки?

— Нет, не холодно.

Самолет начертил седьмую петлю, его маленький серебряный фюзеляж был, как сверкающий рубец, как разрезающий ткань острый скальпель, как шрам из сна, вдруг изменивший своему багровому цвету. А минут через пятнадцать на горизонте возник черный бугорок острова, и самолет, будто испугавшись этого, изменил курс и почти моментально исчез за линией горизонта. Остров приковал внимание. Можно было разглядеть в массе деревьев, как черную щетку, можно было заметить сверкающие очень маленькие монастырские купола, они были похожи на капельки стекающей ртути.

— Красиво! — сказал Олесь и посмотрел на капитана-директора. Но никакого капитана-директора уже не было, он исчез, а на его месте стояла, держась за поручни, Маруся.

— Замечательно, — сказала она. — Природой любишься?

— Блокнот! — Олесь протянул руку.

— Нет никакого блокнота.

— Не принесла?

— Нет!

Он увидел, что под глазом у Маруси появился приличных размеров синяк, волосы растрепаны, а на левой щеке царапина, какую обычно оставляет острый женский ноготь.

— Что с тобой?

— Подралась! Разве не видно?

— Да уж заметно. А с кем, если не тайна?

— С Валентиной.

— Ну, и кто кого?

— Я ее хуже! — Руки Маруси сильнее вцепились в поручень, она вторично переживала приступ ярости. — Представляешь, врываюсь в собственную каюту... Правда, без стука. — Она дернула бровью. — И что же я вижу?! Валентина роется обеими руками в твоём, Олесик, плаще. Что успела вынуть, себе в сумочку уже положила.

— Ну, и ты ее за это взрела?

— Как смогла!

— И приятель ее сбежал. — Олесь пошарил глазами по палубе в поисках капитана-директора. — Слушай, я думаю, что Илико они и обчистили. Слушай, пойдем к капитану.

— Зачем?

— Ну, нужно, наверное, сделать какое-то официальное заявление. Нужно их как-то остановить, что ли.

Самолета в небе не было. Выростал на глазах, приближался остров, а в небе таяла белая инверсионная спираль.



В знакомой приемной молодой офицер быстрыми движениями щетки чистил повешенный на плечики большой китель. Олесь посмотрел на настенные круглые часы. До завтрака оставалось всего десять минут.

— Опять вы? — весело спросил офицер, не прекращая своей работы. — Опять капитана тревожить по пустякам?

— По пустякам! — кивнул Олесь.

— Ну, годится! Каждый пустяк важен, когда ты в открытом море! — Он показал щеткой в сторону двери. — Проходите. Петр Викторович велел мне вас пропускать.

Когда они вошли: первым — поэт, второй — его девушка, капитан корабля сидел в той же позе, что и в предыдущий раз. На нем была расстегнутая рубашка, брюки, на спинке кресла висел галстук. С трудом наклоняясь вперед, он опять никак не мог завязать шнурки на ботинках.

— Опять кого-нибудь гробанули? — добродушно спросил он и поднял голову, на его полноватом лице расплывалась улыбка. — Проходите, молодые люди, присаживайтесь. Вы опять очень кстати. Видите, — он показал сперва на свое открытое горло с подрагивающим кадыком, потом на галстук. — Ни к чему не способен.

— А офицер там у вас молоденький? — спросила Маруся. — Китель чистит!

— Китель-то он чистит, — вздохнул Петр Викторович. — Сволочь! Китель он по уставу чистит, а шнурки завязать больному человеку — это, видите ли, холуйство и нарушение прав человека.

— Ограбили, — сказал Олесь, опускаясь перед капитаном на корточки и завязывая ему шнурки. — То есть пытались ограбить...

— Они же? — спросил капитан и приостановил руку Маруси, слишком сильно затягивающую на нем галстук. — Я же вам говорю, кажется.

— Говорили! — не смог не согласиться Олесь. — Но, честно, я не поверил.

— Напрасно, напрасно не поверили. Известные, между прочим, в Архангельские люди, брат и сестра...

— Это вы тоже говорили! — Маруся поправила на капитане галстук и опустила воротничок.

— Известные, известные... Но что с ними здесь, в море, сделаешь? Придем домой, конечно, сдадим властям. Но, по-моему, это бесполезно. — Он встал и подставил руки так, чтобы поэту удобнее было подать китель. — По-моему, они оба тронутые, что брат, что сестра. Душевнобольные. — Он не без удовольствия со все той же улыбкой покрутил пальцем у виска. — Говорят, оба дети репрессированных. Говорят, на этом и свихнулись. Ведь, по сути, их и в краже по-человечески не обвинишь, тут ведь никакой наживы, только цирк, как с кабанчиком, цирк и клептомания.

— Клептомания? — почему-то удивилась Маруся.

— А что? Ну, скажите, что он у вас пытался украсть?

— Не он, а она!

— Ну, она что у вас пыталась украсть? — Улыбка стала еще добродушной. — Ну?

— Мьлю, — сконфуженно сказала Маруся, — зубную щетку... Блокнот взяла со стихами.

— Ну, вот! А какая ей выгода в вашем блокноте?

— В моем блокноте мои новые стихи! — сказал Олесь, распахивая дверь и пропуская капитана в приемную.

В приемной юный адъютант все так же чистил китель и посверкивал глазами. За квадратным большим окошком сияло гладкое море, острова с этой стороны видно не было. А тоненькие стрелки на круглых настенных часах указывали, что до завтрака осталось каких-то две минуты.



Тяжело, как огромный железный кит, развернувшись, «Казань» пришвартовалась к высокому металлическому причалу. Пошла небольшая волна, и закрепляющие тросы закрипели неприятно в своих пазах. Лишенное хода, судно вдруг оказалось совершенно беспомощно, и страшно было себе представить, что произойдет с ним в таком положении, например, баллах при пяти—семи.

Ветра не было, и вдруг он появился, как короткий нож, ударом в открытое лицо. Рефлекторное движение рук, поднимающих воротник, оказалось слишком медленно, налетел еще раз и выбил из глаз слезы. Несколько человек, стоящих на палубе теплохода, без желания и без горя плакали, глядя на монастырские тяжелые купола и простор острова. Олесю все здесь показалось абсолютно подлинным, настоящим — купола, деревья, хилые домики деревни, все настоящее, вне времени, вне пространства. Не настоящими здесь были только теплоход, он сам, стоящий на палубе, и горячая рука Маруси в его руке. Ненастоящим, пришлым из какого-то другого пространства, был и военный маленький бомбардировщик, опять возникший над морем, — сверкающая опасная точка, удерживаемая в прозрачном воздухе и в сознании постоянным гулом реактивного двигателя. Остров был отдельно, самолет и теплоход были вместе.

— Опять! — прошептала Маруся, зажмуриваясь против солнца, приоткрывая глаза и пытаясь увидеть за блеском купола точку самолета. — Опять он!

— Опять, — сказал Олесь. — Теперь он от нас уже никогда не отстанет.

— Почему?

— Потому что мы прибыли.

Спустили трап, и скопившаяся на верхней палубе толпа пассажиров моментально ссыпалась по нему вниз на железный морской перрон. Все разговоры были о ветре и о целебности холодного воздуха. Никто из туристов почему-то не испытывал беспокойства. На пирсе уже стояли несколько местных экскурсоводов, готовых к работе, в отличие от прибывших они привыкли к такой погоде и не кривили лиц под ножевыми ударами ветра.

Самолет медленно перемещался в небе. Туристы не смотрели на самолет, зато летчик, законсервированный в удобном кресле, не без любопытства разглядывал туристов. Он знал, что через секунду опущенные в воротники подбородки будут задраны вверх, а слезящиеся глаза наполнятся ужасом. Он не видел ни подбородков, ни глаз, ни носов, он видел лишь раскатившиеся по узкому прямоугольнику пирса разноцветные горошины. Он видел морское судно, похожее на белую дрожащую рыбу. Между ботинок летчика находился специальный нижний иллюминатор, и сквозь его круглое стеклышко он видел все, как карту. По точно такой же цветной

карте в кабинете баллистики отрабатывалось учебное бомбометание. Разница заключалась в том, что в кабинете баллистики на карту были нанесены разноцветные стрелочки, а сама она была черно-белой, здесь же вся карта была цветной, а стрелочки отсутствовали вовсе.

Ориентируясь по красной меняющейся цифре в левом углу специальных своих очков — цифра отмечала отсчет секунд, — он не без холодного удовольствия точно в запланированный момент перенес ногу в ботинке немножко вправо и вверх, перебросил четыре тумблера, нажал кнопку и надавил мягко педаль бомбометания.

Остров, казалось, мелко задрожал, завибрировал. Один из местных экскурсоводов привычно поскреб в затылке, запустив руку глубоко под широкую шапку. А Валентина, так же, как и экскурсовод, знакомая с местными шутками, воспользовалась всеобщим непониманием и ужасом для того, чтобы пройтись по ближайшим карманам. На этот раз ей достались кожаный кошелечек с тремя рублями, брелок с ключами от машины и небольшая пластмассовая расческа. Клептоманка была просто счастлива и благодарна этим регулярным военным учениям. Она показала поднятый большой палец капитану-директору, и тот в ответ задиристо подмигнул.

Из брюха военной машины выпрыгнуло несколько учебных бомб одна за другой, как маленькие железные огурцы. С воем железные, ничем не начиненные болванки полетели вниз в воду.

«Бомбят! — зажмуриваясь уже не от ветра, а от неожиданности, подумал поэт. — Не должны они здесь бомбить. Здесь военный аэродром. Не могут же они сами себя бомбить? Хотя что мы о них знаем? Что мы знаем о том, что они могут?»

Волны разбивались о пирс и опять достигали людей, обжигая мелкими ледяными брызгами их разгоряченные ужасом лица. Местные экскурсоводы, не скрывая кривых улыбок, ожидали, когда пройдет шок, чтобы приняться за объяснения и за свои одинаковые лекции.

На мостике «Казани» стоял настоящий капитан Казанец Петр Викторович. Ботинки на капитане опять не были завязаны, но этого никто не видел, зато спокойное строгое лицо капитана могло даже при мимолетном взгляде успокоить кого угодно. Маруся зажимала уши руками — вой все же был непереносимый. Концы ее шарфа так же, как и на пирсе в Архангельске, подметали мокрый металл. Она наклонялась то вперед, то назад, на этот раз не испытывая никакого придуманного восторга, ей хотелось только, чтобы это кончилось поскорее. Старичок Николай Алексеевич неожиданно для самого себя зажал уши и присел на корточки, будто маленький мальчик, пытаясь спрятать голову в коленях. Трое парней из Афганистана, успевшие уже вытащить на пирс гроб со своим четвертым товарищем, о чем-то без особых эмоций разговаривали, потирая руками в кожаных перчатках свои сильно отекавшие лица, им все это было просто и привычно. Ухо «афганца» учебную гранату от боевой отличало безошибочно.

В круглое окошечко между своих ботинок летчик видел, как разноцветные горошины после нажатия педали перестали раскатываться по пирсу и застряли каждая в своей маленькой лунке.

Бомба-болванка достигла наконец воды и, ухнув, проскочила вниз, под волну, вырвав из моря белый жутковатый фонтан.

По трапу спускался, зачем-то пританцовывая, руководитель ансамбля архангельской филармонии Волчек, а за ним следовали легкие, как перышки, даже в своих обширных светлых шубках девочки-акробатки, в руках они несли большие коробки, вероятно, с реквизитом. Ансамблю происходящее тоже не было в новинку.

«Будет! Будет концерт на месте казни, — отметил Олесь и вытащил свой блокнот. — Пляски скелетов на Секирной горе!..»

— Сволочи! — сказал кто-то из туристов дрожащим басом. — Это же надо так человека напугать...

— Тоже своего рода аттракцион! — парировал другой. — В Англии специально концлагеря строят, чтобы посетитель мог получить острое мазохистское наслаждение.

— Так это, наверно, очень дорого? — спросила какая-то женщина. — В валюте?

— Это у них дорого. У нас Советы, у нас бесплатно! Разрыв сердца, правда, получить можно, зато ни копейки не попросят за острое наслаждение...

«Учебное бомбометание... — подумала Маруся, помогая Николай Алексеевичу подняться на ноги. — Учебный пожар... Сколько же можно учиться! — Она была зла на себя, на дурацкий страх. — Все учимся, учимся, учимся... Дураки!»



Черный тонкий фломастер летал по листу, рука перебрасывала страницу, новый рисунок перечеркнут, в углу очень-очень мелко несколько строк. Олесь прикусил губу, пытаясь сосредоточиться только на себе, на своем собственном состоянии, но голос экскурсовода, назойливый и однородный, проникал внутрь, в мозг, запутывал рисуящую руку.

— Но в тридцать седьмом году уже не церемонились. Соловецкий лагерь был подобием Освенцима, с той лишь разницей, во-первых, что смерть здесь предназначалась не для евреев, а для русских и, во-вторых, смерть здесь изготовлялась чисто русскими способами...

«Бред какой, — наконец расслышав слова экскурсовода, подумал Олесь. — Разве смерть можно изготовить? Изготовить можно труп из живого человека, в конце концов, пепел. Но изготовить смерть — это то же самое, что, скажем, изготовить любовь... Впрочем... Впрочем... — Рука моментальным движением вывела острый профиль экскурсовода: он был без шапки, он был молод, он был горяч, как дюжина фанатично верующих монахов. — Впрочем, если можно изготовить любовь, вероятно, можно изготовить и смерть?»

— Вопросы есть? — вдруг обернувшись к нему, спросил экскурсовод.

— Вы профессиональный гид? — спросила за поэта Маруся, тонко почувствовавшая момент.

— А в чем, собственно, дело? — засуетился экскурсовод.

— Так! — Маруся дернула плечом. — Профессионал не может быть столь косноязычен.

Лицо экскурсовода налилось краской, и он сказал сквозь зубы, правда, совершенно тем же, что и прежде, тоном:

— Вы угадали, девушка, я заменяю товарища. Я археолог по профессии. Извините уж!

— Да ладно вам, — сказал бас из толпы. — Хорошо же погибает. Пусть гнет.

— Если вы археолог, если вы работаете здесь, то скажите, действительно на острове существуют квадратные озера-могилы?

— Квадратные озера?

— Квадратные, прямоугольные, сколько их, много их на Большом Соловецком?

Экскурсовод что-то ответил, но что, расслышать никто не смог. «Казань» по непонятной причине загудела, и ветер, разорвав тугой мощный звук гудка на фрагменты, забил уши туристов упругой дрожащей ватой. Одна из танцовщиц от неожиданности выпустила из тонких рук огромную картонную коробку, та упала, покатила по земле, как белый барабан, открылась, девица вскрикнула, ветер невидимыми крючками зацепил вывалившийся мягкий шелк и бросил его частично под ноги толпы, частично далеко вверх, в небо, смешав перед глазами прозрачную извивающуюся ткань с белыми инверсионными петлями, оставленными маленьким бомбардировщиком. Кости, нарисованные на шелке, мгновенно развернулись, как рисунок на парусе, сквозь них мелькнуло солнце, и новый гудок, и новый острый порыв ветра заставил все головы уйти глубоко в воротники.

— Какое платье погибло! — сказала Виолетта, и Маруся увидела, что тетка, кутаясь в дешевое толстое пальто, притопывая квадратной безобразной туфлей, стоит совсем рядом с ней. — Жалко!..

— Это все равно не настоящее, — сказала Маруся. — Это все равно реквизит. А где Тамара Васильевна?

— Плохо! — сказала тетка. — Плохо ей. Лежит. Меня просила поклониться... Укол сделали... Наверное, уже заснула!

Тонкий фломастер вывел капельку купола. За капелькой по листу скатилась прямая строгая линия стены. Ветер исчез на минуту, и толпа, оживленно переругиваясь, сгруппировалась вокруг экскурсовода-археолога, открывая обзор.

— До обеда осмотр монастыря. И, может быть, мы еще успеем осмотреть ботанический сад, — взглянув на часы, объявил экскурсовод. — Теплоход пришел с опозданием, товарищи, так что, не исключено, программе придется немного свернуть!

Неожиданно для самого поэта на свежем листочке в блокноте под его собственной рукой возник военный самолет. В небе самолет был, как серебряный крестик. В блокноте крестик получился черный.



От причала до каменных ворот монастыря, до высоких стен, сложенных из грубого камня, экскурсию, оказывается, отделяли какие-то минуты быстрой ходьбы. За стенами ветер так не чувствовался, и люди, немного расслабившись, следовали с открытыми ртами за своим экскурсоводом, впитывали каждое слово. Олесь пытался включиться в общее настроение, его преследовало какое-то неприятное предчувствие, ожидание, и он хотел от него избавиться. Небольшая группа, человек пятьдесят, вошла в полутьму под своды, и тут же Маруся потянула поэта за рукав.

— Олесик, я хочу выстрелить по бутылке из пистолета.

— Зачем тебе?

— Я хочу представить себя этим палачом, который расстреливал.

— Понятно. А где ты видела пистолет?

Экскурсия стояла под могучими сводами трапезной, подобной по величине лишь трапезной московского Кремля, здесь было эхо, и говорили они совсем шепотом.

— Под мышкой у «афганца» кобура. Двое наркоманов остались на пристани гроб хоронить. А третий — алкоголик, вот он. — Маруся показала глазами. — Посмотри получше, у него под левой рукой кобура.

— Ты думаешь, он мне отдаст свое именное оружие?

— Если ты его хорошо попросишь. Попроси, Олесик! Никогда в жизни не стреляла из пистолета.

— Ты думаешь, теперь самое время попробовать?

— Конечно, думаю, и время, и место! — Маруся откинула назад голову и обеими руками завела за спину длинные концы шарфа. — Когда еще на место казни попадешь? До обеда хорошо бы. А то потом концерт будет... Лодочная прогулка... Попроси его, Олесик!

Представить себе, как в этих промозглых каменных мешках на протяжении нескольких столетий жили люди, казалось просто невозможным. Экскурсовод, хоть и не был профессионалом, развеселил туристов, рассказав о силе молитвы, мол, до прихода на остров лагеря смерти монахи руками вылавливали треску прямо возле берега. Они построили специальную каменную запруду. Молодая рыба входила в запруду в щели между камней, а назад, расплывшаяся, пробиться уже не могла. Когда в сорок первом году с продуктами стало плохо, коммунисты восстановили запруду, но рыба не пошла в нее.

— А почему не пошла? — усиленный звонким эхом, звенел под мрачными сводами голое экскурсовода. — Потому что молиться надо было. Молиться надо было!..

Настроение у поэта еще ухудшилось, теперь он еле-еле переставлял ноги, плащ, напшигованный вещами, казался безумно тяжелым и давил на плечи. В темных углах Олесю мерещилась неприятная плывущая тень золотой лодки, полной убиенными монахами. Это был почти сон наяву, монахи, оказывается, вовсе не попали на небо, а в своей ладье плавали здесь по каменным коридорам, пугая туристов и историков.

Снаружи, будто из другого мира, дошел до слуха протяжный гудок «Казани», потом еще один. Олесь сделал знак «афганцу», так чтобы тот не смог вовремя отвернуться, и, оказавшись с ним позади группы, шагах в десяти, прижал его к ледяной стене и спросил:

— Дашь пистолет?

— Дурак!

— Сам дурак. Моя девушка хочет выстрелить по бутылке. Или ты мне даешь пистолет, или я сообщу о том, что вы перевезли на Большой Соловецкий остров в трупе своего мертвого товарища наркотики.

— Дурак! — повторил «афганец». Он подумал и сказал с чувством: — Я не колюсь. А ты попробуй после двух лет, обойдешься ты? Ребята не для торговли взяли, а только для себя. Для себя, ты понял?

— А в душ они труп потащили, потому что приспичило? Впрочем, неважно, ты мне даешь оружие на час. И три-четыре патрона. А я молчу.

Они стояли возле зарешеченного окна, и яркий солнечный свет, разделенный на мелкие квадраты, рябил под ногами, притом что в полутьме нелегко было разглядеть выражение глаз собеседника.

— Я подумаю! — «Афганец» оттолкнул Олеся и быстрым шагом пошел догонять экскурсию.

Уже по окончании экскурсии, на улице, «афганец» сам подошел к поэту.

— Ну как, решился? — спросил жестко Олесь. — Я молчу, а ты мне даешь напрокат пистолет.

Ветер, прорывающийся в стены монастыря сквозь растворенные ворота, с силою раздувал тяжелые полы его плаща. Ноги в черных сапожках твердо стояли на мощенке двора на ширине плеч, глаза Олеся из-под нахлобученной шапки смотрели, сумасшедшие и пустые. Он взял оружие, оно оказалось довольно тяжелым, и засунул его глубоко во внутренний карман. Оружие устроилось точно под сердцем, и сердце забилося о металл сквозь шелк кармана.

— Скажи, а легко убить человека? — спросил Олесь, сам понимая жестокость своего вопроса. — Ты ведь убивал, правда, скажи, есть в убийстве какое-то удовольствие?

— Легко, — сказал «афганец», он был уже пьян. — Убивал.

«Легко, — подумал Олесь, — одного человека или несколько тысяч человек... Нужно только оружие. И нельзя бояться наказания».



Углубиться в лес группа туристов не успела, подошло время обеда. Все только вышли на дорогу, не сделав по ней ни шага, постояли переминаясь. Слева, зарывшись в давно сломанные и давно проросшие зеленью, успевшие уже увянуть деревья, ржалел какой-то экскаватор. И его задранный желто-коричневый ковш напоминал безмолвно кричащий рот.

— Ты обратил внимание, как здесь тихо, — поднимаясь по трапу на борт «Казани», обернулась Маруся. — Действительно, будто времени нет... Вроде и голос, и гудки... И самолет... А какое-то другое пространство тишины... — Олесь двигался раздражающе медленно, и она уже тянула его по крутым лестницам, по ковровым дорожкам вниз, в каюту. — Пошли, пошли, а то останемся без обеда. Чего задумался? Не над чем здесь задумываться. Тихо, страшно и очень интересно.

В сознании поэта застрял растянутый на черных ветвях кусок шелка с нарисованной черной косточкой. Какое-то время он видел внутренние переходы «Казани», сквозь этот шелк видел лицо Маруси, она что-то говорила, и только когда перед ним оказалась стоящая на крахмальной скатерти тарелка с красным свекольным салатом, стряхнул с себя оцепенение.

— Зря вы на экскурсии не ходите! — сказала, обращаясь к Шуману, сидящему напротив за столом, Маруся. — Безумно интересно.

Микола за столом не было. Шуман был в том же костюме, что и ночью, голова аккуратно перебинтована, вверх из бинта торчал смешно хохолок. Старушки фанатички тоже за столом не было.

— Не хожу, — сказал Шуман. — У меня своя экскурсия! — Он указал ножом, которым перед тем разделявал мясо, на свою перевязанную голову. — Кстати, попрошу вас не отпираться. Вы будете давать свидетельские показания против монаха. Вы же все видели.

— Видели! — покивал Олесь. — Видели... Но показаний давать не будем.

— Это принципиально?

— Абсолютно принципиально. Против монахов показать может только Бог. Слово поэта против монаха невесомо. Разве поэт может судить то, что ему не принадлежит?

— Интересно мыслите, — неожиданно согласился Шуман и, наколов на серебряную вилку последний кусочек мяса, отправил его в рот. — Поэт — это другое. С поэтами я работал...

— Что вы имеете в виду? — спросила Маруся.

— А вы знаете, — вытирая губы салфеткой, сказал Шуман. — Ведь Иосиф Виссарионович тоже был поэтом. И есть мнение, что все последующие события в нашей стране — результат тех его стихов, что не были написаны. Гитлер был художником... — Шуман поднялся. — В общем, придем в Архангельск, там разберемся, думаю, вас вызовут повесткой.

— Зачем?

— Вообще мир существует в нашем субъективном восприятии! — сказал Шуман, повернулся и зашагал через зал между столами.

— Позер какой! — Маруся тоже промокнула губы салфеткой. — Вина поэта его интересует. Знаешь, никогда не подозревала, что в этой организации могут работать подобные мыслители.

«Он не мыслитель, — подумал Олесь, заставляя себя смотреть строго в тарелку. — Он ведущее колесо репрессивного аппарата. Часть машины не способна к иронии. Его ирония — это часть его программы».

— А интересно, — сказал он, уже заканчивая обед. — Интересная теория. Поэт пишет или придумывает. Скажем, он придумывает Большой Соловецкий остров, а на острове — лагерь, а в лагере — несчастные монахи в ожидании смерти. Почему нет? Все это на абстрактном уровне вполне в духе настоящей поэзии. А потом этот лагерь возникает. В конце концов, если он не был придуман, он ведь не мог и возникнуть. Другой поэт пишет уничтожение острова, скажем, одним взрывом. Скажем, упал самолет, и...

— Хватит тебе... Мне надоела твоя поэма... — оборвала затянувшийся философский пассаж Маруся. — Пойдем, на экскурсию по местам казней опоздаем.

Неожиданно для самих себя они застряли в каюте.

— Каждый видит только то, что ему интересно, — опускаясь на койку, устало сказал Олесь.

— А если это что-то неприятное?

— Неприятное тоже может быть интересным.

Рука Маруси проникла на грудь поэта, под рубашку. Пальцы у нее были теплые, шелковистые, быстрые.

— Нужно запереть дверь... — прошептала она. — Это объективно.

Зачем-то Олесь посмотрел в иллюминатор. Волна шарахнула в зеленое стекло с такой силой, что, казалось, может его вдребезги разбить. Он попытался понять, что происходит, что происходит к его собственным настроением, с его сознанием, но не смог никак определить положение вещей. Никакого поиска, никакого наслаждения, никакого даже самой маленькой цели. Ни светлой цели, ни темной. Только где-то на самом краю сознания, будто во сне, шорох, множющийся отдаленный шорох, будто сотни, тысячи голосов одновременно пытаются выговорить имя.

— Что с тобой? — на миг приостанавливаясь в своем движении и пытаясь заглянуть в чужие глаза, очень-очень тихо спросила Маруся. — Что-то с тобой, миленький, не то.

— Я устал! Никуда не хочу идти... — подчиняясь ловким женским рукам и слушаясь женских губ, проговорил Олесь. — Ты права, это объективно!..

То ли прозвенела волна о стекло, то ли звук пришел из репродуктора, Олесю, лежащему уже на спине с закрытыми глазами, отчетливо послышался звук медного колокола, колокола радостного и печального, сказавшего одно короткое слово за всех умерших, но поэту точно было известно: колокольни Большого Соловецкого молчат. На Большом Соловецком работают только маяки.



Никогда у них не было так. Действие больше походило на сон не о том. Когда тело занято одним, голова другим, а в сердце играет совершенно иная мелодия, не подходящая ни к одному из первых двух случаев. Дверь так и позабыли запереть, не то что увлеклись и не заперли, а просто не отнеслись серьезно — страх перед чужими был для них чистой формальностью.

Волна, будто прорвав стекло, плеснула в лицо. Олесь открыл глаза, утер пот и вдруг увидел, что дверь в коридор распахнута, а прямо над ними торчит заострившееся лицо Миколы. Длинный нос святого отца готов был почти просунуться между их, лишь на мгновение разомкнутыми губами.

— Дай пистолет! — сказал Микола. И по собачьи как-то облизал губы. — Дай сейчас.

— Откуда?

— Мне солдат сказал, что он у тебя. Дай, мне человечка одного казнить надо.

— Да ты уж казнил, кажется? — Маруся села на одеяле и стала одеваться.

— Недостаточно. Дашь?

— Нет.

— Дашь! — Лицо Микола приблизилось к лицу поэта, глаза смотрели в глаза. — Нельзя правое дело остановить.

Еще мгновение назад поэт был пассивен и немногословен, еще мгновение назад он был внутренне разделен на разные противоборствующие стихии, и вдруг все переменилось. В иллюминатор вошло яркое дневное солнце, оно ослепило. И Олесь крикнул:

— Ты, монах! — Он, как был голый, вскочил на ноги и ухватил Миколу за шиворот. — Ты, пародия на монаха. Вас здесь целый корабль, пародия. Ты что, не понимаешь, что так и умереть можно! — Не делая все же никаких лишних движений, Олесь заломил Миколу руку и сказал, обращаясь к Марусе: — Сходи, приведи этого Шумана. Приведи кого-нибудь из команды, святого отца, по-мосму, следует изолировать. — Другой рукой он ухватил Миколу за волосы и спросил: — Ты крови, значит, хочешь? Ты к несчастным солдатам-интернационалистам, значит, пристава? У тебя, наверное, идея какая-нибудь серьезная есть. Расскажи.

— А ты... А ты... — Микола пытался вырваться, но только сучил от боли ногами по ковру. — А ты мелочь, — почти проблеял он. — Ничтожество. Ерундовый человек. Коли я пародия, то ты вовсе ничего. Ничего! Пустое место... — Изо всех сил он пытался уязвить и уязвил следующим словом: — Пустое место с блокнотиком... Дашь пистолет?

— Нет! — пытаюсь совладать с волною ярости, сказал тихо Олесь. — Ничего не дам!

— Пустите его!

— Что? — Олесь повернулся и увидел, что Маруси в каюте нет, а на ее месте сидит устало Тамара Васильевна, одетая в больничный халат. — Что вы сказали?

— Он ведь прав! — спокойно продолжала Тамара Васильевна. — Он, насколько я понимаю, хочет расправиться со своим врагом. Дайте ему пистолет.

— Сука... — процедил поэт. — Поклониться могилке мужа приехала... Любопытный был муженек, нос свой совал, куда не просили... В квадратном озере небось купался, страшную рыбку удил... И ты туда же!..

— Туда же! — кивнула Тамара Васильевна. — Вы ему руку сломаете, если еще нажмете.

— Пусти! — уже жалким голосом, весь обмякая, попросил Микола. — Пусти! Не надо мне... Я пугнуть его хотел. Все равно за измену Родине садиться... Или за хулиганство... Все равно статья!

Олесь отпустил. Он надел свой плащ, молча застегнул его и зашагал, громыхая сапогами, вверх по железной лестнице. В первый раз в своей жизни поэт потерял всякий контроль над своими эмоциями. Это не было результатом истерики, это было результатом принятого решения.



Волна за иллюминатором с шелестом дробилась в сверкающие брызги, и в первую секунду было невозможно против солнца рассмотреть лица.

— Где он? — крикнула Маруся.

Молодой офицер, составивший компанию Шуману, пришедший за мятежным монахом, смущенно отступил назад из каюты, куда они вдвоем ворвались, распахнув ударом дверь. Микола сидел по одну сторону стола, Тамара Васильевна в больничном халате — по другую. На столе стояла бутылка пепси-колы, два стакана и лежали игральные карты. Также карты были и у обоих в руках.

— Он убежал! — Микола пожал плечами, на губах его играла напряженная улыбка, он, со всею очевидностью, относился к игре серьезно. — Надел плащ и убежал!

Офицер спрятал в кобуру свой пистолет и, глядя вслед взбегающей по лестнице девушке, только пожал плечами. Шуман что-то крикнул, но новый гудок «Казани» скрыл его слова.

На верхней палубе ветер вздернул на Марусе шарф и так запутал его, что, спускаясь по трапу, она чуть не упала. Прогромыхав бегом по железу пристани, она остановилась, переводя дыхание. Гроб так и стоял там, где его сняли с судна. Рядом стоял один из солдат-интернационалистов.

— Он пошел в лес, я смотрел за ним. По-моему, он немножечко не в себе, —

сказал спокойно солдат, он был опять под кайфом. — Учтите, девушка, он вооружен. Нужно осторожнее... Он не профессионал, на непрофессионалов оружие действует самым невероятным образом...

«Все репрессии рождаются в блокнотах поэтов... — пронеслись лихорадочные мысли в голове Маруси, тогда как ее ноги быстрым нервным шагом измеряли старую дорогу. — Он мог это воспринять... — Она даже не обернулась, не посмотрела ни на теплоход, ни на гроб, ни на «афганца». Нужно было бежать, и она бежала, глотая ветер. — Все — мир нашей памяти и восторгов... Больше ни из чего он не состоит, этот мир... Мир страха и решений... Он таков, каким мы его чувствуем... — Она не следила за разгулявшейся мыслью, абсурд внутри помогал Марусе собраться и действовать точно, не испытывая усталости. Шарф окончательно запутался, и Маруся через голову сорвала его и бросила на дорогу. — Он ведь точно начнет теперь стрелять... И хорошо, если по бутылочкам».

Неожиданно ее взяли под левую руку, притормозили, и старческий голос, негромкий за новым ревом гудка, попросил:

— Маруся, если можно, я на вас обопрусь! Мне никак не добраться одному. Здесь пятнадцать километров. Когда-то пробежал их строевым шагом, а теперь — сердце. — Она вздрогнула, приостановилась, но, вышвырнув из головы мечущиеся мысли, приняла все как должное.

— Конечно, пойдете! — сказала она.

Николай Алексеевич, вероятно, не мог быстро идти и сильно отстал от группы.

— Мы можем как-то срезать угол? — Маруся специально посмотрела в глаза старика. — Вы же здесь должны каждую тропинку знать. Вы же шли на Секирную гору, на лестницу?

— Попробуем. — В голосе старика не было особой уверенности. — Здесь сильно все перекопали. — Он уже показывал рукою в грубой черной перчатке поворот на тропинку. — Представьте себе, все деревья порубили, посадили новые... Но, кажется, на том же самом месте...

Под деревьями оказалось полутемно, хотя, конечно, почти никакой листвы, вокруг только сплетенные ветви и тени от них. И здесь было еще тише. Было так тихо, что совершенно терялось ощущение пространства. В первый момент пытавшаяся высвободить свою руку из цепких пальцев бывшего палача, здесь Маруся, напротив, сама взяла старика под локоть.

— А вы действительно были здесь в качестве заключенного? — через несколько минут, а может быть, и через полчаса движения среди деревьев спросила она. — Скажите правду.

— Все мы были в известном смысле заложники!

Старик замолчал, он смотрел вверх. Гул самолета обозначился и стал ощутимым, явственным. Но серебряного крестика среди ветвей видно не было. Маруся покрутила головой, с левой стороны сквозь сплетение ветвей различалась морская пустота, до нее было не более ста шагов, справа также ясно угадывалась пустая дорога. Оттого, что лесополоса оказалась такой узкой, Маруся ощутила почему-то приступ тошноты. Она глотнула холодного чистого воздуха, и воздух был, как яд, как рвотное, резкий и кислый, полный запаха гари.

— Вот они! — прошептал старик.

Низко, прямо над деревьями, по небу двигалась большая золотая тень. Она была прозрачна, она могла быть просто солнечным миражом, но она имела отчетливые очертания ладьи. Длинный кривой киль задевал за ветви. В лодке сидели несколько человек. И все они улыбались.

— Пойдем... Можно успеть... — Старик рванул Марусю за руку, но она не могла отвести глаз. — Когда еще представится случай?! — Глаза старика были страшны и блестяли от слез. — Ты сможешь мне бежать?

Лодка двигалась очень медленно прямо из-под сверкающего солнца, и рассмотреть лица сидящих в ней людей было невозможно. Марусе очень хотелось рассмотреть их, она щурилась, терла глаза, кусала губы.

— Да что ты плялишься! — зло прошипел Николай Алексеевич. — Не видишь, что ли, уголовники плывут!

— Уголовники?

Но она уже увидела лицо Валентины, склоняющееся вниз, увидела смотрящие на нее веселые, озорные глаза воровки. И так отчетливо, что даже следы собственных ногтей на ее щеках можно было различить.



Двинувшись в неверном направлении, Олесь уходил в глубь острова, его вело чутье, а не мысль, да и блокнот остался на столе в каюте. Будто проснувшись, Олесь увидел себя стоящим на гнилых черных досках маленькой лодочной пристани. Лодок не было, а из-под сапог уходила масляная, гладкая вода. На воде появлялись пузыри. Олесь присел на корточки, он подумал, что вода должна быть теплой; он снял перчатку, попробовал рукой. Вода оказалась густой и действительно теплой.

«Я все придумал? — спросил себя он. — Ничего этого нет? — И сам себе ответил: — Все, что я придумал, есть и будет... Главное — не забывать о том, что существуют еще какие-то чужие выдумки...»

Дорога была здесь одна, от монастыря мимо пристани она вела прямо на Секирную гору. Там, где прошла экскурсия, валялись яркие обертки от жевательной резинки, окурки. Почему-то поэту хотелось подняться на Секирную гору по той самой лестнице, и, быстрым шагом проскочив необходимые несколько километров, он закружил вниз, поглядывая на храм. Никакой лестницы не было. Каменные белые ступени навсегда исчезли, срытые бульдозером много десятков лет тому назад, он понял это, наткнувшись на одну разбитую ступень. Лестница, с которой сбрасывали монахов, не существовала. Ее заменила узкая деревянная лесенка с другой стороны, достаточно, правда, отвесная для казни, но совершенно не впечатляющая по виду. Перильца, струганные ступенечки, дощатые площадки между пролетами. Лесенка была раза в три длиннее самого длинного московского эскалатора, притом не двигалась, и подъем занял время.

Когда он оторвал наверху руку от перил, ладонь была мокрой, и Олесь подумал, что кожа почему-то не просохла, что на руке вода черного озера. Он попробовал эту воду на вкус кончиком языка. Горечь и соль.

Храм в ближайшем рассмотрении оказался самым обыкновенным, каких тысячи, площадка вокруг храма была ухожена, вылизана, но уже потоптана туристами. Здесь, наверху, не считая актеров, готовящихся к представлению, собралось человек сорок. Никто не пытался даже спуститься, все ждали спектакля.

— Девочки, помни главное! Помни главное. — Длинные руки художественного руководителя, имени которого Олесь теперь никак не мог припомнить, метались на фоне храмовой стены. — Главное — держать спинку! Держим спинку. — Он ударил в ладоши. — Поответственнее, все поответственнее отнеслись!

Знакомый уже, приевшийся, казалось, сопровождавший все последние сутки гул самолетного двигателя заполнил голову. Блестящая точка опять висела над морем и, отражая солнце, будто незаметно приблизилась.

«Ну, и что же было главным? — подумал поэт, горло его перехватило. — Что же было главным?»

Он достал из кармана бутылку и двумя длинными глотками осушил ее. Коньяк был, как ледяная вода. В голове прояснилось, то есть в ней не стало ни одной четкой мысли. Только гул самолета, только голоса скучающих туристов. Дальше Олесь действовал против своей воли, но по своему желанию. Так оно оказалось вдруг сильно — желание изменить мир, переставить местами реальные предметы не в рисунок, не фломастером в блокноте, а в жизни, что не справиться с ним, не уйти.

Он бросил бутылку, и она легла в кустах рядом с грудой помятых консервных банок. Потом он вытер все еще мокрую ладонь о плащ и поискал пальцами в воздухе вокруг себя. Он действовал, как слепой.

— Тебе нехорошо? — спросила, подступив сбоку, одна из прозрачных балерин.

— У тебя есть... — Олесь посмотрел на нее и осторожным движением пальцев отклеил у девушки со лба красную бугафорскую звезду. — Подожди минуточку, я тебе ее сейчас отдам!..

— Зачем?

— Хочется кое-что понять. — Он пристроил звезду себе на шапку и, повернувшись, встал над узкой деревянной лестницей. — Подожди минуту! Я сейчас!

«Интересно, что мог раскопать здесь, на этом острове, муж Тамары Васильевны? Что здесь может быть?..» И это была последняя его трезвая мысль.

Он ощутил себя стоящим на самом вершине, над лесом, над морем, над сетью сверкающих озер, он стоял над монастырем — человек в сапогах и тяжелом кожаном плаще, в черной шапке, на которой горела красная звезда. И вдруг он почувствовал

знакомое вдохновение, рука, желающая вынуть блокнот, нырнула под кожу плаща и вырвала пистолет. Палец привычно, хотя делал это впервые в жизни, никогда до сего момента Олесь не держал в руках боевого оружия, снял предохранитель.

Туристы, вероятно, полагая, что черная фигура над лестницей — это начало театрально-танцевального действия, перешептывалась. Толпа доедала сухие пайки, она сконцентрировалась за его спиной в полукруг. Только балетмейстер остолбенел и опустил руки. Танцовщица, у которой Олесь одолжил для шапки звезду, кончиками пальцев помассировала лоб, скатала кусочки клея. Она тоже испугалась.

Белая металлическая точка самолета гудела, висела в небе сверху, а снизу по желобу лестницы взбирались двое. Они хохотали, они тоже, как балетмейстер, размахивали руками. Капитан-директор, вероятно, рассказал только что своей сестре Валентине какой-то анекдот.

«Уголовники. Дети репрессированных... — как строка, вспыхнула мысль в голове поэта. — Воры, грабители, убийцы, разрушители порядка!..»

Он прицелился, поиграл в руке тяжелым пистолетом, как в детстве, прицелился в негодаев. Прицелился тщательно, высовывая язык. Надавливая на собачку, он понимал, что стреляет в живого человека. Но это было какое-то другое убийство. Дозволенное.

Валентина успела вскинуть голову, она находилась всего в одном марше от поэта. Пуля ударила ей прямо в правый глаз. Женщина качнулась назад, все еще стоя на ступеньке, прямая, замерла, потом обмякла и тряпичной куклой полетела кувырком по лестнице вниз.

«Я убил...» — как-то остраненно подумал Олесь, снова прицеливаясь.

Капитан-директор даже не пригнулся. Он зачем-то подправил на голове фуражку, успел осознать происходящее и выпустил слезы, но не совладал с улыбкой. Он умер с растянутыми глупо губами. На него тоже потребовалась только одна пуля.

Толпа охнула и отступила, рефлекторно, как одно существо, попятилась назад, под стену храма. Металлическая точка самолета моргнула, будто исчезнув на миг. И так же, как на пристани в Архангельске, звук мотора моментально исчез. Серебряная точка приближалась теперь без звука.



Не поверив собственным глазам, Маруся хотела остановиться, подумать, но вместо этого побежала за стариком. Она еле успевала, задыхалась, поражаясь силе его ног. На бегу она спрашивала себя, могли ли два человека видеть одну и ту же галлюцинацию, потом, все так же задыхаясь, спрашивала себя, может, ей одной от усталости, с похмелья привиделась эта золотая лодка. Но задать прямой вопрос старику не могла, он все время оказывался шагов на десять впереди.

Ударил выстрел. Сухо и близко. Еще один. Она подумала:

«Что это? Начался концерт? Учения у военных?»

Все так же, следуя за стариком, она выскочила из леса, запрокинула голову и оказалась прямо перед храмом на горе, перед узкой, почти отвесной деревянной лестницей. Она остановилась. Полное отсутствие ветра напугало ее.

На вершине лестницы стоял Олесь в черном плаще, и в руке у него был пистолет. Маруся, уцепившись за поэта глазами, зашептала что-то злое и нервное, лишенное логики. И вдруг поняла: все также опережая ее, прыгая по высоким ступенькам, старик уже поднимался наверх.

Нужно было спросить его, задать вопрос. Была ли золотая лодка? Она поняла, что можно с этим опоздать, и кинулась за стариком. Подниматься и смотреть вверх невозможно. Она хваталась за перила, пыталась перепрыгивать, задирая ноги, сразу через четыре ступеньки и вдруг остановилась над распростертым телом. Валентина лежала на спине, но крови было столько, что черт лица не разобрать. Маруся громко икнула и зажала себе рот ладонью. Капитан-директор, так же лицом вверх, лежал на несколько ступеней выше, он улыбался.

«Уголовники... — всплыло в ее голове брошенное стариком слово. — Уголовники!.. Оба... Мертвые...»

В тишине налетел порыв ветра, и силы у Маруси моментально иссякли, она села между трупами и закрыла глаза. То, что старик кричит, она все-таки уловила, но

в нарастающем оцепенении не смогла понять смысла этих коротких, вырывающихся на бегу, сумасшедших слов.

— Стреляйте! — так же, как и Маруся, хватаясь за перила, задирая голову и брызгая слюной, хрипел старик. — Пли!

Он не видел деревянных узких ступеней. Ступени он ощущал как плоские и каменные — широкие. Под ним была знакомая Секирная лестница, вокруг горящего лица покалывающий холодом воздух, а сверху над Николаем Алексеевичем высился знакомый человек — карающий ангел. Старику казалось, что время на миг оборвалось и обратился в большое зеркало и теперь он видит себя самого, стоящего вот так и вот здесь сорок лет назад. Ноги чуть расставлены, глаза оловянные и пусты.

— Ну, прошу тебя... — делая еще один рывок вверх, выходя на последний марш, простонал он. — Стреляй, мальчик!.. Пли!..

Маруся судорожно вытирала липкие ладони об одежду, все-таки ее вырвало. В голове пусто звенело. Толпа туристов от ужаса прильнула к стене. Тонкие пальчики балерины массировали виски, девочка пригнулась в ожидании выстрела.

Но Олесь не собирался больше стрелять. Поэма, потеряв словесный эквивалент, развивалась в нем со скоростью цепной реакции. Она дрожала в голове, пульсировала темными кольцами перед глазами. Привыкнув к вдохновению, как к чему-то обыденному, простому, он давно уже не радовался неожиданным творческим всплескам, этой электрической волне, льющейся в голову и очищающей мир от лишних деталей. Он привык к ощущению полета и, как птица, скучал на своей высоте, рассматривая издалека непослушный упрямый мир и самого себя, бредущего по плоской земле. Но теперь что-то наконец случилось, он будто перешагнул черту, неожиданно прибавил еще высоты и задохнулся от восторга. Он управлял миром. Он мог сделать с миром все, что хотел.

Он посмотрел на старика, тот приседал, хватаясь за сердце — жалкая пародия на палача, — в поисках чего-то большего огляделся, но, кроме небольшого храма и припадающей к стенам храма комичной кучки людей, ничего не обнаружил. Поэма, уничтожая его разум, оплетая черным прожорливым червем, требовала новой пищи, новой жертвы. И жертва, чтобы насытить наконец этого червя, должна была быть несравнимо больше предыдущей. Она должна была быть огромной.

Опустив руку с бесполезным пистолетом, он поднял голову и посмотрел в небо. В небе далеко, в глубоком голубом пространстве дрожала без звука серебряная точка. «Всех утопить... — всплыли в голове слова другого поэта. — Сейчас!»  
.....

Авария над Белым морем во время учебного полета не была неожиданностью. В общем-то, ее давно ждали.

Когда поэт, стоящий на вершине отвесной деревянной лестницы, поднял голову и посмотрел в небо, на серебряную точку, летчик пытался в последний раз выправить погибающую военную машину. Олесь выпустил из руки пистолет и кончиками пальцев потрогал красную гладкую звезду у себя на шапке. Летчик взглянул вниз, конечно, он не мог увидеть поэта, он посмотрел на серый накат моря, на остров, венчающий этот накат, и надавил кнопку катапульты.

Катапульта не сработала. Тогда, плюнув в планку молчащей рации зеленой слюной, летчик направил свою груженную смертью машину прямо на остров. Его ненависть была как вдохновение, как восторг. Он ненавидел всех: страну, пославшую его служить в армии, авиадиспетчеров, не выходящих на связь, механиков, в результате работы которых авария была практически неизбежна, ученых — проектировщиков самолета, свою жену, изменяющую в любое его отсутствие. Ни о поэзии, ни о безжалостных законах Вселенной он не думал в эти последние свои мгновения. Он не мог спастись и желал отомстить за свою жизнь. Хоть как-то отомстить.

Он направил машину прямо на остров, на свою базу, откуда час назад он поднялся в воздух. Он опять увидел цветные горошины, раскатившиеся по железному языку пирса, золотую каплю купола, медленно стекающую в Белое море.

Совместив, как мишень, в прицеле яркий блик на ветровом стекле и сверкающий глубоко внизу купол храма на Секирной горе, он все-таки продолжал планировать. В отличие от поэта у него оставался маленький шанс, возможно, двигатель все-таки включится и удастся дотянуть до посадочной полосы.

Генрих Сапгир

## Когда небо дымится солнцем...



### Памятник

Володе Ломазову

на площади Пушкина плавают  
в холодном воздухе весны  
на ядовитом солнце  
девицы иностранцы иномарки —  
и все это смывает со стекла  
пшик! —  
подбежавший мальчишка  
вижу самого себя  
лет сорок назад  
остроухий остроносый  
мохноглазый  
от авитаминоза клонит в сон  
и сердце бьется так!  
главное трава  
свежа — и тюльпаны  
и памятник —  
курчавый силуэт  
заколебался  
стал косо  
обозначился в деталях  
затем выпрямился  
и утвердился  
на прежнем настоящем месте

\* \* \*

общность? конечно общность  
когда в автобусе  
да еще с работы  
да еще в новом районе  
в такой снегопад —  
снять крышу

и вытряхнуть в сугроб  
всю эту толпу —  
не разлепимся —  
человеческий куб  
Господи! живые консервы



*Комната*

...и там она была  
 пустая комната  
 полная праздником любви  
 пахнувшая краской и картоном  
 ...вверх и вниз  
 шевелились дышали  
 гордились вещами  
 ...вихрь  
 уносящего ужаса и желания  
 ...высоко что-то пролетало

мигая как моль  
 ...да! радость  
 ухода исчезновения  
 ...и там на самом дне —  
 дом изнутри  
 с пыльными лестницами  
 вонючим лифтом  
 ковром тараканов  
 почти летают —  
 и там комната...

*Московия*

все Савеловский да Савеловский —  
 что Тверская  
 что Третья Мещанская  
 вот Новослободская —  
 как на вокзале всюду жил  
 не в тюрьме  
 так у стен Бутырок  
 и поселок Сокол  
 не с неба упал  
 и Сокольники  
 недалеко упорхнули  
 думал: тетерка в кустах  
 оказалось: бутылка  
 таков мой район — регион  
 что люблю  
 никому не подарю  
 а о Подмосковьи и не говорю

мне в Московии  
 вольготно и дремотно  
 особенно по весне когда — даль  
 когда небо дымится солнцем

*Таянье*

темное промахнуло за окном  
 будто из грудной клетки  
 выпорхнуло  
 ...подозрительно бледен и тих  
 день всеобщего таянья  
 ...электричество в доме  
 ...насторожась  
 следил поверх  
 пустого кресла —

и повел головой  
 провожая —  
 что там видел пес?  
 ...и город — негатив  
 так и разгуливают всюду  
 мигая контурами  
 ...нет не голубь  
 скорее летучая мышь  
 ...успокоился  
 значит ушло

\* \* \*

заслонясь  
 от света снежной крыши  
 различать  
 на крыше лики света

видишь как роятся  
 белый воздух  
 сеточка березы  
 их обозначает

Николай Шмелев

## Безумная Грета

Повесть



Неисповедимы пути Господни! И кто же мог знать, что именно в этот безмятежный июньский день его недолгому, с таким трудом отвоеванному у жизни счастью придет, по сути дела, конец? Именно в этот день, когда все вокруг дышало покоем, и сияло солнце, и стояла блаженная тишина, нарушаемая лишь гудением пчел да свистом стрижей, носившихся взад-вперед над старыми вязами, над ровной гладью заросшего ряской деревенского пруда, то и дело взвиваясь ввысь и стремглав, камнем, падая оттуда вниз.

В то утро Питер Брейгель, сорокалетний график и живописец, известный в Брюгге, и в Антверпене, и в Брюсселе, и в иных многих городах и местечках Фландрии и славного Брабанта, сидел в одиночестве за кружкой пива в придорожной таверне, менее чем в одном лье от собственного дома, и смотрел в распахнутое окно. Улица была пуста. Сенокос только третьего дня как начался, и вся деревня — и стар, и млад — была на ближнем лугу, по другую сторону канала, там, где стояли два неподвижных в эту безветренную пору ветряка.

Разморенный тишиной, солнцем и густым, приятно горьковатым пивом, Брейгель лениво, из-под приспущенных век следил, как копошились в придорожной пыли хохлатые куры, призывным квохтаньем скликая к себе упрямо разбредавших в стороны цыплят, как нежились в лужах, похрюкивая и переваливаясь с боку на бок, длинноногие, похожие на собак, деревенские свиньи, и сладкая дремота заволакивала ему глаза, и ресницы его слипались, и голова сама собой все ниже и ниже свешивалась на грудь... Наверное, это и были теперь лучшие часы в его жизни: никуда не торопиться, ни о чем не думать, а просто сидеть и ждать, когда в ближайшей приходской церкви ударит колокол, отбивая полдень, и можно будет медленно, потягиваясь, встать и, собрав свою котомочку, столь же медленно, не оглядываясь, тронуться по дороге на другой, дальний конец деревни, где на отшибе, за дубовой рощицей, стоял старый полуразвалившийся амбар и где, он знал, его уже ждут.

О, то были воистину счастливые часы! Где-то там, за остроконечными деревенскими крышами, за синей кромкой леса, темневшего вдаль, шумел неугомонный, вечно занятый, вечно озабоченный Брюссель, и стучали груженные повозки по его мощенным брусчаткой улицам, и кричали, надрывая глотки, уличные торговцы, норовя всучить каждому встречному свой товар, и скрипели лебедки, втаскивая кирпич и раствор на торчащие повсюду строительные леса, и стояла кругом едкая пыль, от которой чесались глаза и першило в горле. И опять что-то выкрикивал на Ратушной площади глашатай, и гремели трубы, и блистали на солнце стальные доспехи городской стражи, расставленной на всех перекрестках по случаю пребывания в городе самого герцога Альбы, а вместе с ним и всей многочисленной его свиты — всех этих спесивых испанских грандов, бесцеремонно, по праву сильного,

вселившихся в лучшие в городе дома. И его, Брейгеля, не миновала эта беда, и у них в доме поселился, да еще с челядью, один такой расфранченный щеголь, наотрез отказавшийся понимать хоть слово по-фламандски и объяснявшийся с хозяевами лишь знаками либо через своих слуг. А там... А там еще и нечесаная, неприбранная до полудня жена, и двое сорванцов-сыновей, и дочь в пеленках, от крика которой можно было, казалось, сойти с ума, и толстая, неповоротливая кухарка, у которой всегда все подгорало, и грязные, вихрастые, вечно дерущиеся между собой ученики в его мастерской, и всегда всем недовольные заказчики, и кредиторы, и сборщик налогов, и постоянный страх упустить выгодный заказ, и болезни, и приближающаяся старость, и черт его знает что еще.

А здесь все было просто, все ясно: блики солнца на потолке, на низких прокопченных балках, длинный ряд бутылок за стойкой в углу, а прямо перед ним на столе — большая глиняная кружка, и по стенкам ее медленно сползает вниз пышная, как валансьенские кружева, пивная пена, а по поверхности стола важно расхаживает толстая нахальная муха, и отогнать ее нет никакой возможности, ее можно только прихлопнуть рукой, а под ладонью, под пальцами его, уже слегка тронутыми подагрой, сам собой скатывается и раскатывается мягкий, как воск, хлебный мякиш, и любопытно было смотреть, что же может в конце концов получиться из него — то голова турка в тюрбане, то нечто похожее на папскую тиару, а то, если еще смочить немного этот мякиш пивом, можно скатать идеально круглый шар, что-то вроде маленького глобуса, как тот, который он видел еще в Антверпене, у своего друга картографа Абрахама Ортелиуса. Как он теперь, кстати, там без него, божий человек? Жив или уже нет?

Между прочим, именно он, Ортелиус, и пристрастил его к этим внезапным побегам вон из города, от шума его и суеты. Нет, недалеко, ненадолго, может быть даже, всего лишь в ближайший деревенский трактир за городской стеной — но вон! Вон! Глотнуть глоток свободы, отдышаться, расправить плечи, а там... А там пусть идет оно все, как идет и как оно шло всегда.

Но если это был не сухой педант Ортелиус, для которого единственной радостью в жизни было рассуждать о всяких высоких материях, только бы никто не мешал, а другой его друг по Антверпену, преуспевающий негодник Ганс Франкерт, то дело, конечно, не ограничивалось одной-другой кружкой пива в придорожной таверне да разговорами обо всем и ни о чем. О, если это был не Ортелиус, если это был добряк и весельчак Франкерт, тогда каждый раз это было событие, приключение, авантюра! Блистательная, неожиданная авантюра, в которой никогда нельзя было знать заранее, каким будет даже само ее начало, не говоря уже о конце.

Как часто там, в Антверпене, встав рано поутру, передевались они с Гансом в платье мелких торговцев, или странствующих нотариусов, или в ветхие, прохудившиеся во многих местах плащи паломников по святым местам и, подкрепив себя на дороге глотком-другим доброго вина, отправлялись по непроснувшимся еще улицам к городским воротам, а оттуда — куда глаза глядят, иначе говоря, куда направит их стопы всемогущий и капризный Господин Случай. Бывало, целыми днями бродили они так по окрестным селам и городкам, болтая и прохладаясь на берегах каналов, в зеленых рощицах, в убогих деревенских кабачках, и заговаривая с каждым встречным, и заигрывая с местными красотками, и мешаясь повсюду с многоголосой, разноликой толпой — на ярмарках, на площадях, в церквях и часовнях, на похоронах, на крестинах, на свадьбах, словом, везде, где были люди, была толпа и где никого нимало не интересовало, кто они, откуда и куда они идут. Фламандский крестьянин испокон веков отличался простодушием: назвался дальним родственником, подарил какую-нибудь безделицу — садись, гостем будешь, дочь замуж выдаем, всех, всю округу приглашаем, а уж родню-то и сам Бог велел...

А в какие только любовные истории они с ним не попадали — где с продажными девицами, а где и с почтенными деревенскими матронами, а где и с их падкими на лесть, да на озорное слово, да на дешевенькие сережки либо перстенок дочерьми! А сколько денег они выиграли и проиграли в кости где-нибудь в задней комнате очередной таверны — Мать Божья! А сколько товару разного перещупали они своими руками на ярмарках, каких только песен не слышали, каких танцев не видели, каких веселых уличных шествий, и гуляний, и свирепых, без удержу и пощады пьяных драк! А сколько кровавых, леденящих душу смертей довелось им

увидеть своими глазами на виселице, на колесе, на костре — не перечесть! Ни сна, ни отдыха не знало испанское правосудие, и не зря вкушала свой нелегкий хлеб святая инквизиция: каждый день где-нибудь кого-нибудь казнили при многолюдном стечении народном, и виселица либо колесо на высоком столбе давно уже стали непременным украшением каждой фламандской деревушки или городка.

И даже здесь, в Брюсселе, спустя годы Питер Брейгель, человек уже немолодой, обремененный славой и семейными заботами, с обозначившейся сединой в бороде и постоянно сосущей болью где-то там под ложечкой, заглушить которую могла только добрая выпивка, а иначе ее, проклятую, ничто не брало, — даже и здесь он, почтенный горожанин и старшина гильдии живописцев, продолжал, как мальчишка, то и дело удирать из дому неизвестно насколько и неизвестно куда, что каждый раз приводило в отчаяние и его домашних, и заказчиков, и его многочисленных учеников. Но теперь он удирал один: новых друзей после женитьбы и переселения сюда, в Брюссель, у него так и не завелось. Впрочем, об этом, наверное, не стоило бы даже и говорить: а у кого вообще они заводятся после того, как человек переступил свой сорокалетний рубеж?

Однако с год примерно назад все эти его побег из дому и блуждания по окрестностям потеряли вдруг, в одночасье, всякую прелесть случайности и приобрели наконец цель. Да, цель! И такую, что все его существо от головы до пят вздрагивало, когда эта цель всплывала у него перед глазами, и сердце начинало колотиться так, что, казалось, еще миг, и оно выпрыгнет из груди, и руки становились влажными, а глаза начинали блестеть, как в лихорадке — утрюмым, темным блеском ожидания и нетерпения, когда человека не удержать, когда он сметает все на своем пути.

О, наверное, это уже была старость! Но если и старость, то такая, о которой каждый в его возрасте мог лишь мечтать — пылкая, грубая, могучая старость, старость Микеланджело, старость влюбленного в лесную нимфу кентавра с его лохматой головой, огромными, налитыми силой плечами и крутым, дрожащим от возбуждения конским крупом. Только нимфа его, Брейгеля, была не шаловливым, гибким лесным созданием, убегающим от своего неуклюжего преследователя, — нет, она была проста, здорова и крепка, как этот грубо сработанный деревенский комод. Но что же еще и было нужно ему — крестьянскому сыну, рожденному в затерявшейся среди холмов и полей Брабанта маленькой деревушке неподалеку от Бреды? Ему, так и оставшемуся в душе крестьянином, несмотря на все, чего он своим усердием и талантом достиг потом?

В тот жаркий июльский день год назад, когда он впервые встретил свою нимфу, она, в белом чепчике и венке из васильков на голове, сидела на обочине дороги и жевала какой-то стебелек. Сидела она, судя по всему, не без дела: перед ней на луту мирно пощипывали травку овцы, а рядом с ней лежала длинная клюка, которой в брабантских деревнях обычно погоняют скот. Глубокий вырез холщовой рубахи и туго стянутый на груди, едва не лопающийся изнутри лиф свидетельствовали о том, что возраст невинных младенческих снов для этой девушки, несомненно, уже прошел.

Питер еще было хотел пройти мимо, но любопытство, вспыхнувшее в ее глазах при виде явно чужого в этих местах чернобородого статного мужчины в одежде торговца да еще с каким-то коробом за плечами — а что в нем? — остановило его.

— Здравствуй, красавица! Ты чья? — спросил он, присаживаясь к ней и стаскивая с плеча этот короб.

— Здешняя. Из этой деревни. Дочь старого Йоста.

— А зовут тебя как?

— Катарина.

— А меня Питер.

— Ты из города?

— Из города.

— Торгуешь?

— Торгую. Хожу по деревням. Увижу вот такую красавицу, как ты, все ей продам! А то и даром отдам.

— А в коробе у тебя что?

— Любопытно, да? Ишь, глазки-то разгорелись!

— Ну, а как же! Покажи. Может, и я что-нибудь куплю.

— Найди укромное местечко — покажу.

— А здесь тебе чем не место?

— Здесь люди ходят. Увидят. Отцу твоему скажут. А он меня приберет.

— Нет, он не приберет. Он добрый. А братья, это правда, если увидят, могут и поколотить... Стог сена вон видишь? Высокий? Пойдем туда. Там с дороги не видно...

В этом-то лишь недавно сметанном стогу, а вернее, в ямке, наспех, охалка за охалкой выдранной ими у него сбоку, зарывшись с головой в душистое, еще не потерявшее своей свежести сено, царапая руки и ноги и все другое о какие-то колючки и сухие обломки стебельков, кашляя и отплеываясь от сеной трухи, от травинки и листиков и мелких букашек, забивавшихся в рот, и узнал он ту, что стала его счастьем, его единственной радостью на многие дни, и недели, и месяцы потом. Счастьем? Да, он был счастлив: счастлив ее молодым, плотно сбитым телом, молочным запахом ее кожи, ее белыми, широко раскинутыми ногами, ее жадно открытым ртом, ее руками, грубовато и требовательно тянувшими его к себе, ее смехом, ее простотой, ее незатейливым разговором — впервые в его жизни он был счастлив всем и ничего другого не хотел.

— Сколько тебе лет, Катарина? — уже успокоенный, отвалившись, спросил он тогда ее, лежа с ней рядом и наблюдая, с какой простодушной радостью перебирала она в руках то, что он — волшебник! — вывалил из своего короба ей в колени: какие-то ленточки, зеркала, черепашковидный гребень, ниточку стеклянных бус, нанизанных вперемешку с красными кораллами...

— Восемнадцать будет.

— А чего ж замуж не идешь?

— Тебя ждала. Видишь — дождалась.

— Нет, мне нельзя на тебе жениться! У меня двое сыновей. И дочь.

— Ну, коли не женишься, я подожду, подожду да за другого замуж пойду... А ты ко мне еще придешь?

— Приду. Завтра приду. Ты будешь меня ждать?

— Буду.

— А где?

— А прямо сюда, к стогу, и приходи...

Пока было лето, был стог, был лес, были густые заросли лозинника на берегу канала. Потом, когда пошли дожди, убежищем им служил старый полуразвалившийся амбар на краю деревни, давно уже, видно, брошенный его хозяевами. А когда пришла зима и выпал снег, их приютила у себя одна старая беззубая ведьма, которая доживала свой век в нищете и полном одиночестве и за те полфлорина, что он оставлял ей в каждое свое посещение, была готова держать язык за зубами хоть до гробовой доски.

Конечно, может, кто в деревне и знал про их встречи. Но ни отцу, ни братьям ее, судя по всему, до сих пор не было ничего известно, и всякие меры предосторожности Питер предпринимал уже больше по привычке, на всякий случай, как-то незаметно для себя уверовав, что все это ниспослано ему свыше, Судьбой, а раз так, то она уже сама как-нибудь позаботится о том, чтобы охранить их и от дурного глаза, и от злого языка. А может, в этой деревне, через которую проходила дорога на Брюссель, так привыкли видеть каждый день множество разных прохожих — торговцев, крестьян, воинских людей, а то и просто бродяг, — что никто здесь и не приметил его. А если и приметил, так что ж: деревня была большая, людная, со своей церковью, лавками, со своей таверной у дороги — мало ли к кому в ней мог ходить этот весьма уже не молодой, скромно одетый и скромно державшийся господин?

Ах, скорее бы полдень! Как медленно движется время и как томительно ждать, даже если знаешь, что стоит ждать... Но уже скоро, наверное, ударит колокол на колокольне. И косцы уже, наверное, бросили косить и сидят где-нибудь в холодке, отбивают, правят свои косы, и жены их подгребают граблями последние ряды к копешкам, а сыновья на возах уминают поплотнее последние охалки сена, поданные им снизу на длинных вилах. Скоро обед! А после обеда все вздремнут часок-другой здесь же на лугу, кого где свалил сон. И никто не заметит, что нет среди них дочки старого Йоста, и не хватятся ее, а когда все проснутся и начнется опять работа, она уже как ни чем не бывало будет тут как тут и будет опять работать, опять

подавать вместе с братом на воз сено, захватывая разом на вилы чуть не целую копну, а другой брат на возу будет принимать и будет хвалить ее: о, Катарина крепкая девушка, и работать она умеет не хуже других...

Медленно течет время! И текут его раздумья, и течет, стекает пивная пена по стенкам очередной кружки, стоящей перед ним... Но уже давно, нарастая, какой-то странный, непривычный стук с проходящей под окном дороги раздается у него в ушах: как будто сразу несколько палок вразной стучат по высохшей под июньским солнцем, утрамбованной многими ногами земле. Потом к стуку примешивается чье-то невнятное бормотание и неуверенное, нетвердое шарканье ног, потом заунывный, всхлипывающий голос затягивает псалом, его подхватывают другие голоса, и, выглянув в окно, Питер видит, что по дороге мимо трактира бредет целая процессия слепцов, ведомая крепким, осанистым мужчиной лет пятидесяти в побуревшей от старости шляпе и с суковатой палкой в руках.

Вскинув высоко вверх крутой подбородок и свои пустые глазницы, он осторожно, легким постукиванием ощупывал этой палкой путь перед собой, а другие слепцы следовали за ним шаг в шаг, положив друг другу руку на плечо или ухватившись за палку идущего впереди. Одежда их была бедна и покрыта пылью, башмаки в грязи, чулки порваны, и на каждом, несмотря на июньскую жару, был надет ветхий, прожженный во многих местах плащ — видно, шли они уже давно, и путь им предстоял еще не близкий.

Куда они бредут? И кто они? И за какой такой грех, за какую тяжкую вину так жестоко покарал их Господь? За что Он, Всемогущий, обезглавил их, за что погасил для них Свой Божественный свет, еще при жизни этих несчастных погрузив их в вечный мрак? И зачем, с какой неведомой целью попустил Он быть в сотворенном Им мире этому уродству? Неужто лишь затем, чтобы при виде их дрогнуло и сжалось от страха сердце у всякого, кто минуту еще назад, до встречи с ними, был безмятежен и счастлив? И кто позволил себе, безумный, хоть на мгновение забыть, как нелепа и ненадежна человеческая жизнь?

А лица! Какие лица... О Господи! Беспомощность и вместе с тем высокомерие обладателей некоей высшей тайны написаны на этих лицах, и мольба о людском снисхождении, и злоба ко всем, кто не они, и робость, и жадность, и страдание, и какая-то нездешняя печаль — печаль, что выше добра и зла. Исхудавшие, изможденные лица, посиневшие губы, ощеренные рты... И эти страшные, пустые глазницы — как черные зияющие дыры в черепе мертвеца! А еще покорность — на всех лицах, в каждом жесте, в каждой согбенной фигуре, встроившейся в эту живую цепь: куда их ведет их предводитель, их поводырь — значит, туда и должно им идти, ибо потому он и предводитель, потому он и поводырь, что ему, тоже незрячему, открыл Господь пути свои. И хотя и раздражают всех его властные замашки, его уверенный, непререкаемый тон, без него было бы еще хуже в этой крошечной тьме, в этом безжалостном, враждебном мире, полном ям, и колдобин, и собак, и бессердечных, злых мальчишек, повсюду осыпающих их градом насмешек и камней.

Питер хотел уж было отвести глаза от столь печального зрелища, но слепцы вдруг остановились и, перестав гнусавить свои псалмы, подняли между собой какой-то спор. Видимо, это был спор о дороге: кто-то из них, все еще строптивый, все еще недоломанный до конца, внезапно вдруг засомневался, туда ли они идут. Сгрудившись в кучу, они сердито тыкали палками в разные стороны и кричали друг на друга плаксивыми, раздраженными голосами. Строй их перемешался, кто был сзади, оказался впереди, а шедшие впереди — сзади, они топтались, бранились, кружились на месте, хватались за грудки, доказывая каждый свою правоту, и, если бы не грозный окрик поводыря и нетерпеливый, повелительный стук его палки о землю, они, наверное, так бы до самой ночи и не сдвинулись с места, продолжая свой бестолковый и бесполезный спор.

Но поводырь их, видно, недаром был поводырь: влепив одному затрещину, а другого стеганув палкой вдоль хребта, он наконец восстановил строй, и вся процессия вновь тронулась в путь. Поводырь, конечно, опять был впереди, но теперь шаги его, явно взволнованного и раздосадованного этим маленьким бунтом, были более решительны, более напористы, чем прежде, и палка его уже не так осторожно ощупывала землю вокруг себя.

И может быть, именно поэтому им и не удалось далеко уйти. Свой спор они

затеяли как раз там, где в нескольких локтях от дороги лежал крохотный, затянутый зеленью пруд, куда стекались или сносились нечистоты со всей деревни. В этом гвалте, препирательствах, в этом кружении на месте, перемешавшем строй слепцов, и зрячему-то нѣмудрено было потерять голову. А поводиры, прости его Господи, ведь тоже был слепой!

Край дороги круто нависал над прудом, нужно было ошибиться всего на полшага, чтобы обрушиться с дороги вниз, прямо в его стоячую, зловонную воду. И слепой поводиры эти полшага сделал. Питер и глазом не успел моргнуть, как фигура поводиры исчезла с дороги, за ним последовал другой слепец, державшийся за его плечо, за ним еще один, за ним еще — и внезапно дорога оказалась пуста, как будто и не было никого на ней всего лишь мгновение назад.

Проклятия, стоны, вопли, жалобные причитания, площадная брань взорвали сонную полуденную тишину. А сверху к ним еще добавилось громкое карканье рассерженного воронья, вспугнутого со своих гнезд в старых ветлах, окружавших пруд. Конечно, деревенский прудишко был слишком мелок, чтобы в нем можно было утонуть. Но грязи по пояс, но гнилой воды и жестоких синяков, а может, и повывихнутых рук и ног на долю бедных слепцов досталось, надо думать, немало.

Ударил церковный колокол, возвещая наконец полдень. Питер не стал дожидаться, пока слепцы опять выберутся на дорогу. Вздохнув, он встал из-за стола и, расплатившись, поплелся прочь. «Камо грядеши, человек? — лениво, с безразличным состраданием думал он, бредя вдоль деревенской улицы. — И кто ведет тебя? И почему так устроена жизнь, что ни стадо овец, ни стадо людей не могут быть без вождя, даже если этот вождь столь же слеп, как и все?»

А Катарина уже ждала его! Бог с ними, со слепцами! Не они его жизнь. А жизнь его и надежда его здесь, в этой прохладной полутьме старого амбара, на охапке прошлогодней соломы, служившей им подстилкой, среди паутины, солнечных бликов, и каких-то бочек, и остатков полусгнившей упряжи, сваленной в углу. Здесь, сжимая в объятиях ее тугое тело, зарываясь лицом в ее льняные волосы и медленно, сладострастно погружаясь в этот омут, из которого всего лишь через мгновение — но мгновение, равное вечности — он вынырнет обновленный и возрожденный, как Антей, прикоснувшийся к земле. А как податлива она! Как бесстыдно белы и влажны от пота ее бедра и как тесно сжимает она руками его ягодицы, чтобы впихнуть его еще глубже в себя... О, если бы можно было, он каждый день проходил бы, нет, пробегал бы это лье от города сюда и лье обратно! При любой жаре, при любом дожде и снеге, только чтобы увидеть ее здесь в амбаре, на соломе, улыбающуюся, протягивающую к нему руки, ждущую его...

— Питер, знаешь... А меня просватали, — вдруг сказала она, когда все было уже кончено.

— К-как сватали? Когда? — пораженный, только и сумел выдать из себя Питер.

— А вчера! — отряхиваясь и приводя в порядок множество своих юбок, ответила она. Глаза ее были спокойны, голос безмятежен, а на лице блуждала какая-то странная, далекая улыбка, которой он прежде не видел у нее.

— И ты молчишь?! За кого?

— А за одного парня вон из той деревни, на той стороне канала. Ты не знаешь его... Богатая семья! Большая. Хорошо живут. Своя мельница, и коровы у них лучше всех в округе. Я таких и не видала ни у кого...

— А когда свадьба?

— После жатвы. Отец сказал, ячмень уберем — тогда можно и свадьбу играть.

— А как же я?

— Ты? О Питер, так еще до свадьбы долго! До нее дожить еще надо. Ты еще успеешь разлюбить меня... А ты на свадьбу ко мне прийдешь?

— А ты меня позовешь?

— Ты сам приходи, Питер, без приглашения! Подаришь мне что-нибудь, а нашим скажешь, что ты родня... А ты мне подаришь что-нибудь, да? Смотри, не скупись! На свадьбу всегда хорошие подарки дарят. Дорогие...

— Ты его любишь?

— Кого?

— Да жениха своего! Кого-кого... Кого ж еще?

— Не знаю. Может, и полюбу. Потом.

— Так что, мне больше не приходите?

— Что ты, Питер! Ты что? Завтра приходи. Я буду ждать.

— Завтра не смогу.

— Ну, послезавтра! Придешь? Может, ты обиделся на меня? Ты не надо, не обижайся... Я молодая, Питер. А ты старый. Отец говорит, не век же мне в девках сидеть...

Июньский зной все ниже, все тяжелее нависал над городом, а раскаленное добела солнце все нестерпимее било по глазам, отражаясь в распахнутых настежь окнах, когда Питер, еле передвигая ноги, вернулся наконец к себе домой, в свою мастерскую. На этот раз дорога от того развалившегося амбара до дома показалась ему вечностью: он то и дело присаживался на обочине, вытирая платком стекавший из-под шляпы пот, сидел, вздыхал, качал головою, снова и снова повторяя про себя: «...ты старый. Ты не надо, не обижайся...» Да как он мог обижаться на тебя, дитя? Это все равно, что обижаться на вон того воробья, радостно барахтающегося в пыли, или на ласточку, стрелой взмывающую в небо, или на этот молоденький, крепкий, в редкой еще листве дубок, что сам собой вырос при дороге, не сейчас, а когда-нибудь потом, в будущем, обещая бредущему мимо путнику прохладу и тень.

Что тебе, простодушной, до него, до Питера Брейгеля — стареющего, мучимого постоянными болями под ложечкой господина, неожиданно-негаданно вклинившегося в твою только начинающуюся жизнь? Спасибо этому господину за любовь, за ласку, спасибо за подарки, но кто же будет рожать детей, кто будет вести хозяйство в том добротном, просторном доме по другую сторону канала, если ты и дальше будешь валяться с этим господином по амбарам да по кустам? Господин этот как явился неизвестно откуда, так и исчезнет неизвестно куда — да если и прямо на тот свет, что за беда? — а у тебя еще много дел впереди. Ну, а уж коли так получилось, коли согрешила ты, Катарина, малость с ним, так деревенский ваш священник, надо думать, отмолит этот грех у Господа, благо и грех-то твой невелик — какой это по нынешним временам грех? А муж... Что ж, муж он и есть муж. На то он и муж, чтобы никогда не знать и не узнать ни о чем.

Ну, а ты? Ты, живописец и график Питер Брейгель, отец троих детей, владелец собственного дома и мастерской в Брюсселе, старшина гильдии, член городского магистрата, друг и приятель стольких именитых мужей в славном королевстве Испании и Нидерландов, и в Риме, и в Лионе, и во Франкфурте, и в иных многих странах и городах? Ты, мыслитель и философ, историк и богослов, знаток механики, и архитектуры, и алхимии, и воинского, и морского дела, и множества других полезных ремесел и наук? Ты, бродяга и мистификатор, волокита и игрок, и праздный гуляка на многолюдных ярмарках и площадях? Ты, потративший столько сил и старания, чтобы проникнуть в человеческую суть, и не нашедший ничего лучшего на склоне лет, кроме простой деревенской девахи с крепким задом и румяными щеками? Как же будешь теперь ты?



Как? А никак. Катарина была права: до свадьбы надо было еще дожить. Что толку терзаться и мучиться сейчас? Ничего не поделаешь — не в его власти что-либо изменить. А когда наступит этот день — день ее свадьбы, тогда и будем думать, как же дальше жить.

Все следующее утро, до полудня, Питер Брейгель провел как во сне: препирался с заказчиками, отдавал привычные распоряжения по дому, бранился с кухаркой, что-то поправлял в рисунках у своих учеников, но душа его была далеко. Он, конечно, и сегодня бросил бы всё и удрал без оглядки туда, куда рвалось его сердце, — к ней, к Катарине, в этот полутемный амбар, на подстилку из старой соломы, к ее груди, к ее бесстыдно задранным вверх юбкам, одним словом, туда, где он только и был самим собой. Но магистрат давал в этот день торжественный обед в честь старших офицеров испанского гарнизона, ждали, что, возможно, сам герцог почтит своим присутствием сие торжество, и пропустить такое событие было бы в высшей степени неблагоприятно с его стороны. Отсутствие его было бы, несомненно, замечено, а в такие смутные, ненадежные времена не было ничего опаснее для мирного обывателя, пусть даже и старшины гильдии живописцев, чем любое проявление неуважения к властям.

Но уж зато на следующий день удержать его дома не смог бы, наверное, никто

из смертных. Второпях он даже и палку свою забыл у себя в прихожей и вспомнил о ней лишь тогда, когда, приближаясь к заветному амбару, почувствовал, что все-таки для человека его возраста пробежать целое лье по жаре, а потом еще прыгать с кочки на кочку по болотистому луку, а потом пробиваться сквозь густой кустарник, скрывавший за собой амбар, было очень и очень нелегко.

Конечно же, она уже ждала его! В том же углу, на той же соломе и так же широко и призывно раскинув ноги, как и два дня назад.

— О Питер! Как ты долго! Давай скорей...

— Подожди, золотко! Подожди. Дай отдышаться. Жарко — сил нет.

— Нет, давай! Давай сейчас, сразу. Мне нельзя больше ждать.

— А что случилось? Еще только полдень.

— Потом! Потом скажу... Ну, Питер, иди же сюда... О Господи, какой ты неловкий! Давай я сама тебе расстегну...

Как всегда, она была рада ему, и, как всегда, губы ее были влажны, а руки крепко, по-хозяйски стискивали его спину и бока, и все-таки отчего-то он сразу ощутил, что сегодня она была не с ним, а далеко от него. Дыхание ли ее было иное? Или дрожь не так сильно, как всегда, билась ее? Или чересчур уж жадно она подгоняла его, и это была не жадность, а на самом деле просто торопливость, чтобы он поскорее добрался до конца и освободил ее? Как бы там ни было, но все на этот раз произошло необыкновенно быстро, и когда последняя, самая мучительная, но и самая желанная в любовных утехх судорога тряханула и отпустила его, Катарина тут же выскользнула из-под его довольно-таки грузного тела и сразу принялась поправлять многочисленные свои юбки и сбившийся было набок беленький чепец на голове.

— Ну? Так куда же ты бежишь, Катарина? Почему тебе еще не побыть со мной?

— Нет, Питер! Нет. Сегодня больше нельзя! Мне надо бежать в деревню. Там у нас сегодня такое затевается!

— А что там у вас стряслось?

— Церковь будем громить! Всей деревней. Иконы разбивать. Статуи жечь... В другую веру переходим, Питер! Все как один...

— В какую другую?

— Будем молиться не Деве Марии, не святым угодникам, а по Книге. Так господин Мартин Лютер велит.

— По Книге?

— Ну да! По Библии. Кто как умеет.

— А ты умеешь? Ты знаешь Книгу?

— Не, Питер! Не знаю. Знаю только «Отче наш». И как Христа распяли.

— А кто ж тогда тебя научит? Священник?

— Нет! Священника прогоним. Безумная Грета — вот кто научит! Она знает Библию. Она все знает! Она сказала, что научит всех.

— Безумная Грета?!

— Ну да! Разве я тебе никогда не говорила про нее? Знаешь, Питер, она ведьма! Колдунья. Она все может. И босая всегда! И зимой, и летом. Куда-то все спешит, бормочет что-то себе под нос, руками машет — страх! А собаки деревенские, как увидят ее, сейчас же за ней. Куда она — туда и они... Как же не безумная? Безумная и есть! Ее все у нас боятся...

— Она у вас в деревне живет?

— У нас! Она старая, она давно у нас живет. Ее все тут знают.

— А почему она безумная?

— Потому что безумная! Ты бы видел ее: нечесаная, немытая, страшная, юбки всегда рваные, на голове не поймешь что. Может и кастрюлю надеть дырявую — ей все нипочем. И босая всегда! И зимой, и летом. Куда-то все спешит, бормочет что-то себе под нос, руками машет — страх! А собаки деревенские, как увидят ее, сейчас же за ней. Куда она — туда и они... Как же не безумная? Безумная и есть! Ее все у нас боятся...

— И что, это она вас подбила — иконы разбивать?

— Она! А сказывают люди, и в других деревнях тоже так. Везде, говорят, иконы бьют. А мы-то что ж, хуже другие? Ой, Питер! Я больше не могу, я побежала. Завтра придешь?

— Приду.

— Приходи! Сюда же. Я тебя буду ждать...

— Постой! На, надень.

— Что это? Перстенек! Это мне? Ой, Питер! Какой хорошенький! Вот радость-то...

— Надень. На левый мизинец.

— А дома я что скажу?

— А дома скажешь: шел-де старик по дороге, старый, на лешего похожий, увидел и подарил, сама-де не знаю, за что. Может, это волшебник какой был... И когда замуж выйдешь — носи. В память обо мне...

— Ой, Питер! Мне теперь и вовсе замуж расхотелось... Ну, ладно! Побегу. Храни тебя Дева Мария! Ты добрый, Питер. Ты будешь жить сто лет...

И она убежала, чмокнув на прощание его в щеку. Подождав немного, Питер выбрался вслед за ней на дорогу, но сразу возвращаться в город не стал — любопытство одолело его. Всякое он в своей жизни видел, а вот как разбивают иконы и жгут статуи святых — видеть еще не доводилось никогда. Только слышал про такое святотатство, говорили люди, что Господь попустил этому делу уже свершиться во многих селах и городах, и Небо не обрушилось на землю, и все сошло тем богохульникам с рук... Нет! Такое надо было увидеть своими глазами. В конце концов, не каждый же день целая деревня переходит в другую веру, да еще с Безумной Гретой во главе. Ради одного этого стоило пойти туда, на деревенскую площадь, где стояла старая кирпичная церковь с колокольней и где, как было видно издали, уже толпился народ.

Напрасно, однако, Питер опасался, что появление его на площади может вызвать ненужное любопытство, вряд ли кто в этой толпе даже и заметил его, когда он, стараясь держаться поближе к домам и подальше от дороги, приблизился к церкви. Слишком возбуждены были люди, стоявшие к тому же почти все спиной к нему. И слишком напряженным было их ожидание чего-то, что должно было свершиться с минуты на минуту, чтобы обратить внимание на еще одного случайного прохожего, забредшего в их деревню. Детвора, старики, женщины в белых передниках и чепцах, их мужья в рубахах с закатанными по локоть рукавами, только что побросавшие свои косы и вилы там, на лугу, — все они, вытянув шеи, смотрели в одну сторону, туда, где деревенская улица круто сворачивала вправо и где рядом с полуразрушенной башней, воздвигнутой здесь еще в далекие рыцарские времена, стоял когда-то, видно, богатый, но теперь уже тоже одряхлевший дом из красного кирпича.

Площадь молчала. Лишь изредка кто-нибудь из ребятишек, не выдержав ожидания, вдруг вскрикивал пронзительным детским голоском, но его сейчас же одергивали стоявшие рядом отец или мать, и тревожная тишина вновь воцарялась в толпе.

Но так длилось недолго. Внезапно из-за угла того дома, куда смотрели все, раздался оглушительный стук, как будто множество колотушек вразной ударило в медные кастрюли и тазы. И тотчас же сверху, словно в ответ на него, загудел большой колокол на колокольне, а за ним и другие колокола, но не размеренными гулками ударами, отбивавшими часы, и не торжественным праздничным перезвоном, а мелким, лихорадочным дребезжанием всех колоколов сразу, раскачиваемых без толку и ладу неумелой, да к тому же еще, похоже, и слабой рукой. Толпа ахнула и задрала головы вверх. На колокольне виднелась фигурка какого-то мальчишки, повисшего на колокольных веревках и птицею летавшего на них от окна к окну. Однако рассмотреть, чей это был мальчишка, люди не успели — из-за угла того дома на деревенскую площадь вывернула целая процессия, и все внимание толпы, понятно, обратилось на нее.

Впереди процессии, победно вскинув над собой рогатую кочергу, твердым, решительным шагом двигалось какое-то странное чучело — может быть, и женщина, а может быть, и нет. На голове у чучела был солдатский шлем, на груди стальные латы, под латами — длинный, по щиколотку, кожаный фартук, в каких обычно стоят за прилавком мясники или торговцы рыбой, а под фартуком, несмотря на жару, еще и шерстяная, рваная на локтях кофта. К поясу была приторочена холщовая торба с медной посудой, за пояс был заткнут длинный кухонный нож, в левой же руке чучело сжимало большую сковороду и отмашисто, по-мужски отбивало этой сковородой шаг. Худая морщинистая шея, длинный крючковатый нос воинственно торчал вперед, седые патлы, выбиваясь из-под шлема, развевались на ветру, а черные босые

ноги шли прямо, без разбору — по лужам ли, по твердой ли земле, распутивая во все стороны кур и раздавая налево и направо пинки нежившимся в грязи свиньям.

— Грета! Безумная Грета! — прошелестело в толпе.

Но стук и гром создавала не Грета. Шаг в шаг за нею шли десятка полтора молодцов в суконных поддевках и белых, закатанных по локоть рубахах, и каждый из этих молодцов неистово колотил чем ни попадя в поднятую над головой кастрюлю, или котелок, или медный таз. Лица их были вымазаны мелом и подмалеваны углем, из низких и плоских, как блин, шляп, надвинутых почти до самых ушей, торчали петушьи перья, и у каждого за поясом был топор, а у одного, коренастого и косолопаго, как медведь, парня на плече даже блистала боевая секира, которую он неловко, но крепко прижимал к груди согнутым локтем. Замыкал же процессию степенный седобородый старик, торжественно вздымавший над головами шествующих высокий деревянный крест.

— Грета! Грета! Божий человек! Веди нас, веди нас за собой! С нами Бог! Долой идолов! Долой папу, долой Сатану! Свобода всем! Слава Господу нашему Иисусу Христу! — взревела толпа, когда под звон колоколов и оглушительный медный грохот шествие иконоборцев вступило на площадь. Народ раздался, расступился в стороны — и такой неистовый восторг, такая радость засияли вдруг на лицах людей, лишь мгновение назад еще утрюмых и тревожных! Будто всю жизнь свою ждали они этого часа избавления и вот наконец дождались. И будто, если разобьют они этих проклятых идолов, не будет отныне в их жизни ни горя, ни страха, ни болезней, ни смерти, а будет лишь один нескончаемый праздник единения и любви, и всяк будет богат, и всяк будет свободен и счастлив, и придет наконец Царство Божие на земле.

Но сразу, с ходу вломиться в церковь толпа не смогла. Дубовая, окованная тяжелой медью дверь ее, скрипнув, медленно отворилась, и на пороге возник старенький деревенский кюре в длинной сутане с серебряным распятием на груди. Грета, потрясая кочергой, прокричала ему своим гортанным, похожим на вороний клекот голосом что-то угрожающее, но кюре будто и не заметил, и не услышал ее, и даже не пошевелился, продолжая раскинутыми, как на кресте, руками загораживать дверь. Грета вновь неистово затрясла кочергой над его лысой, в седом венчике волос головой, но кюре в ответ лишь поднял два перста правой руки и, глядя своими выцветшими глазами куда-то поверх голов, перекрестил толпу. И тогда двое самых, видимо, отчаянных в деревне молодцов выскочили из-за спины Греты и, подхватив старого кюре под локти, оттащили его от двери, а один из них, рыжий детина с ухмылкой от уха до уха на одутловатом, покрытом прыщами лице, еще и поддал ему напоследок коленкой пониже спины.

Кюре упал. Толпа загоготала, Грета бросилась в раскрытую дверь, в притвор, а за нею, толкаясь, и напирая, и смеясь, туда же хлынули и молодцы из ее войска, а за ними и весь собравшийся на площади народ. Питер увидел, как где-то среди голов мелькнул и беленький чепчик Катарины, и ему даже почудилось, что она перед тем, как исчезнуть в дверях, успела еще и помахать ему. Через мгновение гул возбужденных, пьяных от радости голосов наполнил церковь, гулко и мощно отдаваясь под ее сводами. А наверху, на колокольне, продолжали вразной звонить, и неутомимый мальчишка все летал и летал, дергая то за одну, то за другую веревку, подвязанную к языкам колоколов.

Площадь опустела. Питер шагнул к лежавшему на земле кюре и попытался его поднять. Кряхтя и охая, кюре привстал сначала на колени, потом, цепляясь за его плечо и пошатываясь на нетвердых старческих ногах, стал подниматься в рост. Но если бы не Питер, он тут же и упал бы опять: носком башмака бедный старик наступил на подол своей длинной сутаны, и этого оказалось достаточно, чтобы его хилое, сохшееся тельце вновь потеряло равновесие.

— Падре, проводить вас до дому? Лучше вам отсюда уйти, — сказал, помогая ему отряхиваться, Питер.

— Не стоит утруждать себя, сын мой. Дом мой здесь же, рядом. Я дойду сам... Ты, я вижу, нездешний. И если ты добрый католик, иди своей дорогой, куда шел. Смотреть на это нечего. Страшно на это смотреть! А остановить безумие человеческое — не по силам ни мне, ни тебе.

— Нам не по силам, падре, это правда. Но Небу по силам. А Оно молчит.

— Почему ты думаешь, что Оно молчит? Оно не молчит — Оно вопиет в отчаянии и слезах, видя, что творят люди в злобе и недомыслии своем здесь, на

земле. Но Его не слышит никто. Кроме тех немногих, у кого еще сердце не вовсе окаменело. И кому еще жаль людей.

— А вы, падре? Вы слышите?

— Я, сын мой, стар. Я слышу. Я многое слышу, чего не слышат люди... Но что я могу? Лишь плакать да молиться: может, смиляется над ними Господь и вновь простит их. Как уже простил Он им однажды муки Свои тяжкие на кресте...

Вздохнув и перекрестив его на прощание дрожащей от старости рукой, юре повернулся и, не оборачиваясь, побрел прочь. Не обернулся он и тогда, когда в церкви вдруг раздался громкий стук топоров, и послышался грохот от каких-то рушащихся сооружений, и стены ее вновь потряс ликующий рев множества голосов. А спустя мгновение на пороге ее в том же, в чем и была — в шлеме, и латах, и с холщовой торбой на боку, — появилась Безумная Грета. Но в руках ее уже не было ни кочерги, ни сковороды — высоко над собой она держала деревянную, ярко раскрашенную статую Девы Марии с младенцем на руках. Сделав несколько шагов, Грета с размаху швырнула статую оземь, и размах этот был столь силен и яростен, что Дева Мария сразу же с треском раскололась надвое, а голова младенца Христа отскочила от нее на много локтей в сторону — туда, к луже, в которую, успокоенные, уже снова было успели улечься свиньи.

А за Гретой тотчас же высыпали из церкви ее молодцы, держа в руках разбитые топором обломки алтарного иконостаса. А за ними, вопя, и кривляясь, и приплясывая, повалила вон из церковных дверей вся толпа. И каждый в этой толпе волок за собой либо статую какого-нибудь святого, либо что-то из церковной утвари, либо потемневшую от времени и свечного чада икону, пред которой еще вчера они преклоняли свои колени. И были тут все: и святой Петр с ключами от Рая, и святой Павел, и евангелисты, и Иоанн-Креститель, и Георгий-Победоносец, поражающий змия, и святая Катарина, и святой Иеронимус, и пронзенный стрелами святой великомученик Себастьян, и многое множество других. И все это с размаху, под вопли и улюлюканье толпы кидалось в кучу, и разбивалось о землю, и разлеталось в мелкие осколки под ударами топоров. И куча эта росла и ширилась, и громоздилась уже выше человеческого роста, а из церкви все несли и несли, ибо церковь была древней и люди молились в ней Богу и своим святым с незапамятных времен. И казалось, что этому не будет конца.

А когда последний из толпы швырнул наконец в эту кучу последний обломок иконостаса, раздался вдруг пронзительный крик — не крик, а вой — Безумной Греты: «Огня!» И сейчас же вся толпа подхватила этот крик.

— Огня! Огня! — несло со всех сторон. — Долой кумиров, долой идолов! Свобода! Свобода всем! Мы не язычники! Слава Господу нашему Иисусу Христу!

Ах как жарко, как славно вспыхнуло пламя, мгновенно охватив сухое, проморенное веками дерево древних статуй и икон! Как дымились, и шипели, и пучились в огне смоляные лики отвергнутых людьми святых, как корчились их тела, сжираемые этим беспощадным пламенем, и с каким оглушительным треском лопались и крошились от жара остатки гипсовых статуй, уже изувеченных, уже разбитых перед тем топором! А как плясала, и неистовствовала, и била в медные тазы толпа, все более и более свирепая от безнаказанности и всемогущества своего! А крутом мятежной толпы визжала, и бегала, и путалась под ногами у взрослых или босоногая деревенская детвора, радуясь огню и размазывая грязными кулачками копоть и слезы по лицу.

О, как же не хотелось этим древним идолам погибать... С какой мольбой вдруг вскидывалась над костром скрюченная рука какого-нибудь святого и тянулась, тянулась к людям, будто умоляя сжалиться и пощадить то, что столько поколений было свято для них! А в ответ на ту мольбу раздавались лишь злорадный гогот и свист, и кто-нибудь из толпы тотчас же бросался к этой руке с палкой или кочергой и вновь запихивал ее вниз, под груды полыхающих обломков, стараясь как можно больше разворошить пламя и не дать никому из брошенных в огонь кумиров избежать предназначенной им всем участи.

Но... Но вдруг толпа окаменела. И над площадью в мгновение ока установилась тишина, нарушаемая лишь шипением и треском костра.

Из самой середины пылающей кучи, откуда-то изнутри ее, пробивая себе дорогу сквозь уголья, и горящие обломки, и куски раскаленного гипса, вдруг непонятно как поднялась расколотая, обуглившаяся, но не сгоревшая еще фигура Девы Марии — одна, без младенца на руках — и встала над костром во весь рост.

И на глазах ее... И на глазах ее были слезы! Это видели! Это видели все, кто был на площади! Пораженная, оглушенная толпа лишь выдохнула единым дыханием громкое «ах!» — и замерла, страшась пошевелиться, не в силах отвести глаз от чуда, явившегося ей. И так бы толпа, наверное, и простояла в оцепенении вечность, ожидая неминуемой кары себе с Небес, если бы не Безумная Грета.

— Руби! Якоб, руби! — завопила, потрясая кулаками, она. — Это не Владычица! Это дьявол! Это он! Я знаю, это он! Это ему пришла теперь смерть!

И тут же, покоряясь ее приказу, из толпы выступил тот здоровенный косолапый парень с боевой секирой в руках и, размахнувшись с плеча, со всей силой ударил ею по внезапно ожившей в огне статуе. От этого страшного удара Дева Мария на глазах у всех мгновенно рассыпалась на тысячи осколков и исчезла в пламени костра. Толпа зажмурилась, вобрав головы в плечи и ожидая, что от такого святотатства здесь же, сейчас же, немедленно земля разверзнется у них под ногами и поглотит их всех. Но ничего — вы слышите? — ничего такого не произошло! Лишь пламя в начавшем было ослабевать костре вспыхнуло с новой силой, пожирая рассыпавшуюся статую, и столб дыма над ним вновь взметнулся до небес.

И тогда новый рев восторга потряс толпу и новый приступ веселья охватил собравшихся на площади. Нет, не будет им ни грома, ни молнии с Небес! И не разверзнется у них под ногами земля, и не испепелит их Господь на месте в гнев Своем. Права Безумная Грета! И прав господин Мартин Лютер! И правы все те, кто насмехался над ними — темными, простодушными деревенскими людьми, попрекая их в язычестве и идолопоклонстве. Долой папу! Долой раскрашенных кумиров! Радуйся, веселись народ христианский, узрев наконец истинный Свет!

И, схватившись за руки, толпа опять засвистела, заулюлюкала, застучала по твердой, как камень, земле своими деревянными башмаками, поднимая вокруг тучи пыли.

— Дервяшки! Это просто дервяшки! — вопила и буйствовала толпа. — Гори, огонь! Жги их! Жги проклятых идолов! Мы не язычники! С нами Бог! Слава Господу нашему Иисусу Христу!

Откуда ни возьмись, на площади вдруг появились музыканты: один со скрипкой, другой с домрой, а третий, самый грузный и пузатый из них, — с волынской. Занятный то был инструмент! Огромный бурдок, прижатый к необъятному брюху его обладателя, из бурдюка вверх — две длинные тонкие трубки, торчавшие высоко над его головой, и еще одна, поменьше, но и потолще, с отверстиями, по которым он ловко перебирал своими пухлыми пальцами, и наконец, еще одна трубка, уже совсем маленькая, в нее-то он и дудел, надувая что было сил щеки и плотно обхватив губами мундштук.

И когда заунывные звуки волынки взвились над площадью, и вдогонку им ударил смычок по струнам, и щипок за щипком зазвучал тяжелый такт разудалой плясовой, устоять уж не мог никто. Будто буйный вихрь подхватил и закружил толпу: и стар, и млад пустились в пляс, приседая, и охая, и притоптывая, и выделявая всякие коленца, и высоко, по самые ляжки, раздувая, а то и нарочно задирая множество юбок, мгновенно превративших старую деревенскую площадь в одну сплошную карусель.

— Питер! Что же ты стоишь? Танцуй! Танцуй с нами! — дернула Брейгеля за рукав раскрасневшаяся, растрепанная, сияющая от счастья Катарина, на секунду задержавшись возле него. — Праздник, Питер! Праздник! Долой идолов! Танцуй, Питер! Танцуй!

— Чему ты радуешься, дурочка? — тихо спросил он ее. — Что вы все тут, с ума посходили, что ли? Какой праздник? Ты что? Это же не праздник, это похороны! А кто же пляшет на них?

— Ах, какой ты скучный, Питер! — блеснула ему зубками в ответ она, победно, с вызовом перебирая перед ним ногами и помахая над головой беленьким платочком. — Ты чужой, Питер! Ты старый! Но ты завтра приходи! Придешь? Я буду ждать! — лишь одними губами, так, чтобы никто, кроме него, не мог в этом гвалте услышать ее, проговорила Катарина и, подмигнув ему, сейчас же умчалась прочь, в самую гущу толпы, где ее тут же подхватил и, как юлу, закружил вокруг себя какой-то рослый, косая сажень в плечах, парень — может, это и был ее жених?

А когда из трактира, что стоял напротив церкви, двое дюжих работников выкатили на площадь огромную бочку пива и тучный благодушный хозяин его стал

угощать всех желающих, каждому наливая до краев большую глиняную кружку с гербом, подававшуюся обычно лишь почетным гостям, люди и вовсе забыли, из-за чего весь этот шум и гам, и музыка, и танцы, и перезвон колоколов. Костер начал понемногу затухать, но собравшиеся на площади, похоже, как дети, уже натешились им и потеряли к нему интерес. Музыка, пиво, жадные, ухватистые руки, разгоряченные тела, призывные улыбки женщин — ах, как здорово, как весело было в этот неурочный час, в разгар сенокоса, забыть обо всем и наплясаться, накружиться, натискаться всласть и напиться допьяна, а потом рухнуть где-нибудь на сеновале, в холодке, и заснуть, и не помнить больше ни о чем! И вновь, отпрянув от бочки с пивом, и мужчины, и женщины бросались в пляс, лишь только волынщик, вытерев пот со лба и проглотив слюну, начал новый танец. И вновь их грубые башмаки в самозабвенном топоте сотрясали землю, и юбки раздувались и кружились на ветру, и разгорались горячечным блеском их глаза, а руки хватили друг друга за всякие потаенные места, не стыдясь и не опасаясь никого.

Но если толпа уже забыла о костре, то не забыла о нем Безумная Грета. Когда последние языки пламени поникли, и казнь свершилась, и некогда божественные святыни превратились наконец всего лишь в груды мерцающих угольев, подернутых пеплом, над толпой, заглушая музыку, вдруг вновь раздался ее хриплый, каркающий голос:

— Йост! Где старый Йост?

— Я здесь, Грета!

— Где крест, что ты тащишь, старый Йост?

— Он здесь, Грета! Вот он лежит.

— Ставь его! Ставь его здесь. Отныне и вовек это место будет свято! Ибо здесь мы избавились от сатанинской власти папы римского и всех прислужников его. И здесь отныне будет могила идолов, что по наущению дьявола встали между Богом и смертным человеком. Колай, Йост! Ставь здесь крест. Боже великий, Господь всемогущий! Да святится Имя Твое! Да придет Царствие Твое!

— Аминь! — грянула в ответ вновь сгрудившаяся вокруг костра толпа и закрестилась истово и покорно, услышав над собой Имя Божье.

И сейчас же Гретины молодцы в несколько лопат раскидали в стороны затухающий костер, и вырыли посреди него глубокую ямку, и подтащили к этой ямке большой, уже заранее обструганный на конце деревянный крест — тот, что нес на своих плечах статный седобородый старик, замыкавший процессию иконоборцев. Этот старик и вышел из толпы, когда все было готово, а вместе с ним, робея и смущаясь, вышли двое молодых парней и девушка в белом, сбитом набок чепце. «Катарина!» — отметил про себя Питер, стоявший, не замечаемый никем, позади всех.

Вчетвером старик и его дети подняли этот высокий крест и торжественно водрузили его над площадью. И вновь ударил колокол на колокольне, и вновь ликующими криками взорвалась толпа. И опять задудел в свою дуду волынщик, и опять вся деревня пустилась в пляс. А оборванная, сопливая деревенская детвора, не зная удержу, пуще прежнего бросилась скакать, и прыгать, и кувыряться через головы, и ходить вокруг почти совсем затухшего костра на руках.

Печально, с тяжелым сердцем смотрел старшина гильдии живописцев на это буйство, на этот яростный праздник разрушения. И даже не гром, не кара с Неба потерявшим всякий рассудок жителям мятежной деревни страшили его. Господь все видит, но Он далеко! И кому дано понять промысел Его, коли попустил Он сам быть на земле разрушению и смерти, и силам дьявольским, и человеческому мятежу? Кто знает, может быть, и этим простодушным варварам сойдет их святотатство с рук. Испанцам теперь не до них. А у своей, фламандской администрации слишком мало сил и слишком много колебаний и сомнений, чтобы уследить за всеми и всюду поспеть.

«Ну, хорошо, — думал он. — Кумиры, идолы, господин Мартин Лютер велел... А как же древность этих икон, как же красота их, как же труд человеческий? Сколько веков, сколько поколений копились эти сокровища здесь, в этой маленькой церкви... И в каждом из них великий труд великих мастеров, и пот их, и кровь, и дар их Божественный, и надежда их, и мольба, и любовь к людям. И не жаль? Неужели не жаль? Не жаль ничего — ни этих сокровищ, ни себя, ни убогой своей жизни? А о чем может жалеть вон то животное, что с таким усердием топчет сейчас

своими ножищами землю вокруг потухающего костра? Что им нужно? И что есть их жизнь? Пожрать, поспать, завалить какую-нибудь девку на сеновале, выглотать до дна свою кружку пива — что еще? Еще? А разве есть что-нибудь еще? Разве знаешь ты, Питер Брейгель, что-нибудь еще, что было бы нужно им? И не обольщайся, мастер, не обольщайся, старшина гильдии живописцев! И ты им не нужен! И придет, настанет когда-нибудь день, когда они, или их сыновья, или их внуки и правнуки и тебя потащат в костер — и твоих «Волхвов», и «Голгофу», и «Вавилонское столпотворение», и «Апофеоз смерти». Почему потащат? За что? А ни за что! За то, что ты им не нужен. За то, что от тебя на земле один лишь вред, да пустые, не нужные никому мечтания, да смятение в умах».

Тоска сжимала его сердце, и некуда было деться ему, чужому, от одиночества в этой ликующей, праздничной толпе. И невозможно было понять ни себя, ни мир, ни двуногих зверей, населяющих его.

И вспомнилось ему одно ночное видение, что чуть не всю жизнь преследовало его. То ли вправду это было, то ли приснилось ему? С уверенностью он теперь уже сказать не мог. Да и не так уж важно, что это было на самом деле — быть или сон.

Проснувшись однажды ночью, он выглянул в окно и увидел на крыше дома напротив странную фигуру. Какой-то человек в длинном темном камзоле и коротких штанах, широко расставив свои кривые ноги, мочился на луну. В ярком, холодном ее свете струя, бившая из штанов, изгибалась сияющей дугой и, дробясь на тысячи мелких осколков, падала где-то там, далеко в высоте, орошая лунный лик, одиноко блестевший в ночном небе. Потом, стряхнув последние капли, человек этот застегнул штаны и тут же исчез, растворился в ночи, как будто бы его и не было никогда.



Кончился сенокос. Прошел и июль, и наступило наконец время жатвы. Но ничего, ровным счетом ничего не изменилось ни в Катарине, ни в их встречах, ни в нем самом.

Как будто и речи не было ни о какой свадьбе! Так, пошутили и забыли — мало ли о чем могло ей прийти в голову пошутить? Все тот же амбар, все та же охапка соломы, и паутина в углах, и разошедшиеся бочки, и полуденный зной, и та же простодушная радость в ее глазах, когда он обнимал ее или раскладывал у нее в коленях свои маленькие подношения: сережки, ленточки, баночки с помадой, а то и полфлорина, а то и серебряный флорин, которых она собрала уже столько, что хватило бы, наверное, на целое монисто.

Иногда только перед тем, как проститься, заговорщицки подмигнув, он позволял себе все же чуть-чуть поддразнить ее:

— Катарина, а как там, между прочим, наш жених? Ты совсем мне не говоришь про него.

— А ничего! Что ему делается? Наверное, в поле сейчас. Ячмень косит. А может, по дому что-нибудь мастерит.

— Ты уже полюбила его?

— Нет еще, Питер! Не полюбила. Я тебя люблю. Ты добрый, лучше тебя нет. Ты смотри, завтра приходи! Я буду тебя ждать. Придешь?

Ничего не изменилось и в деревне. Побросав в костер идолов, прогнав старого кюре и наплясавшись до упаду вокруг костра под пронзительные звуки волынки и грохот медных тазов, жители ее смиренно разбрелись по домам, чтобы утром как ни в чем не бывало вновь начать свою жизнь, полную забот и трудов, и болезней, и тревоги о своих близких.

Утих, улегся понемногу и страх, таившийся в душе каждого из них, — страх не только гнева Божьего и кары с Небес, но и перед земными властителями, будь то испанцы или свое, местное начальство. Дни проходили за днями, но никто не приходил в деревню, никто не спрашивал ни о чем. И кюре, похоже, никуда не ходил и не жаловался никому, а как жил, так и жил себе тихо в своем доме неподалеку от церкви, смирившись, видно, со своей участью и простив гонителей своих. Права, права была Безумная Грета! Великое, воистину угодное Богу дело свершили они, разгромив это гнездилище проклятых идолов! А теперь каждый волен молиться Богу, как подсказывает ему его сердце и как учит тому Книга. А больше Господу Богу и не нужно от человека ничего.

От зари и до зари вся деревня была в поле: косили, вязали снопы, ставили их в копны, торопясь воспользоваться погодой и радуясь на редкость щедрому в этом году урожаю. А в деревне оставались лишь малые дети и беспомощные старики, да собаки, уныло бродившие меж дворов, тоскуя от жары и безделья, да куры, да черные свиньи, вольно, без опаски по самые уши валявшиеся в грязи. Да еще изредка по дороге на Брюссель проходил какой-нибудь прохожий, озираясь по сторонам и дивясь безлюдью, царившему вокруг, или, переваливаясь, и подскакивая на ухабах, и поднимая за собой столбы пыли, проползала повозка какого-нибудь торговца, припозднившегося со своим товаром в город, или сломая голову пронесился мимо хмурый и озабоченный всадник, судя по одежде — чиновник из городского магистрата, посланный куда-то с поручением. Куда-то! Но не к ним.

Тихо было в деревне! Ни облачка на небе и ни облачка ни в душах, ни в умах людей. Лишь покой, да тишина, да неспешное — день прошел, и слава Богу — движение жизни. И жить бы так и жить мирным жителям ее до скончания своих дней, вознося хвалу Господу. Но...

Но, как оказалось, тишина та была обманчивой. И не успели еще закончить жатву, как разразилась над деревней беда. Неслыханная дотоле беда, неведомая даже старикам! Ибо если и пересчитывали власти когда жителей ее по головам, то только отцов семейств, на кого, в согласии с обычаем, возлагались королевские подати и все другие поборы и тяготы, что устанавливал своей властью магистрат. А здесь — перепись всех! Всех жителей ее, от мала до велика, включая и женщин, и грудных младенцев, и давно уже не встающих со своего одра, забытых всеми стариков. Откуда, как, с какой стати возникла она, эта неожиданная напасть? Как гром средь ясного неба! И чего ожидать от нее им, смиренным подданным его королевского величества? И чем она им грозит?

Но ничего и никому не пожелали объяснить двое угрюмых, молчаливых королевских писцов, одетых в черное, с утра засевших со своими бумагами и перьями в трактире на деревенской площади. И ни слова нельзя было вытянуть ни из высокомерного начальника королевской стражи, сопровождавшей их, ни из его неподвижных, будто статуи, солдат, что во всеоружии — в латах, с мечами и копьями, и арбалетами за плечами — оцепили на конях со всех сторон деревню. Ничего не смогли понять недоумевающие, сбитые с толку жители и из королевского указа, что во всеуслышание прокричал на площади глашатай. Кроме разве одного: должно всем им самолично предстать перед писцами и, не бинуясь, поставить свою подпись, а буде кто не знает грамоты, то крест под именем своим, внесенным в списки. А малых детей всех поголовно, без различия полу и возрасту, должно представить к переписи их родителям либо опекунам. А буде кто из жителей по нездоровью либо дряхлости своей не сможет прийти сам, то тех родственникам их или соседям принести на руках и тем засвидетельствовать перед писцами их наличие среди живых.

И потянулись, потащились со всех концов деревни к этому трактиру испуганные, притихшие люди: сначала робко, нехотя, страшась неведомого, а потом и бодрее, торопливее, видя, что и сосед идет туда же, и детей с собой ведет мал мала меньше, и другой сосед идет, поддерживая под руки своего дряхлого старика отца, и в других многих домах вдоль улицы хлопают двери, а из них, крестясь и оглядываясь назад, выходят почтенные отцы семейств, и старики, и жены в домотканых фартуках и подоткнутых за пояс юбках, а кто и принарядившись, будто ради какого праздника, и все торопятся на площадь, и никто не хочет быть последним из всех.

Ну а когда суровые, молчаливые стражники стали ходить по домам да по дворам и выгонять оттуда тех, кто замешкался — либо хозяйка присохла к своим горшкам и все никак не оторвется от них, либо хозяину как раз приспичило починить сломавшееся колесо в телеге, а то дети куда-то запропастились, попрятались неизвестно где или не дозовешься их, бесенят, с улицы, — то и совсем веселее пошло дело. И зашумел, затолпился народ на площади, радуясь тому, что никто здесь не один, и коли пришла какая беда, то она пришла для всех.

Духота и мухи выгнали писцов из трактира, и они установили свой стол прямо в его дверях. К этому-то столу, толкаясь и переминаясь с ноги на ногу, и двигалась длинная, колеблющаяся очередь, в которой каждый, достигнув дверей трактира, сейчас же замолкал — а только что шутил, а только что перемигивался с соседями и

подталкивал их локтем: дескать, не бойсь! — и начинал чесать в затылке, и заикаться, и бормотать что-то невнятное, пытаюсь чего-то избежать или что-то выгадать для себя и не понимая или делая вид, что не понимает, чего от него хотят.

— Ты чего дурака валяешь, хозяин? — сердился тогда писец. — А детей у тебя сколько? А как их зовут? А возраст? Тебе же ясно сказано: и детей пиши! А это кто? Племянница? Пиши и ее...

Уже колокол на колокольне отзвонил полдень, а толпа у дверей трактира все не уменьшалась. И уже, наскучив столь долгим ожиданием, вновь как ни в чем не бывало принялась скакать, и кувыркаться в пыли, и бегать взапуски неугомонная детвора. И уже кто-то из работников колот длинным кухонным ножом визжащую свинью, а другой подставлял таз под ее горло, чтобы собрать брызжущую струей кровь, а хозяйка трактира раздувала очаг, чтобы тут же и отправить выпотрошенную и освежеванную тушу на вертел и накормить чем Бог послал неожиданных гостей, а хозяин, выбив из пивной бочки плотную затычку, наливал до краев в глиняные кружки пенящееся пиво, чтобы промочить их спекшиеся от жары и пыли глотки. И уже кто-то, усердствуя и позабыв все свои недавние страхи, шептал сдавленным шепотом на ухо писцу:

— Там, ваша милость, во-о-он в том доме, бабка старая живет. Давно уже с постели не вставала! А говорили, что жива еще. И Мария — вон она стоит, простоволосая — месяца два всего, как родила, а мальчонку своего, видно, дома оставила, сюда не принесла. Так что вы, ваша милость, распорядитесь, чтобы уж во всем порядок был...

Но время шло, и понемногу толпа начала редеть. Дело сделано, коли не подпись, так жирный крест на бумаге у писца поставлен — и не за себя только, а и за жену, и за детей своих малолетних, и за родителей престарелых, так чего ж дальше, что прохлаждаться, время попусту терять? Ну, пропал сегодня день для жатвы, не пустила королевская стража людей в поле — что толку сокрушаться о том? И дома полно забот: и дров надо наколоть, и воды из колодца натаскать, и свиньям отрубей намешать, и коров подоить, когда стадо с поля придет. А еще и дверь в доме покосилась, давно на одной петле висит, а еще и крышу надо подправить, черепица с одного края начала обваливаться — и у самого глаза бы не глядели, и перед соседями совестно: ну и лодырь, скажут, живет в этом доме, крышу и ту не может починить. Пустой, скажут, человек...

И потянулся народ по домам, вновь погружаясь в свои заботы и забывая уже о том, что выгнало их на площадь. Но мало кто из них успел уйти далеко.

Яростный, истошный женский вопль внезапно потряс деревню. Из старого кирпичного дома, что стоял рядом с развалившейся башней, на площадь вдруг выскочила, потрясая кочергой, Безумная Грета. Глаза ее горели, седые патлы торчали дыбом, оскаленный рот изрыгал какие-то неведомые, страшные проклятия, доселе не слышанные тут никем. На сей раз на ней не было ни солдатского шлема, ни лат, а была лишь длинная холщовая рубаха, подпоясанная веревкой, да все та же торба с медной посудой, лягзавшей и гремящей в ней на ходу.

— Грета! Безумная Грета! — заудела толпа, удивляясь, как же они могли забыть о ней. Писец, вздрогнув, оторвал свою голову от бумаг и тоже уставился на нее. Забеспокоился, видно, и королевский лейтенант, до того безразлично и отстраненно восседавший на своем коне в холодке, под кроной старого вяза. Тронув поводья, он медленным шагом приблизился к толпе, и тотчас же к нему, тоже на конях, присоединилось с десяток его молчаливых, закованных в латы солдат, сразу выстроившихся вокруг таверны и толпы у ее дверей в полукруг.

— Прочь! Прочь, окаянные! Прочь, слуги дьяволовы! — вопила Грета. — Кто звал вас сюда? Что нужно вам, врагам истинной веры Христовой, от овец Его послушных! Люди! Гоните их вон! Порвите эти сатанинские списки! Ибо в них ваша смерть! Не к Богу понесут они эти списки, а к дьяволу! И не Бог, а князь Тьмы прислал их сюда на вашу погибель!

Толпа расступилась. Ворвавшись в самую ее середину, Грета закружилась, завертелась волчком на одном месте, как крылья, раскинув исхудалые свои руки и бормоча под нос себе какие-то заклятия. Глаза ее закатились, на губах выступила пена, а тело билось и сотрясилось в судорогах, и казалось, что еще немного — и она грохнется оземь и тогда случится что-то страшное, что-то небывалое, и померкнет день, и наступит вокруг ночь.

— Чур! Ах, ах, ах... Чур меня! — повторяла она, все ускоряя и ускоряя свое вращение. — Изыди, враг, изыди, Сатана! Изыди, ловец душ человеческих! Ищи своих мертвецов не здесь! Святый Боже, святой крепкий! Заклинаю тебя! Спаси детей Своих! Неповинны пред Тобой они!

Не только толпа, но и оба писца, и лейтенант, и его солдаты, не отрываясь, как замороженные, смотрели на это дикое, нарастающее вращение, ожидая чуда. Но чуда не было. А были лишь гортанные вопли, и хрип, и проклятия беснующейся старухи, неожиданным появлением нарушившей вдруг исполнение ими своей нелегкой службы.

Первым опомнился лейтенант.

— Это кто? — с явным испанским акцентом спросил он, склонившись с коня, притихшую толпу. Толпа молчала. — Это кто? Кто-нибудь знает ее? — повторил он свой вопрос.

— Грета! Безумная Грета. Божий человек! — решился наконец ответить кто-то из собравшихся у трактира.

— Повесить! — коротко бросил лейтенант и тронул поводья своего коня.

Мгновенно двое его солдат, соскочив на землю, заломили Грете руки за спину, а третий воткнул ей в глотку кляп. И никто и глазом не успел моргнуть, как, откуда ни возьмись, появились два длинных обструганных бруса, и молоток, и гвозди, и топор, стремянку же и табурет услужливо вынес из дому хозяин трактира. Не пришлось искать и веревку — сгодились та, которой была перепоясана Грета. Не хватало теперь только верхней перекладки, да еще надо было выбрать подходящее место, где установить виселицу, чтобы она была видна отовсюду и в то же время не мешала никому.

Взгляд лейтенанта упал на крест, вкопанный перед церковью — на том месте, где месяц назад были сожжены кумиры и идолы, выброшенные из нее. Лицо его выразило недоумение.

— Это что? Почему он здесь? Здесь ему не место.

Но вопрос его повис в воздухе. На сей раз никто из толпы и вовсе не решился ничего ответить ему.

— Убрать! — распорядился лейтенант. — Отличная будет перекладка. А виселицу поставить там, на возвышении! У башни. Там хорошо продувает. Пусть старая ведьма повернется теперь там.

И не прошло и получаса, как извивающееся, дергающееся тело бедной Греты заплясало под тесовой перекладной меж двух столбов, водруженных на поросшем травой маленьком холмике рядом со старой башней. Но мучилась она недолго. Окаменевшая от ужаса толпа не успела даже перекреститься, как босые ноги ее, сведенные судорогой, распрямились и повисли, словно плети, не доставая до земли, голова бессильно отвалилась набок, лицо набухло багровой синевой, а кляп, вытолкнутый, видно, последним в ее жизни криком, вместе с языком вывалился изо рта.

И закачалась, закружилась на ветру вокруг смертной своей удавки Безумная Грета! И полетела душа ее ввысь, к престолу Всевышнего. А может, и не ввысь, может, и напрямик в подземное царство, в преисподнюю отправилась она — кому то дано знать?

— Именем короля! Слушайте, жители деревни, мой приказ! — прокричал, лишь только свершилась казнь, своим громким, властным голосом лейтенант, путая испанские и фламандские слова. — Никто из вас до особого распоряжения да не смеет приблизиться к телу сей преступницы, дерзнувшей посягнуть на законную власть. Нарушившему приказ наказание — смерть! И не говорите потом, что вас никто не предупреждал!

Угрюмо и сосредоточенно, боясь шелохнуться, внимала толпа его словам. И столь неожиданна была эта казнь, и столь страшной оказалась судьба Безумной Греты, еще вчера только самой могущественной, самой почитаемой во всей деревне, что ни крика, ни слова не раздалось в толпе. Лишь сдавленные рыдания слышались кое-где среди женщин, но и они тотчас же обрывались под негодующими взглядами или испуганным шиканьем соседей и родных. И даже малые дети прекратили свою вечную возню и беготню вокруг взрослых, не в силах оторвать глаз от болтающегося на веревке тела несчастной колдуньи.

А еще через час, переписав последних и подкрепившись в трактире пивом и свинойной с вертела, уехали и писцы, и королевская стража со своим грозным лейтенантом. И опять наступила в деревне тишина.

А в это время в заброшенном амбаре, спрятанном в густом подлеске, среди крапивы и буйно разросшихся зарослей боярышника, Питер Брейгель, растянувшись на соломе, ждал свою возлюбленную, недоумевая, куда она могла запропаститься. С некоторых пор он предпочитал не заходить в деревню, а каждый раз через скошенный луг и болотце пробирался прямо сюда, в амбар, и здесь поджидал ее.

Обычно она не опаздывала. Но сегодня прошло уже часа два, не меньше, как колокол на колокольне пробил полдень, а ее все не было. Он даже успел задремать немного, ожидая: так прохладно, так покойно было в дальнем углу амбара, куда не доставал солнечный свет, и так мирно щебетала за застрехой, на провалившейся крыше какая-то птаха, что он и не заметил, как его сморил сон. Сон был тихий, без сновидений, и, проснувшись, он даже улыбнулся себе: старик ты не старик, а как привык в детстве засыпать под колыбельную, так и не покинет тебя эта привычка до седых волос. А уж кто ее поет, эту колыбельную — мать ли, птаха ли какая певчая, или просто ветерок колышет листву у тебя над головой, — это, в сущности, все равно.

Наскучив ждать, он уже подумывал было встать и потихоньку отправиться восвояси — что ж, ничего не поделаешь, не задалось так не задалось, — как скрипучая, рассыпаясь от старости дверь амбара отворилась, впуслав в его полумрак косой столб света, и на пороге, тяжело дыша и утирая пот со лба, возникла Катарина.

— Ты еще здесь, Питер? Ой, какой ты молодец... А я боялась, не дожدهшься, уйдешь...

Вновь заскрипев, дверь за ней закрылась. В полутьме, царившей в амбаре, черты лица Катарина были почти неразличимы, да и глаз ее он, ослепленный внезапным светом, брызнувшим из двери, увидеть не успел: едва пробравшись сквозь всякий старый хлам в тот дальний угол, где он лежал, она тут же рухнула на солону рядом с ним и спрятала лицо у него на груди, в вырезе его полотняной рубахи. Она не говорила ничего, только дышала прерывистым дыханием. Но то ли по влажности ее ресниц, коснувшихся его голой груди, то ли по привкусу соли у него на языке, когда она нашла наконец своими губами его губы, а может, и по легкой дрожи, сотрясавшей ее тело, прильнувшее к нему, он понял, что что-то произошло.

— Что с тобой, Катарина? Что случилось? — спросил он, чуть отстранив ладонью ее лицо от своей щеки, но другой рукой еще теснее прижимая ее к себе.

— Повесили, Питер. Безумную Грету повесили... Там, на площади...

— Как повесили?! Кто?!

— Лейтенант и солдаты его...

— Какой лейтенант? О чем ты говоришь, Катарина?

— Не спрашивай, Питер. Потом. Лучше потом... Расстегнись, иди ко мне. Ты уже давно ждал...

— Подожди, Катарина. Подожди! Нельзя же так, в самом деле...

— Как страшно было, Питер! Ой, как страшно... Если бы ты видел... Ну, иди же ко мне! Чего ты медлишь? Мне скоро опять убежать...

— Да подожди ты, говорю! Дитя! Объясни же толком: за что повесили? Как это произошло?

— Потом, Питер. Потом. Иди ко мне...

— Ну что ты все заладила: потом, потом! Потом и будет потом...

— Ты давно ждал, Питер. Что ж тебе, так и идти назад? А вдруг ты обидишься? Вдруг ты больше не придешь?.. А я? А я как же? Что же мне, тоже ни с чем обратной домой бежать?

— О Господи! Святая простота... Ну, ладно, тебя не переспоришь. Потом так потом. Дай я только башмаки скину. А ты в юбках своих разберись...

«Благословенна ты будь, Катарина! Благословенна ты будь, чудо мое, творение Божие, посланное мне в утешение на склоне лет, — думал он. — И опять ты права, дитя! Что значат казни, что значат смерть, и беды, и волнения людские, когда мы с тобой здесь? И никого здесь нет, кроме нас. И вообще сейчас никого в мире нет, кроме тебя и меня...»

Но нет — Питер ошибался, не были они одни! И она была другой, не такой, как всегда: никогда прежде не влипалась она в него так исступленно, с такой страстью, с желанием исчезнуть, раствориться в нем целиком, будто гонимая каким-

то дотоле неведомым ей, отовсюду нависавшим над нею страхом, от которого единственным спасением и убежищем для нее был он, Питер, ибо только он один и мог прикрыть и защитить ее своей спиной от всего, что было страшного в этом мире. И никогда прежде, когда все кончилось, не лежала она, бездыханная, так долго рядом с ним, закрыв глаза и бессильно вытянув руку вдоль его груди. «Вот и все, вот и не страшно ничего. Лежи, дитя! Лежи, пока мы здесь. Пока ты со мной. Как знать, что еще будет с тобой в жизни», — думал он, глядя на ее прикрытые веки и ощущая, как последние толчки, последние затухающие судороги уходят из нее...

Когда они расстались, он не пошел в город — он пошел на площадь. Ни по дороге к церкви, ни на площади ему не встретилось ни души, хотя еще был день и тусклое, будто оплавленное жарой солнце еще стояло довольно высоко. Казалось, деревня вымерла, обезлюдела, что не только люди, но и собаки из нее куда-то все исчезли и, кроме кур да черных свиней в лужах, теперь в ней больше и не жил никто.

Добротные, сложенные из красного кирпича дома, окружавшие площадь, отстраненно смотрели на мир своими наглухо запертыми дверьми и потемневшими от времени, тоже запертыми, несмотря на ранний час, ставнями своих окон. И лишь по низеньким струйкам дыма, растекавшимся там и сям над остроконечными черепичными крышами, можно было понять, что жизнь все-таки еще теплилась здесь, и кто-то там, за этими дверьми и ставнями, уже готовит для семьи ужин, и обитатели этих домов тихо сидят сейчас за столом и беседуют о чем-то о своем, а может, и просто молчат, прислушиваясь, как поднявшийся ближе к вечеру ветер шумит снаружи в кронах старых вязов, или посвистывает у них над головой в дымоходе, или постукивает в неплотно пригнанные оконные ставни, будто нищий клюкой. И уже, наверное, не помнит кое-кто из них, что случилось сегодня на площади, и порванная конская сбруя, или разошедший обруч на кадушке, или невеста откуда взявшаяся дыра на рубахе целиком поглотили его. А жена его, изгибаясь натруженной спиной, никак не может вытянуть ухватом чугунок с похлебкой из печи, а дети катаются и ползают по полу, пытаясь поймать удирающего от них котенка, а престарелые родители его тихо бормочут в углу молитвы, готовясь к грядущей своей встрече с Богом...

Ага! Вот и виселица на холме. А вот и она, несчастная Грета, пытавшаяся спасти последователей своих от когтей дьявола. Как смирно, покорно теперь висит она на длинной своей веревке! И какие жалкие, худые у нее ноги! И какие черные, задубелые от грязи и долгого хождения по земле у нее ступни... И мухи уже облепили ее лицо, и воронье уже расселось вокруг на деревьях, ожидая щедрой себе поживы... А это что за птица устроилась у нее над головой, на перекладине? Сорока? Этой-то что надо? И еще подпрыгивает, вертит своим хвостом туда-сюда, стрекочет изо всех сил, будто скликаая отовсюду всех своих подружек... Кыш, проклятая! Пошла отсюда! Здесь смерть! Понимаешь ты, смерть? Что знаешь ты о ней — ты, безмозглая тварь?

Спугнув нахальную птицу и перекрестившись на прощание, Питер было двинулся по дороге в город, но, заметив, что дверь в трактире на площади открыта, решил сперва облегчить душу глотком-другим чего-нибудь покрепче, а заодно и помянуть бедную колдунью, столь страшно окончившую свои дни. В трактире было пусто, только в дальнем от двери углу его, подперев щеку кулаком и понуро уставившись в окно, сидел какой-то человек, одетый в темное. Приглядевшись, Питер узнал в нем того самого кюре, что безуспешно пытался тогда, месяц назад, остановить беснующуюся толпу на пороге церкви.

— Добрый день, падре, — сказал он, присаживаясь за соседний стол.

— А, мой добрый самаритянин! — узнал его старый кюре, и морщинистое, гладко выбритое лицо его осветилось приветливой улыбкой. — Ты один? Садись сюда, сын мой, подвигайся поближе... Что занесло тебя опять в наши края?

— Дела, падре. Мне часто приходится проходить по этой дороге... И каждый раз, смотрю, у вас здесь что-то новенькое! Право, у вас здесь не соскучишься — не так ли, святой отец?

— Не кошунствуй, сын мой! Ты добрый католик. И, я знаю, сострадание не чуждо твоему сердцу. Не смейся над чужой бедой, не бери еще один грех на душу, добрый человек. Сегодня она. Или они. А завтра ты.

— Я не смеюсь, падре. Я скорблю.

— А коли истинно скорбишь, то не забудь помянуть в своих молитвах

несчастную женщину по имени Грета, Безумная Грета, что хотела лишь добра людям, а повлекла их за собой прямой дорогой в ад. Ибо испокон веков та дорога вымощена одними лишь добрыми намерениями! И Сатана, когда восстал против Бога, тоже хотел лишь добра. А содеял зло.

— А это вы вызвали из города солдат, падре?

— Нет, сын мой. Не я. Королевские писцы привели их за собой. А кому сейчас понадобилось переписывать людей — мне то не дано знать.

— А если... А если, падре, человек знает, чувствует в себе право вести людей? Право, данное ему Свыше? Неужто должен он заглушить в своем сердце этот зов? И не будет ли то страшный грех, хуже всех других грехов?

— Нет, сын мой! Не будет. Ибо не от Бога, а от дьявола тот зов... Никто не должен никого и никуда вести, сын мой. Вести — это дело Бога, не людей. А человеку дано лишь заботиться о себе и своих ближних, и любить их, и избегать греха, и уповать на промысел Того, чьим Именем спасется мир.

— Может быть, и так, святой отец. А только уж больно ноги у нее черные, худые — там на виселице! И висит она страшно: одна, на ветру, посреди холма... Жалко ее! Да еще и сорока зачем-то уселась у нее над головой...

— Может, это и не сорока. Может, это ее душа... Что знаем мы с тобой о смерти, сын мой? Мы, смертные, ты и я?

Брюссель уже засыпал, когда Питер затемно вернулся в тот день домой. В доме его ждал ужин. Но он и не притронулся к нему. Зайдя на минутку к детям, чтобы перекрестить их перед сном, он по скрипучей, темной лестнице, держа в руке свечу, поднялся наверх, к себе в мастерскую. И там и просидел в одиночестве чуть не до утра, глядя в маленькое слуховое оконце на спящий город, залитый равнодушным, далеким от мира и от людей светом луны.



А на свадьбу она его все-таки позвала! Как и говорила тогда: кончится жатва — и будет свадьба. А жатва кончилась. И день этот наконец пришел.

Сама же она и научила его, что сказать ее родным, чтобы никто не заподозрил ничего лишнего.

— Ты смело приходи, Питер! Не бойся ничего, — говорила она. — Ты наш дальний родственник, живешь в Брюсселе. Прослышал стороной, от людей, что будет свадьба, вот и пришел. И подарки принес — и невесте, и жениху, и родне. А про невесту ты, дескать, слышал, что добрая девушка, а видел ты ее только в люльке — мимо, помнится, проезжал. А теперь вот уже и замуж выходит, время-то идет! А гостей, знаю, будет много — отец всех зовет. Да все больше наши, деревенские, из города, может, и не будет никого, кроме тебя. А батюшке то будет честь, он тебя усадит рядом с собой, гордиться будет перед людьми: вон какой ему, старику, почет! Такой важный господин, богатый, а не побрезговал нашей простотой. Только лучше ты, Питер, пешком приходи, не надо верхом. А то больно много наши на тебя будут глаза пялить: лошадь-то у тебя небось богатая? И уздечка, и сбруя небось в серебре? А нашим дай только на богатство поглазеть — забудут и про свадьбу, и про все...

— А венчание где, Катарина?

— Как где? В церкви.

— В какой?

— В нашей! В какой же еще?

— Так вы ж ее разгромили!

— Ну, мало ли что было, Питер! Распятие-то у кюре осталось...

— Так вы ведь и его прогнали.

— Не, Питер! Не прогнали. Как жил здесь, так и живет. Батюшка ходил к нему, он сказал, что обвенчает, сказал, чтоб не тревожились — все будет, как положено. Он и на свадьбу обещался прийти...

— А ты вправду хочешь, чтобы и я пришел? А, Катарина? Ну-ка, погляди мне в глаза...

— Правда, Питер! Правда, хочу. Ты у меня... Ты у меня самый... Ближе тебя у меня никого и нет! Если ты будешь, все будет хорошо.

— А потом?

— Потом? А там видно будет, что потом, Питер... Амбар-то наш как стоял, так и будет стоять! Что ему делается? Ты не печалься, Питер. Я смышленная, все говорят. И ты еще не такой старый. У тебя и борода-то только-только начала сесть...

Странное впечатление производила эта брошенная людьми церковь! Ничего не осталось в ней после погрома, кроме голых, уже тронутых кое-где плесенью стен. Будто и не церковь то была вовсе, а могильный склеп — до того неприятно и пусто в ней было без икон, и статуй святых в нишах, и свечей, горящих перед алтарем. Темнота, холод, запах забвения и тлена, могильные плиты под ногами с еле различимыми письменами на них, которых никому уже, наверное, и не прочесть... Лишь над головой в отличие от склепа не потолок, а гульки, уходящие ввысь своды. Но и они так высоки, что снизу — задирай, не задирай голову — их не видно, а виден лишь один дымный, колеблющийся полумрак, и можно лишь догадываться, что они там, наверху, есть.

И странно было видеть в ней, в этой церкви, тех, кто еще недавно в упоении своеволия крушил здесь все, что ни попадало под руку. Смирно, понунив головы и комкая в руках шапки, стояли жители деревни перед маленьким аналоем, освещенным одной-единственной свечой, за которым, облаченный поверх сутаны в стихарь, старый йост читал Евангелие, напутствуя молодых. Все стояли! Все были тут: и старый Йост с сыновьями, и родители жениха, и соседи, и кошолапый Якоб, и другие молодцы, что так лихо разнесли тогда в щепу все копившееся веками церковное убранство. И хотя все было в согласии с древним обычаем венчания — и священник, и венцы над головами молодых, и латинские слова молитв, и двое мальчиков в белых накидках, придерживавшие длинный шлейф невестинной фаты, и ячменное зерно под ноги новобрачным, и цветы, которыми был устлан их выход из церкви, и звон колоколов, когда свадебная процессия появилась в ее распахнутых дверях, — и хотя все было так, как надо, Питер все никак не мог поверить тому, что видели его глаза. И это они? И это те же, кто тогда так истушенно плясал вокруг полыхающего костра, в котором корчились и погибали выброшенные ими же из церкви святыни? Чудны дела Твои, Господи! И кто же он есть, человек: зверь или подобие Твое?

А из церкви свадьба, радуясь празднику, и предвкушая обильное угощение, и благословляя погожий, еще по-летнему теплый день, отправилась в дом к старому Йосту, где в просторной, выметенной и вычищенной по такому случаю риге, примыкавшей к жилью, гостей уже ждал накрытый загодя стол. И хотя по недавнему королевскому указу никто и ни под каким видом не должен был сажать разом за стол более чем двадцать человек гостей, мудрый Йост устроил все так, что никто из приглашенных, вплоть до самых бедных и убогих из них, не остался в обиде и не был забыт.

За большим столом, составленным из длинных, уложенных на козлы и покрытых сверху белой скатертью досок, действительно уселось лишь столько, сколько позволялось по закону: невеста, жених, их родители и братья, их ближайшие соседи, а еще деревенский йост, и трактирщик, и кузнец, а еще и самый почетный из гостей — Питер Брейгель, важный господин из Брюсселя, дальний родственник семьи. А для всех других на дворе перед домом тоже стояли столы и лавки, и на столах кружки, и миски, и солонки, и кувшины, и лежали ложки и ножи, и всякий мог взять со стола, что он хотел, и присесть на лавку, и отдохнуть, и перекинуться словечком-другим с соседом. И в то же время все было сделано так, что никто не мог бы потом сказать, что старый Йост, нарушив закон, накрыл свадебный стол чуть не на сотню человек.

Прекрасная была свадьба! И пили гости много, и ели много, и шумели, и веселились, и пели песни, и танцевали до упаду: не поскупились хозяева — пригласили не одного, а сразу трех волынщиков, да еще слепого скрипача, да еще какого-то другого слепца, который, сидя в углу на табурете, все время отстукивал ладонями такт в свой туго натянутый бубен. А как сияли глаза невесты из-под откинутой вверх фаты! Как польхали ее раздумяившиеся, крепкие, как два налитых яблока, щеки! И каким смешным — истукан, истинно истукан! — казался ее суженый, здоровенный малый с тяжелыми, нависшими над столом плечами: как оставил, разинув рот, на свою невесту, так и не сводил глаз с нее до самого конца, пока свадьба веселилась и пировала вокруг них.

А каких только подарков не надарили молодым и их родне щедрые гости! И

сукна, и простыни, и перину, и посуду, и другую разную утварь, нужную в хозяйстве, а кто и ягненка, а кто, победнее, и просто петуха, либо гусыню, либо корзину яиц — всего не перечесть! Но всех превзошел гость из города: этот — знай наших! — подарил новобрачным тяжелый кожаный кошелек с золотом. А сколько их было, золотых монет, в том кошельке, того, как ни просила свадьба, ни молодые, ни родители их не сказали никому.

И с угощением хозяева постарались на славу. Сначала разнесли по гостям глиняные миски с кислым молоком и плошки с выпеченными в масле, похрустывавшими на зубах оладьями, а потом в больших медных тазах выставили на столы курятину, и рыбу, и жареную свинину, и свинные потроха в густой, обжигающей рот подливке, а потом были сладкая, тушенная на меду репа, и яблоки, и варенье, и овсяный кисель. И каждый брал себе, сколько вмещала его утроба, и запивал белым вином из кувшинов или пивом из огромной, поставленной на попа дубовой бочки, что, расщедрившись, подарил на свадьбу хозяйин трактира на площади. И чем больше пили гости, славя молодых, тем больше разгоралась их жажда, и тем шумнее становился их беспечный застольный разговор, и тем свободнее — и над столом, и под столом, там, где колени касались колен — делались их руки.

А под ногами у взрослых — и в риге, и на дворе — ползала, и визжала, и тузила друг друга детвора, и обнималась с мохнатыми, терпеливо носившими все от нее собаками, и, не страшась подзатыльников, совала свои обсосанные, перепачканные землей пальцы в тазы и кувшины, пробуя, что в них такое есть. А когда принесли каленые орехи, восторгу детворы и вовсе не стало никаких границ; ребятишки горстями таскали их из выставленных на столы мешков и тут же с треском грызли их зубами или кололи на камнях, а потом кидали друг в друга и во взрослых скорлупой, норовя попасть ею кому за шиворот, а кому и в глаз.

И по праву гордился старый Йост такой богатой и веселой свадьбой! По праву гордился он единственной своей дочерью — доброй, послушной девушкой, здоровой и работающей, что выросла под родительским кровом, как цветок в саду, а теперь распустилась во всей своей красе на радость и ему, старику, и родным своим, и людям. По праву гордился он и зятем — добрый будет хозяин, добрый работник! — и новой своей родней, богатыми, уважаемыми людьми. А что в другую деревню пришлось отдать дочь, так тоже не беда: вон она, та деревня, рукой подать, надо только канал по мостику перейти да пройти потом по берегу с полверсты. И по праву гордился он, старый Йост, приданым, что удалось собрать за дочерью, и подарками, что надарили гости: всем бы молодым начинать с такого жизнь — хоть сейчас свое хозяйство заводи! А еще гордился старый Йост почетом, что на закате его дней люди оказали ему: вся деревня собралась у него на дворе, никто не пренебрег, и кюре пришел, и из города вон приехала родня, да еще важный какой, богатый господин! А вместе с ним гордилась и тихо радовалась удавшейся свадьбе его незаметная, рано увядшая в трудах и заботах жена, мать его детей, что сидела на лавке рядом с ним, улыбаясь всем и лишь укладкой, чтобы не видел никто, смахивая слезу.

И беседа за столом, накрытым в риге, текла почтенная, подобающая столь торжественному случаю: о том, что осень будет, видно, дождливой и что урожай нынче неплох, да цены в городе опять упали, так что налог оплатить и нынче будет нелегко, а слышно, испанцы опять придумали что-то новое, говорят, будут с каждой деревни теперь людей требовать — дороги мостить да мосты чинить (за тем, мол, и переписали всех), а по сколько человек с деревни и на какой срок, то неизвестно пока; и что молодежь нынче не та пошла, все гулянки у нее на уме да танцы, а по хозяйству и не радеет никто; и что нищих бродяг больно много вокруг развелось, шатаются повсюду, народ пугают, и лучше на ночь теперь запираться от лихих людей; и что от простуды первейшее дело — отвар шиповника пополам с настоем зверобоя, только надо его на ночь пить, чтобы получше пропотеть; и что в той деревне, откуда жених, был случай, корова принесла двойню, а в нашей-де такого и не бывало никогда.

А кто повеселее, тот и над молодыми не прочь был подшутить, поскалить зубы: про первую ночь, им предстоящую, да про то, зачем-де им такая мягкая перина, когда им в первый раз и на голых досках должно быть хорошо, да про то, сами ли они обойдутся или надо кому их научить, как это делается, и много про что еще, отчего они лишь краснели да клонили, не глядя друг на друга, головы свои вниз.

Но вот что было странно: никто из всей свадьбы ни словом не помянул ни

Безумную Грету, ни идолов, сожженных на костре, ни новую веру, пришедшую в деревню! Почему? Потому ли, думал Питер, чтобы не портить праздник? А может быть, из почтения к старому, крестившему их всех кюре, что сидел тут же рядом со всеми за столом: он-то, добрая душа, в чем виноват, коли наступили новые времена? А может быть, и просто потому, что забыли уже они, как дети малые, обо всем?

— А что, святой отец, — низко наклонился Питер к уху сидевшего боком к нему кюре, пытаясь преодолеть многоголосый шум и гомон веселившейся вокруг свадьбы. — А что, святой отец, может ли человек уповать на милость Божию и на прощение Его в грехах своих, коли грешил он в жизни лишь по неведению человеческого да по темноте своей, а не со зла? Разве равна вина тех, кто не ведает, что творит, вине обдуманной, намеренной? Вине тех, кому дано знать?

— Думаю, равна, сын мой, — вздохнув, отвечал ему старый кюре, медленно перебирая в своих худых, скрюченных от старости пальцах янтарные четки. — Грех не от незнания! Грех от пренебрежения. Не надо знать, чтобы избежать греха, а надо лишь слушать сердце свое. Ибо в сердце каждого человека от рождения его тлеет Божественный огонь — огонь милосердия. Да не всякий ощущает его в себе, не всякий слышит свое сердце... А почему ты спрашиваешь, сын мой? Что навело тебя на эту печальную мысль среди столь простодушного веселья, столь чистой радости в ближних твоих?

— Страшно мне за них, падре...

— Молчи, сын мой! Молчи. Сейчас их радость, их день. А что дальше с ними станет — кто может то знать? Может, и здесь все забудется, все простится. А нет... А нет — ну, что ж! На все воля Божия, сын мой...

Но свадьба шла, и все громче становились голоса гостей, и все чаще, пресытившись обильной едой, икали и рыгали они, бросив ложку и тупо уставившись перед собой ословелыми, невидящими глазами, и все чаще стучали они глиняными кружками о стол, требуя еще вина. И не раз уже и в риге, и на дворе вспыхивало нестройное пение, когда двое-трое из самых подвыпивших гостей, мыча, и обнимаясь, и покачиваясь из стороны в сторону, затягивали вдруг во всю глотку разудалую песню, и кое-кто из женщин пронзительно и высоко, на пределе своих голосов, тотчас же подхватывал ее, стараясь забежать вперед и переголосить всех. Но, грянув, песня та после первых же, самых знакомых всем слов каждый раз тут же и затихала, превращаясь в невнятное, хмельное бормотание, заглушаемое шумом и криками других гостей. Ибо не песнями славилась эта деревня, и не было в ней настоящих, знающих толк в песне певцов, а славилась она другим — своей охотой и умением танцевать, только привелась к тому какой случай.

И вот когда уже всем стало невтерпех, когда многие из гостей начали притоптывать ногами, и прищелкивать пальцами, и оглядываться по сторонам, горя желанием пуститься наконец в пляс, тогда и задудели, и заиграли во всю мощь все три волынщика, а с ними и слепой скрипач, а с ними и другой слепец, с бубном. Мигом опустела рига, и мигом опустели столы, выставленные перед домом: все повскакали со своих мест, отшвыривая ногой лавки, и, смеясь и таща друг друга за руки, бросились во двор, а оттуда и еще дальше — на улицу, на дорогу, на сохранившуюся кое-где по сторонам ее зеленую траву, что пощадил, не сжег еще до конца августовский зной.

И заметались повсюду красные, лихо заломленные набекрень шапки с воткнутым за ленту петушиным пером, и замелькали суконные, распахнутые во всю грудь поддевки и плотно, как шкура на барабан, натянутые на ляжки штаны, и закружились белые крахмальные чепцы, и фартуки, и разноцветные, колоколом вздымавшиеся вокруг ног юбки. И закачались в топоте и тесноте раздутые от пива мужские животы, и заколыхались необъятные, обвисшие чуть не до пояса женские груди, и задрожали, выпирая из-под юбок, их мясистые, откормленные зады. И торчали, бесстыдно выдаваясь вперед, туго налитые рвущейся наружу плотью гульфики в штанах и у безусых юнцов, и у почтенных отцов семейств. И наступали, надвигались на них столь же бесстыдно изгибавшиеся навстречу бедра и животы плясавших перед ними женщин, и упирались голые по локоть руки их в крутые, в толстых складках бока, дразня и вызывая на грех избранников своих. И крутились они, и задирали призывно юбки, и вертелись, помахая платочком вокруг них, своих избранников, подгоняемые их увесистыми, гулками шляпками пониже спины, и висли у них на шее, не стыдясь никого, и дышали друг на друга вином, и

целовались жадно, взасос, торопясь ухватить все свое от жизни. Носатые, курносые, худые, толстощекие, ловкие и неуклюжие, старые и молодые — все смешались в этом самозабвенном топоте и гвалте, толкаясь, и смеясь, и отскакивая друг от друга, и поднимая над собой тучи пылью своими башмаками, сменившими по случаю праздника их неизменные деревянные сабо.

Но как же корявы, как грубы были они! И как безобразны, как отталкивающие были их потные, искаженные вином, и похотью, и тупым сосредоточенным усердием лица... Искаженные? Почему искаженные? А что, в другое время они были иными? И был ли когда-нибудь иным, осмысленным и одухотворенным, их взгляд? И была ли когда-нибудь не хриплой, не отрывистой, не пересыпанной бранью их речь? И была ли когда-нибудь легкость в их косолапой, переваливающейся походке, и были ли когда-нибудь прямыми их ноги, а не выгнутыми колесом?

О, как отвратителен этот кривоногий, брюхатый, как бурдюк, толстяк с его заплывшими салом свиными глазками и штырем торчащим вперед гульфиком, вцепившийся обеими руками в мощный зад своей избранницы! Или этот жилистый, мосластый ухарь с кинжалом на боку, с хищно ощеренным ртом и водянистыми, нагло взирающими на мир глазами из-под белесых ресниц — небось гроза и смертный ужас всех деревенских девок, а то и кое-кого из их почтенных матерей. Или эта распутная, длинноногая, расхристанная молодка, что, задирая ноги и сверкая ляжками, несется за ним вскачь, увлекаемая его ухватистой, цепкой, как кузнечные клещи, рукой. Или этот мордастый парень за столом, развлекающийся тем, что всею растопыренной пятерней — в лицо, в пустые глазницы — вновь и вновь отталкивает еще одного неизвестно откуда взявшегося здесь слепца, жадно тянущего свои руки к кувшину с вином. Или ползающие, копошащиеся в пыли на своих коротких костыликах трое безногих калек, плаксивыми голосами вымаливающие себе у гостей в подаяние денежку или какой кусок со стола... Все отвратительны! Все!

«Боже милостивый! Господь всемогущий! Так что же я должен — любить или ненавидеть их всех? — думал Питер, сидя со своей кружкой пива у одного из столов, вынесенных во двор. — Но за что их любить? Но и за что их ненавидеть? Чем виноваты они перед тобою, Господи? Тем, что родились на свет? Тем, что так тяжка и безысходна их жизнь, и нет в ней просвета, и нет в ней ничего, кроме непосильных, изо дня в день трудов, и иссушающих душу забот о куске хлеба, и страха перед стихиями земными, и болезней, и зависти к удачливому соседу, и только редких минут забвения, когда можно, плонув на все, обо всем забыть и пуститься в пляс? Но разве понять — это и значит простить? А как можно простить им их уродство, и этот хрип из их луженых глоток, и грязь, и смрад от их потных, месяцами не мытых тел, и их животное равнодушие ко всему, и алчность, и тупую покорность жизни? Это-то как простить? Презираю, Господи! Презираю, и сострадаю, и скорблю о них. Прости мне, Отец Небесный, гордыню мою! Но иначе не могу...»

— А! Наддай! Наддай жару, кума! — продолжала плясать и буйствовать вокруг него свадьба. — Шевелись! Шевелись, тебе говорят! Не бойся, кума, не растрясешь! А растрясешь — еще слаще будет! Шевели, шевели ногами, тумба! Поворачивайся! Эх! Не мне с тобой сегодня ночевать! Уж я бы тебе всадил!

— Как же, всадил! А всадить-то у тебя есть чем? Что-то не больно видать, чего у тебя там есть... Ты давай своей всаживай! А я не про тебя. Утонешь! И не вытащишь тебя потом!

— Ох, ведьма! Ох, злая баба! Ну, погоди, кума! Привалю я тебя как-нибудь! Посмотрим, что тогда запоешь!

Но когда, потупив взор, вышла в круг невеста, гомон и топот множества ног сразу стихли, и даже самые ретивые из плясавших расступились, освобождая место для нее. Легонько взмахнула она кружевным платочком над головой, призывая тишину, и плавно, лебедем поплыла по кругу под приглушенные звуки волынки и мелкий, дребезжащий звон бубна. И нельзя было отвести глаз от нее: до того румяной, и толстощекой, и пышущей здоровьем казалась она, и до того скромной, и до того счастливой новым своим счастьем, что гости лишь цокали языками в восхищении, и хлопали в ладоши, и низко кланялись ей, когда она, притоптывая башмачками и помахивая платочком, замедляла свое плавное скольжение возле кого-нибудь, приглашая его за собой. Но только лишь самые отчаянные, самые

разгулявшиеся из гостей, не выдержав, высказывали в круг, откликаясь на ее зов. Но и они, описав вокруг нее дугу, и откинув два-три коленца, и крикнув что было сил: «Ах, давай! Давай, принцесса! Жми, Катарина, свет ты наш, жми!» — тут же возвращались в толпу, напряженно, вытянув шеи, следившую за тем, что происходило перед ней.

Не миновала она и Питера. Подплыв, покачиваясь, к нему, она поманила и его в круг и протянула ему руку с новеньким обручальным кольцом на пальце, и он вынужден был последовать за ней, смущенно улыбаясь и озираясь вокруг.

— Питер, ты рад за меня? — беззвучно говорили ее губы, когда он, вытянув руку, бережно, на отстранении, обводил ее вокруг себя, а сам лишь переминался на месте в такт музыке.

— Рад, дитя! Рад, чудо мое.

— А ты будешь ко мне ходить? Долго будешь?

— Буду, Катарина! Буду! Но как? И когда?

— Немного погоди, Питер. С недельку погоди. А потом приходи.

— А куда?

— А туда же! В амбар.

— А как я буду знать, что ты придешь?

— А ты сначала просто так приди. И коли найдешь в соломе вот этот платочек, значит, я на другой день приду. Непременно приду! И буду тебя там ждать...

А наплясавшись до упаду и выпив все вино и все пиво, которое только было у старого Йоста, свадьба двинулась в другую деревню, в дом жениха, что стоял по ту сторону канала.

По всей улице, мало что не по всей деревне, растянулась веселая свадьба. Вперед, ни на миг не прекращая дудеть в свои волынки, шли волынщики, а за ними на шаг-другой сзади тащились оба слепца, один со скрипкой, другой с бубном, увлекаясь мальчишками за полы их поддевок. А за ними шли старый Йост с сыновьями, и отец жениха, и дружка жениха, и подруги невесты, и самые почетные, самые уважаемые из гостей, и все веселые, и хмельные, и разодетые в пух и прах. А посреди шествия двое сосредоточенных, гордых своей должностью подростков, с кинжалами на боку и набитыми всякой нужной всячиной сумками через плечо, вели медленно, павой выступавшую меж них невесту, уже сбросившую фату, но зато, несмотря на зной, натянувшую на себя все, что годами копилось, дожидаясь своего часа, у нее в сундуках. А вокруг невесты многоцветным бабьим кольцом шли дородные деревенские мамушки и кумушки, сложив на животе руки, и поводя глазами по сторонам, и зорко блюда нерушимый свадебный чин. А уж за ними, горланя песни, и рыгая, и отправляя на ходу малую нужду, валила вся остальная толпа.

А когда свадьба добралась наконец до развалин старой башни и перед нею во всей своей устрашающей красе открылась виселица, на которой, как и много дней назад, болталась несчастная Грета — только уже сохшаяся под солнцем, почерневшая на ветрах, с пустыми глазницами, выклеванными вороньем, и голым черепом, и лошадиными зубами, оскаленными в смертной улыбке, — пуще прежнего задудели волынщики в свои волынки и пуще прежнего загорланила разгулявшаяся толпа. А самые озорные, самые веселые из всех, обнявшись за плечи, вновь затоптались, закружились в танце чуть не под самыми ее ногами, что по-прежнему с глухим стуком костей раскачивались, вращаясь то в ту, то в другую сторону, у земли. А косолапый Якоб, приметив на перекладине над Гретой нахальную сороку, с любопытством взирающую на пляшущих, и веселящихся, и кривляющихся у самого подножия виселицы людей, схватил где-то длинную жердь и, дурашливо гаркнув, прогнал ее, чтобы не смущала она, проклятая птица, честной народ.

А двое других молодцов, перегрузившись, видно, вином, и столь обильным угощением за столом, спустили с себя штаны и устроились тут же, в кустах рядом с виселицей, выставив на свет свои мучнисто-белые, распираемые от натуги зады.

И от всего этого накатила на Питера Брейгеля, старшину гильдии живописцев, черная, никогда дотоле не испытанная им тоска. И, отстав незаметно от двинувшейся дальше свадьбы, побрел он, понурился голову, по дороге в Брюссель, к себе домой.



Не раз и не два потом приходил он из города в тот развалившийся, спрятанный в густых зарослях боярышника амбар на краю деревни. Но не было в ворохе перепревшей соломы в его углу заветного белого платочка, как бы тщательно, не доверяя своим глазам, он ни ворошил, и ни переворачивал, и ни разбрасывал ее.

Наступила осень. Пошли дожди, желтый лист со старых вязов, выстроившихся вдоль дороги из Брюсселя, все плотнее и плотнее укрывал землю, а никакого знака и никаких следов, что она, Катарина, приходила в амбар, обнаружить он не мог. И давно уже привыкнув в жизни больше терять, чем находить, он почти смирился с мыслью, что и это уже было, что и это прошло и не вернется больше никогда.

Но однажды угасшая было надежда вновь неожиданно воскресла для него. И именно в последнее, как он думал, посещение амбара — последнее, потому что дух его окопчательно увял, и сам он себе стал казаться смешным, и таскаться туда без всякого толку и смысла у него уже больше не было никаких сил. Однако в этот раз, едва он, пробравшись в дальний угол амбара, привычно наклонился над ворохом много раз уже ворошенной-переворошенной им соломы, как глаз его сразу ухватил что-то белое, торчавшее из побуревшей от времени соломенной трухи. А вытащив это белое на свет, он увидел, что держит в руках тот самый кружевной платочек, которым она тогда на свадьбе, танцуя, помахивала над головой.

Так, значит, не все еще ушло, не все потеряно? И значит, она была здесь? И завтра она будет ждать его, и завтра он наконец опять увидит ее здесь, в амбаре, на соломе, как всегда?

Нечего и говорить, что всю эту ночь он почти не спал, ворочаясь с боку на бок, и, лишь рассвело, стал собираться в дорогу, набивая свою сумку всем, что могло порадовать ее, и торопясь исчезнуть из дому, пока не проснулись его домашние и пока не начали, зевая, подтягиваться в мастерскую его заспанные и нечесаные ученики.

День был холодный. Но было сухо. И даже кое-где в лужах на дороге похрустывал по краям под ногами у него тонкий, только-только успевший нараститься за ночь ледок.

Ах, как он спешил! Как спешил! Как будто и не было ему сорока с лишним, и не было у него в бороде седых волос, и не мучили его одышка и боли в боку, отдававшие во все печенки, особенно при быстрой ходьбе, и не видел, не знал он уже в жизни всего, что полагалось человеку в его возрасте видеть и знать. Еще холм! Еще ложбина! Еще одна купа почти уж облетевших деревьев — и вот они, остроконечные крыши ее деревни! И дымок, вьющийся кое-где из труб, и колокольня, и болотце, и густые заросли кустарника за ним, где стоял, невидимый с дороги, тот самый, столь дорогой его сердцу амбар!

Но... Но вдруг за последним перед деревней поворотом дороги громкий повелительный оклик остановил его. От неожиданности Питер вздрогнул: перед ним стояли двое неизвестно откуда взявшихся тут солдат, вооруженных до зубов и одетых в черно-желтые цвета фламандской городской стражи. Вид их был как нельзя более грозен, и по тому, как звякнули их латы и как твердо стукнул один из них — видимо, старший — о землю копьём, Питер понял, что стоят они тут не случайно и объяснений ему с ними не миновать.

— Куда? — тяжело, исподлобья окинув его подозрительным взглядом, спросил старший.

— Туда. В деревню.

— Зачем?

— У меня там дела.

— Туда нельзя!

— Почему? Что произошло?

— Нам запрещено вдаваться в объяснения. Нельзя! Приказ начальства.

— А кто-ваше начальство?

— Господин герцог Альба. И господа магистрат.

— Я член магистрата. Значит, я и есть ваше начальство.

— Да? Смотри ты... А чем ты можешь это доказать?

Хорошо, что, собираясь, он не забыл в последнюю минуту сунуть на всякий

случай в карман куртки этот серебряный жетон с городским гербом Брюсселя, удостоверяющий высокий ранг и законные полномочия его владельца... Как чуяло его сердце! А иначе пришлось бы ему, несолоно хлебавши, возвращаться назад — этих свирепых сторожевых псов ему бы не переспорить ни за что.

Порывшись, Питер вытащил на свет эту серебряную пластинку и показал ее им. Медленно, недоверчиво повертев ее перед глазами и убедившись, что все так и есть на самом деле и перед ним действительно стоит член городского магистрата, старший, отставив в сторону копье, махнул рукой:

— Проходи...

Но Питер даже не успел дойти до того места, где от дороги отделялась маленькая, едва заметная в уже пожухшей болотной траве тропка, которая вела к зарослям кустарника и спрятавшемуся в них амбару, как новый оклик часового остановил его. Вся процедура с предъявлением спасительной серебряной пластинки повторилась вновь.

Нет, что-то неладное происходило в деревне! Нельзя было идти в амбар. Надо было сначала понять, что же здесь стряслось.

И он не ошибся. В деревне действительно творилось что-то странное.

Вся она была полна солдат, а население ее от мала до велика толпилось на площади, возле церкви, окруженное со всех сторон закованной в латы и опитинившейся лесом копий стражей на гладких, раскормленных конях. И... И виселица! И не одна, а целых пять, только что, видимо, сколоченных и установленных полукругом на холме, рядом с еще болтавшейся на веревке несчастной Гретой, вернее, тем, что осталось от нее. И гул — неумолчный гул тревожных голосов, висевший над площадью, и женский плач, и всхлипывания, и повторяемые в смертном страхе слова молитв: «Господи, спаси! Господи, помилуй нас!» И еще — стоящие чуть в стороне со связанными за спиной руками десятка полтора мужчин в одних лишь белых рубахах, поеживающихся от холода, а вокруг них солдаты с обнаженными клинками, упирающимися им в грудь. А среди них, связанных, и старый Йост с сыновьями, и косолапый Якоб, и все другие молодцы, что были тогда, в тот злосчастный день, в воинстве мятежной Греты. А поодаль от них в одиночестве, понуриив свою седую голову, старый деревенский кюре с распятием в дрожащих от старости руках. А еще чуть поодаль, восседая на гордо изогнувшем свою крутую шею жеребце, тот самый лейтенант-испанец в красном камзоле и шляпе с пером, что так решительно распорядился тогда судьбой Безумной Греты. А рядом с ним, тоже на лошади, уже знакомый всем городской писец в черном, с длинным пергаментным свитком в руках. И еще рядом с ними — некто пеший в перепоясанной веревкой монашеской рясе и с капюшоном, надвинутым на лоб.

Как громом пораженный, Питер, онемев, смотрел из-за сомкнутых солдатских спин, что же будет дальше. А дальше было вот что, и не дай Бог — слышите? Не дай Бог! — то, что было дальше, кому-нибудь когда-нибудь увидеть вновь.

Писец на лошади вдруг поднял руку, требуя тишины. А когда толпа смолкла, он тусклым, равнодушным голосом зачитал, водя пальцем по развернутому свитку, указ:

«Именем его величества короля! Облеченный доверием короны и соответствующими законными полномочиями, я, герцог Альба, правитель Нидерландов и Брабанта, повелеваю: зачинщиков сего преступного мятежа, выразившегося в неслыханном богохульстве и кошунственном оскорблении и уничтожении Божественных святынь, казнить смертной казнью через повешение, дабы никто впредь во вверенных мне провинциях не дерзнул ни помыслом, ни действием посягать на священные устои нашего государства и на спокойствие мирных подданных его величества короля Испании и Нидерландов. Приговор окончательный и, согласно с приданными мне чрезвычайными полномочиями, обжалованию и дополнительным судебным процедурам не подлежит. Одновременно поручаю префекту города Брюсселя принять на месте, в зависимости от обстановки, все необходимые меры по восстановлению порядка и искоренению мятежа».

— Выполняйте! — махнул рукой, не сходя с коня, лейтенант.

И сейчас же вся многоголовая, пораженная смертным ужасом толпа закричала, заголосила, забила в рыданиях и попыталась было прорвать кольцо выставленных ей навстречу стальных копий. Но солдаты отбросили ее назад. И тогда толпа вся, как один, рухнула на колени, подчиняясь силе, захлебываясь в слезах и простирая к лейтенанту руки свои в мольбе:

— Пощады! Пощады, ваша милость! Ради Господа нашего Иисуса Христа! Ради муки Его смертной на кресте!

Но лейтенант был непреклонен. Глядя отсутствующим взглядом куда-то вдаль, поверх голов, он лишь еще раз досадливо дернул рукой:

— Выполняйте. А людей этих отогнать! Прочь! Пусть не мешают правосудию.

Подталкивая толпу острыми концами копий, конная стража оттеснила ее еще дальше от осужденных. А пешие стражники, разбив этих несчастных, обреченных смерти, по трое, погнали их, словно пастухи стадо баранов, на холм — туда, где в лучах тусклого осеннего солнца рядом с последним пристанищем Безумной Греты, уже почерневшим от дождей, белели свежееобтесанные, установленные там всего лишь час назад новые виселицы.

Первыми повесили на одной перекладине старого Йоста и его двоих сыновей. Только одно лишь прслабление и вышло им: с позволения не слезавшего с коня лейтенанта-испанца старый кюре дал каждому из них приложиться на прощание губами к распятию. Но даже произнести приличествующие столь скорбному случаю последние слова напутствия ему не было разрешено.

Солдаты вмиг затянули петли на горле у всех троих и в ожидании приказа застыли позади казнимых, держа в руках концы перекинутых через перекладину веревок. И не смог старый Йост, расставаясь с жизнью, даже обнять в последний раз молча стоявших рядом с ним дорогих сыновей своих, ибо руки и у него, и у них были туго скручены за спиной. И лишь одно и успел он, благочестивый и смиренный труженик, произнести прежде, чем лейтенант махнул платком:

— Прощай, жена! Прощайте, дети мои! Прощайте, любезные соседи! Господи! Вручаю тебе душу свою! А вины моей пред Тобою нет...

А другим же и вовсе не дали ни слова прощального сказать, ни сотворить последнюю в их жизни молитву. Ибо не выдержал косолапый тугодум Якоб, поняв наконец, что ожидает его, и заревел, словно бык, и разорвал одним движением своих могучих плеч путы, связывавшие его, и раскидал, как щенков, стражу вокруг себя, и даже попытался было в два огромных прыжка прорвать цепь солдат и убежать от своей смерти. Но был тут же, на месте, заколот копьем, с размаху брошенным чьей-то недогнувшей рукой и вонзившимся ему прямо в сердце.

И тогда лейтенант, раздосадованный оплошностью солдат, приказал вбить всем осужденным в плотку кляп, и затянуть еще ту же веревки у них за спиной, и отогнать от них старого кюре с его распятием. И так, с кляпами во рту, и были повешены все одиннадцать из них, еще оставшихся в живых, повешены все разом, единым рывком за стяннутые у них на шею веревки по взмаху платка застывшего на коне, словно изваяние, лейтенанта-испанца. И еще приказал лейтенант вздернуть вместе с ними на веревку мертвое тело косолапого Якоба, дабы и он, мятежник, не смог таким своим вызывающим и противоправным поступком избежать вынесенного ему законной властью приговора.

А когда заплясали, погибая от смертного удушья, тела казненных под тесовыми перекладинами, и засучили они ногами, и захрипели, испуская последний свой вздох, охнула площадь, и застонала, и завывла в отчаянии, ужасаясь столь страшному их концу. Самых лучших, самых достойных людей в деревне отравила власть на виселицу — одним махом, без всякого разбирательства и суда. И кто из них, несчастных жителей деревни, мог помешать свершиться этому черному злодейству? И кто мог защитить их, казнимых, от грозно оцетинившихся копий городской стражи, и ее мечей, и этого свирепого, равнодушного ко всему лейтенанта-испанца, для которого жизнь человеческая значила, видно, не больше, чем жизнь случайно раздавленного комара? Сколько семей осиротело в одночасье, в скольких домах не стало теперь хозяина... И кто будет теперь кормить эти семьи, и кто будет работать в поле, и землю пахать, и подати казенные платить? Все страхи жизни разом вдруг обрушились на жителей деревни, и не стало им защиты ниоткуда, и сжались, и замерли, пораженные внезапно свалившейся на них бедою, их сердца. А из-за чего? Из-за какой-то жалкой кучки размалеванных досок, сгоревших в огне, да нескольких расколоченных в щепки языческих божков... О Господи! Смилуйся! Где же милосердие Твое?!

Вся казнь заняла не больше получаса. И некоторые из согнанных на площадь уже было двинулись расходиться, крестясь и страшась даже обернуться на то, что высилось теперь у них за спиной, на том холме смерти. Но оказалось, что и это было еще не все.

Прежде всего никому из собравшихся на площади не было дозволено уйти. А те, кто пытался самочинно пробиться сквозь сжимавшее толпу кольцо солдат, были загнаны назад ударами тупых концов копий, как град, обрушившихся на них. А когда спокойствие, а вернее, мертвое оцепенение толпы было восстановлено, в гущу ее с четырех сторон по команде лейтенанта-испанца вдруг врзались пешие стражники, выхватывая из рук матерей их завернутых в пеленки грудных детей и отрывая от их юбок другую ребятню, постарше, преимущественно тех, кому по виду нельзя было дать больше трех-четырёх лет. А в это время остальная стража, рассыпавшись по деревне, принялась выламывать в домах запертые на засовы двери, а где они не поддавались, то и выбивать окна, и тоже вытаскивать отсюда оружие, ревущую, упирающуюся детвору. Иные опасливые родители ведь и сами не пошли на площадь, надеясь отсидеться за наглухо закрытыми от всех дверьми, и детей своих, чужая беду, попрятали по разным потаенным норам и щелям, где, как казалось им, нельзя их было отыскать никому. Никому! Но не правосудию и верным слугам его.

О, какой страшный, какой истошный крик взметнулся над площадью! Обезумевшие матери, бросившись на копья, прорвали оцепившее их кольцо солдат. И не думая уже о себе, и не страшась ничего, и видя перед собой лишь отчаянно вопящих от ужаса и боли своих детей, которых волокла от них грубая солдатская рука, они кидались на стражников, и вцеплялись им в лица и в бороды, и рвали их добычу у них из рук, и падали на землю, сраженные тычком кованого сапога в грудь или ударом меча плашмя по спине либо по голове. Но и сраженные, они продолжали, не переставая, кричать, и вопить, и выть утробным, звериным воем, и умолять солдат, и хватать их за ноги, за колени, за обнаженные мечи, и ползти за ними вслед. А когда солдатам удавалось наконец отбиться от них, то они кидались к лейтенанту-испанцу и, вцепившись в его стремена, протягивали к нему руки, умоляя его смилостивиться и отдать им назад их не повинных ни в каких грехах детей. Но лейтенант, брезгливо морщась, лишь отталкивал их от себя и от коня носками своих сапог.

— Стоять! Приказываю стоять! Иначе за неповиновение смерти! — прогремел над площадью его гортанный, чуждый фламандскому уху голос. — Слушайте, жители деревни, приказ господина начальника городской стражи, принятый во исполнение воли его величества короля! Писец, читай!

Бледный, тоже, видно, чуть не до обморока потрясенный происходящим, писец развернул дрожащими руками другой свиток и, запинаясь, зачитал:

— «Приказываю: в справедливое отмщение за поругание Божественного образа Господа нашего Иисуса Христа и за новую смерть Его, Божественного младенца, от рук человеческих, свершенную по наущению дьявола жителями сей деревни и выразившуюся в кощунственном отбитии Его сияющей Главы и бросании Ее на муки и погибель в огонь, предать в означенной деревне всех младенцев мужеского и женского полу возрастом до трех лет смерти. Казнь должна быть исполнена на месте, публично и без изъятия, ибо грех сей страшный содеян всюю деревнею и отвечать за сие неслыханное во всех христианских странах и народах злодеяние должна каждая семья, независимо от того, участвовал ли кто из нее в том преступном сожжении или был лишь молчаливым свидетелем его. Родители же, укрывшие своих детей от наказания, должны быть преданы смерти вместо них. Да неповадно будет отныне никому и никогда из смертных поднимать преступную руку на Надежду и Свет мира, на Господина всему существу на земли!»

— Эй, стража! — прокричал, едва лишь писец смолк, лейтенант. — Сколько их там у вас сейчас?

— Тридцать один, ваша милость!

— Писец, а сколько их значитя по переписи?

— Тридцать три до трех лет. Остальные все старше.

— Ладно! Хватит и этих. А те двое пусть вечно Бога благодарят за свое избавление... Начинай!

И пошатнулась, и зашлась в одном многоголосом отчаянном вопле толпа, увидев, как по взмаху платка лейтенанта-испанца сверкнули в воздухе стальные клинки, и как обрушились они на плачущих, рвущихся из цепких солдатских рук детей, не ведавших еще в младенчестве своем от жизни никакого зла, и как брызнула горячей струей и полилась потоком на землю алая невинная кровь из их крохотных, дрожащих от ужаса сердец... О Боже! Видишь ли Ты, знаешь ли Ты, что творится у

Тебя на земле? И когда еще было такое в мире со времен Ирода-царя, с того скорбнопамятного в веках дня, когда по приказу его были побиты все младенцы в Вифлееме?

— Меня! Меня, офицер! Меня убей! Только не трожь сыночка моего! Не трожь крохотку мою! — рвали на себе волосы матери и кричали, давясь рыданиями и теряя сознание.

— За что? За что, зверь, ты убил мою дочь? Ей больше трех! Ей же четыре уже! Все переврал твой проклятый писец! Перед Богом ты ответишь, мясник! — потрясали кулаками другие, наседая на лейтенанта.

— Почему моего, ваша милость? Почему его? А Анна вон стоит со своим, а ему и трех нет! Он только с виду такой здоровенный у нее. А Мария опять запрятала своего, а он еще только у груди пищит! — зывали к справедливости третьи.

Но тщетны были мольбы потерявших рассудок от горя матерей. И не мог никто из отцов убиваемых на их глазах младенцев даже пальцем пошевелить, чтобы спасти дитя свое от смерти, ибо каждому из них упиралось в грудь острое копьё и над каждым нависал обнаженный солдатский меч, готовый без пощады раскроить череп всякому, кто осмелился бы сделать хотя бы шаг вперед. И стояли они, отцы, неподвижно, задыхаясь от бессилия и сжимая свои пудовые, натруженные тяжелой работой кулаки. И смотрели, как, обливаясь кровью, корчатся, пишат, скребнут своими ручонками землю их умирающие дети, пронзенные мечом или проткнутые насквозь копьём. И седели непокрытые головы их прямо на глазах у людей. А стража, опьяненная смертью, вновь и вновь вонзала свои клинки в кровавое, стонущее, шевелящееся месиво у нее под ногами, добывая еще живых.

Наконец резня кончилась. В последний раз взлетело на острие меча в воздух чье-то маленькое тельце в окровавленных пеленках, в последний раз взметнулось вверх и тут же опустилось вниз древко копьё, припечатав к земле кого-то из все еще копошащихся там, внизу. И настала вокруг мертвая тишина. Солдаты отгнали свои клинки об изрубленное в клочья тряпье, что еще минуту назад было одеждой этих детей, и спрятали их в ножны. Писец засунул за пазуху свиток, который он все время держал в трясущихся руках, пока длилась казнь. А лейтенант-испанец, стронув наконец с места своего коня, выехал на середину площади, а выехав, сказал, обращаясь к поникшей, оглушенной неслышанной бедой толпе:

— Приказываю вам, жителям деревни, похоронить всех казненных — и взрослых, и детей — по-христиански, с соблюдением всех обычаев, освященных Матерью нашей, Святой Католической Церковью. А соблности обычай вам поможет вот святой отец, благочестивый монах ордена доминиканцев, присланный вам в утешение и наставление архиепископом Брюссельским. А вашего священника по указанию Святого Престола и коллегии святой инквизиции мы забираем с собой, ибо он своим недоносительством о ваших преступных деяниях впал в тяжкий грех и ересь, несовместимые с его саном, и стал по существу вашим пособником. За что и должен понести соответствующее церковному чину наказание.

— А имущество? — вдруг раздался из толпы тихий, но ясно слышимый в царившем над площадью безмолвии голос.

— Что — имущество? — не понял лейтенант.

— А имущество казненных как? В казну пойдет, ваша милость, или прямым наследникам? Или дозволено будет поделить его? Бунтовали-то не все...

— Имущество? — задумался на мгновение лейтенант. — У меня нет никаких указаний насчет имущества. Писец! Может, в приказе они есть, а ты не прочел?

— Нет, ваша милость. И в приказе о том ничего нет. В приказе только сказано, что надлежит действовать по обстоятельствам.

— Нет? Тогда слушайте, жители деревни, мой приказ! В тех семьях, где имеются прямые бесспорные наследники, все имущество казненных переходит к ним. А то имущество, у которого прямых наследников не окажется, надлежит продать, а на вырученные средства восстановить благолепие порушенного вами храма. И никаким частным лицам на то выморочное имущество отнюдь не посягать! Под страхом строжайшего наказания... Все! Эй, стража! Построиться походным порядком! Да не забудьте старого кюре. За него с нас с вами голову снимут, если что...

Опустела площадь. Ушла пешая стража, поблескивая в лучах заходящего солнца стальными остриями вскинутых на плечо копий. Уехал, дав волю своим

застоявшимся коням, и конный отряд во главе с лейтенантом-испанцем и неотлучно следовавшим за ним городовым писцом. Увезли в реквизированной у кого-то в хозяйстве телеге и старого юбре, бросив в нее дряхлости его ради охапку соломы и приставив к нему двух конных стражников. И остались жители деревни со своим горем одни.

Печальное зрелище представляла собой эта деревня, когда покинул ее последний солдат! Воистину апофеоз смерти, воистину как после Страшного суда Господа нашего Иисуса Христа над миром. Будто ничего бедные жители ее и не заслужили у Него, Всемогущего, кроме слез, и скорби, и адских, превышающих меру человеческих мук.

Багряно-красным светом светил из-за леса закат, и чернели над крышами осиротевших домов печные трубы, и металось в закатном небе и хрипло каркало, рассевшись в голых ветвях, воронье, уже слетевшееся на пир. А на холме, видимые отовсюду, торчали шесть выстроившихся в ряд виселиц, и болтались на них, и кружились вокруг себя раскачиваемые ветром трупы повешенных — Безумной Греты и пятнадцати несчастных сообщников ее. А посреди деревни дымилась кровью груди крохотных, еще не остывших от жизни детских тел, и матери их, не помня себя от горя, копошились в этой груди, отыскивая каждую своего, и сидели тут же рядом на земле, баюкая их в коленях и оттирая с их маленьких сморщенных лиц, застывших в последнем крике, смертный пот.

А деревенские собаки, дождавшись своего часа, подходили к этой груди и, не боясь людей, лизали еще не успевшую впитаться в землю кровь.



Пришла зима. Ударили морозы, и на поля выпал снег. Замерзла грязь на дорогах, замерзла и вода в каналах и прудах. По скованным стужей, обезлюдившим улицам и площадям Брюсселя редкие прохожие передвигались теперь преимущественно не шагом, а торопливой рысцой, кутаясь во что попало и мечтая лишь о том, как бы побыстрее добежать до дома и спрятаться в тепло.

И Питер Брейгель, старшина гильдии живописцев, тоже теперь почти не покидал своего добротного, стойко хранившего печное тепло дома и никуда уже больше не исчезал по утрам, а предпочитал, устроившись в кресле и завернувшись в свой старый, протертый во многих местах халат, дремать у жарко натопленной печки или же, рассеянно глядя в огонь, предаваться бесконечным своим размышлениям о жизни, о Боге, о судьбе и о тех, кто когда-то был рядом с ним, но кого уже нет и больше не будет никогда. Работать, писать ему в такую пору не хотелось и не хотелось тратить время и силы на своих шумных, бестолковых учеников, а хотелось сидеть так и сидеть в кресле до окончания дней своих, лишь бы только никто не тревожил его и не приставал.

Но больше всего он думал, конечно, о Катарине. Где она теперь? Что с ней? Виселицы-то ей в отличие от несчастного отца ее и братьев, слава Богу, удалось избежать, хотя, несомненно, попадись она тогда в руки стражи, болтаться бы и ей на перекладине с ними заодно, ведь крест над кучей пепла от сгоревших в костре идолов они ставили вчетвером! И если уж кто-то из деревни (а кто? Может быть, трактирщик? Или кто другой?) так точно, поименно донес властям о зачинщиках мятежа, вряд ли бы доносчик умолчал и о ней. Видно, спасло ее то, что после свадьбы она переселилась в дом мужа, в деревню по другую сторону канала, а той деревни либо вообще не было в приказе, либо лейтенант-испанец просто не решил никого туда послать, чтобы не ослаблять свой отряд, которому и без того едва хватило сил, чтобы удержать в повиновении такое множество потерявших от горя рассудок и готовых на все людей.

Рухнула его, Питера, жизнь! И нет в ней больше Катарини. А значит, и нет того, что отличает только разгорающееся, полное силы пламя от уже пожравшего все в себе, умирающего костра. Рухнула жизнь! И наступила старость, а скоро придет и смерть. Незачем было обманывать себя: в том, что она близка, сомнений уже быть не могло — достаточно было лишь прислушаться к глухой, сосущей боли в боку, что не отпускала его теперь уже ни днем, ни по ночам.

Но что он, Питер Брейгель, мог сделать, чтобы не дать этому пламени умереть?

Чтобы сохранить свою Катарину, удержать ее подле себя? И было ли за что ему обвинять себя, раздирая свою душу в кровь? Что он-то мог сделать — он, мирный стареющий живописец, никогда и ни в чем не связывавшийся с властями? Он, всегдашний свидетель и наблюдатель жизни, но не участник ее? Мог ли он тогда остановить безумие толпы, громившей храм? И мог ли он потом остановить карающий меч правосудия, обрушившийся на эту несчастную деревню? А, кто бы послушал его! Грета, Йост, косолапый Якоб, Гретины молодцы? Как бы не так! И кто бы откликнулся, кто бы снизошел к его мольбам пощадить невинных? Солдаты, лейтенант-испанец, герцог Альба, Тайный Государственный Совет? О Господи! Воистину вожди слепые, ведущие слепых... И нет ничего людям от их вождей, кроме мук, и слез, и погребели и в этом мире, и в том. И сами они гибнут в гордыне и жалком тщеславии своем, в упоении властью над толпой. И других, послушных их зову, обрекают на вечные страдания и казнь. А имя им, этим другим, — легион! И неважно, кто они, идущие за вождем: мирный ли хлебопашец, или почтенный бюргер, или закованный в стальные латы солдат.

Но только ли они во всем виноваты, эти властолюбивые гордецы? А сама толпа? И не ее ли, послушной и безропотной, прежде всего вина в том, что происходит с ней? Где ее-то глаза? За кем она идет? И почему она за ними идет — как стадо баранов, не разбирая пути, на погибель свою и смерть? Поделом! Поделом, Господи! Презираю! Презираю и ненавижу, и скорблю о них, и задыхаюсь от бессилия своего, и не могу им ничем помочь. Прости мне грехи мои тяжкие, Господи! Ибо как не понимал я ничего в мире Твоем, так, видно, и не пойму до самого своего конца.

И разгорались во мраке комнаты, освещенной лишь огнем из печи, пред взором его видения: зарево пожарищ, полыхающих в багровом, зловещем небе над холмами, над колокольнями, над остроконечными крышами домов, и черные птицы, с тревожным криком мечущиеся в дыму, и столбы для колесования, и виселицы, и скелеты повешенных, раскачивающиеся на ветру, и лужи крови, и горы мертвых тел, и худые собаки, рыщущие среди трупов, и пожирающие их мясо, и вылизывающие их кровь, и толпы восставших из могил мертвецов с провалившимися глазницами и оскаленными ртами, волна за волною, в ряд марширующих по дорогам и пустым площадям, гремя костями. А во главе их в латах и солдатском шлеме — Безумная Грета, размахивающая кочергою, как косой! И это и есть апофеоз смерти. И Безумная Грета и есть сама смерть.

А вокруг нее — вся нечисть ада! Все уроды, и страшилища, и гады преисподней, радующиеся несметной поживе, и раздирающие свои алчные, ненасытные пасти, готовые проглотить все, что жило и страдало на земле, и изгибающиеся, и сверкающие в кровавых отблесках огня своей зеленой чешуей, и бьющие в нетерпении оземь своими тугими хвостами, и изрыгающие вокруг себя яд. И значит, и там, за гробом, не будет человеку избавления! И там его не ждет ничего, кроме горя, и слез, и стенаний, и вечных мук...

Но не такой, не страшной, а мирной и успокоенной предстала перед ним деревня, где когда-то жила его Катарина, когда, преодолев себя, он в один холодный, сияющий снежной белизной день решился наконец навестить ее. Все было на месте: и тот старый, полуразвалившийся амбар, и гостеприимный трактир на площади, и церковь, где тогда венчалась она. И не было ни на улицах, ни на деревенской площади никаких следов смерти и разрушения. И не было немолчного плача, и стона, и причитаний по погибшим. А были лишь тишина и спокойствие вокруг, и чистый снег на крышах, и голые, изящные ветви деревьев, и низкое красное солнце меж них, и дымок из печных труб, и синий лед на пруду, и вмержшие в него полурассохшиеся бочки, и корзины, и другой разный брошенный хлам, и остановившееся мельничное колесо у запруды, и скрип полозьев по снегу, и запах пекущихся по домам оладьев, и многое-многое другое, чем от века полна человеческая жизнь.

А из-за церкви по склону покрытого голым лесом холма навстречу ему спускались, увязая в снегу, двое охотников, окруженные стаей худых, поджарых псов, и на плечах у них торчали длинные черные копыя, а за спиной висело по убитому зайцу, и псы подпрыгивали, и скулили, и повизгивали на ходу, чуя скорую себе награду. А в домах из-за распахнутых ставен мирно поблескивали в низких лучах солнца чисто вымытые стекла, и стояли горшки с геранью на подоконниках,

и кое-где хозяйки, не боясь выстудить свое жилье, выметали веником за порог и со ступенек вниз домашний сор, и скликали кур, и перебрасывались друг с другом словечком. И кто-то, сторбившись и съезжившись от холода, ехал куда-то по улице на осле, а кто-то тащил на салазках бочку по скованному льдом пруду, а кто-то волок на спине вязанку дров. А на пруду гонялись на коньках взапуски ребяташки, крича, и падая, и разбивая себе в кровь носы.

Но одного не видел Питер вокруг себя: не видел он даже проблеска улыбки ни на лицах взрослых, ни на утрюмах, тупо сосредоточенных на чем-то своем лицах детей. И не услышал он ни смеха, ни даже громкого голоса в этой деревне. Нигде — ни на улицах, ни из распахнутых дверей домов.

А виселицы на холме у старой башни исчезли. Все, кроме одной — той, на которой повесили Безумную Грету. Эта стояла! А на перекладине ее, как и тогда, подпрыгивала, и вертелась в разные стороны, и стрекотала трескучим своим стрекотом сорока. Она? Та самая? Может, и она. Ах, летела бы ты отсюда, проклятая тварь, куда подальше! Что надо тебе здесь от людей? Не мучь ты их, не тревожь! Видишь, жизнь их опять улеглась, опять устоялась, и скоро опять пойдет снег, и еще больше все забудется и превратится в далекий, мутный сон. И не напоминай ты людям про их горе! Я-то понимаю тебя. Но, поверь, попусту весь твой стрекот, и не нужен он здесь никому. И я здесь никому не нужен — думаешь, я не понимаю этого? А ты лети, куда знаешь, мир велик! А если ты не отсюда, если ты из другого мира, так и того лучше — возвращайся поскорей к себе, у вас там свои дела, у вас там есть о чем похлопотать. Все равно тебе здесь никого не пробудить и ничего не изменить. Слышишь? Никого и ничего!

Постоял он и в том амбаре, посмотрел в последний раз на столь милое его сердцу их с Катарининой убежище: на кучу перепрелой упряжи, подернутую седой изморозью, на паутину, затянувшую крохотное оконце, на прошлогоднюю солому рядом с растрескавшейся бочкой в углу... Постучался он и к той старухе, что привечала их у себя прошлой зимой. Старуха, давно покинутая и Богом, и людьми, явно обрадовалась ему. А когда вдобавок ко всему еще и получила свои обычные полфлорина, то даже заставила его присесть за стол и принесла кувшин холодного молока, и солонку, и кусок хлеба, и долго потом не хотела его отпускать.

— А что теперь Катарина? Что слышно про нее, старая? — спросил он у нее.

— А далеко, милый человек! Далеко она теперь... Люди говорят, где-то на острове. В тот день, как пришла беда, убежала она отсюда, в чем была. И мужик ее, известное дело, с ней. А слышно, хорошо живут! Там, говорят, и испанцев-то нет никого. Им туда далеко, они все больше здесь толкутся, народ стращают... Не выдал, помиловал ее Господь! А старый Йост вот не уберется. И сыновей не уберет...

— А юре?

— А юре, говорят, помер. В тюрьме, в монастыре. Там, говорят, его и схоронили... Царство ему Небесное! Добрый был человек. Добрый священник... Всех тут крестил. Всех и на тот свет проводил...

— А в церкви теперь кто служит? Тот монах?

— Нет, того убрали. Нового прислали.

— А к нему ходят люди?

— Да как тебе сказать... Кто ходит... А кто и нет.

— А он что?

— А ничего! Вроде пока и не неволит никого...

Сгущались зимние сумерки, когда, усталый и промерзший до костей, Питер вернулся к себе домой, в город. Ужинать он не стал, но от стакана горячего вина с имбирем и корицей не отказался, и даже потребовал у жены еще один, и выглotal, обжигаясь, и его. А когда озноб наконец прошел и телло от вина разлилось по жилам, он, облачившись в свой старый халат, взял со стола большой подсвечник и поднялся в мастерскую. Там, наверху, тоже было кресло и тоже стояла круглая изразцовая печь, и там была тишина, и там было тепло, и никому — ни жене, ни детям, ни горластым его ученикам — там его было не достать.

Почему, думал он, утонув с головой в кресле и вглядываясь в дымное, зыбкое колыхание теней по стенам мастерской, отбрасываемых неверным светом свечи, почему всегда и везде у людей вождь — это Безумная Грета, как бы ни звали ее и в какие бы одежды она ни рядилась? Это может быть полководец, или горлопан на площади, или какой-нибудь аскет с горящими от возбуждения и ненависти ко всему

миру глазами, или просто паяц, обманщик, завороживший своими трюками глядящую на него, разинув рот, толпу. В лучшем случае — этот тот слепец с властным голосом и тяжелыми, сокрушающими все кулаками, который думает, что знает, куда он ведет других слепцов, следующих за ним, а ведет он их в яму, в гибельную, чавкающую трясину, где они если и не потонут сразу, то будут барахтаться, и проклинать судьбу, и погибать до окончания своих дней. И никого другого толпа не слышит! И никого другого она не признает.

Признала ли она Христа, что пришел к ним, к людям, с кротким увещанием? Нет, не признала — она просто не заметила Его. И даже тогда, когда Он, обливаясь кровью и вздрагивая под ударами бичей, тащил свой смертный крест на Голгофу, — и тогда хозяйки со своими корзинами спешили мимо Него на рынок, а дети гоняли обруч, а отцы семейств равнодушно глядели Ему вслед, обсуждая цены на овес и ругая очередного сборщика податей. А когда Икар, давший людям крылья, упал, опаленный солнцем, в море, оторвал ли хоть один человек во всем мире голову свою от земли? Заметил ли хоть кто-нибудь его? Отозвался ли на этот всплеск, оторвался ли хоть на мгновение от плуга пахарь, прокладывавший борозду, или рыбак от своего удилища, или пастух от своих мирно пощипывавших траву овец, или моряк на корабле, починявший то и дело рвущийся, давно уже истрепавшийся под морскими ветрами такелаж? Недаром ведь говорят: «Ни один плуг не остановится, когда кто-то умирает». Ну, а раз так, тогда не жалуйтесь, люди, на свои беды, на жестокость и невыносимость жизни. Нет у вас права жаловаться ни на что!

Ну, а ты? Что ты, старшина гильдии живописцев, мастер, как никто, наверное, из живущих ныне во Фландрии, овладевший своим божественным ремеслом? Каково твое место среди этой толпы, ведомой неизвестно куда самоуверенными, чуждыми сомнений и жалости к людям слепцами? Кто ты-то в этом мире — жертва или вождь?

Ах, не знаю! Отстаньте от меня! Не знаю я ничего... Не было у него, Питера Брейгеля, сгорбившегося от всех скорбей и несчастий мира у себя на чердаке, ответа на этот вопрос. И тем не менее, повинувшись какому-то неясному толчку души, он вдруг встал со своего кресла и, светя себе свечой, подошел к мольберту, стоявшему у стены. Кто знает, может быть, это и был его ответ? А может быть, и нет. Но одно, по крайней мере, он точно знал — он знал, что напишет сейчас. А больше никак, ни на каком другом языке он, живописец милостью Божией, ни с Богом, ни с людьми, ни даже с самим собой разговаривать не умел. Не умел и не хотел.

И вскоре на темной, проморенной морем доске возникли перед ним полукруглые своды одинокого окна в толще старой крепостной стены, а за окном устье могучей реки, залитое расплавленным полуденным солнцем, и паруса, и матчы кораблей, и остроконечные дома, и высокие шпильи церковных колоколен, и птицы в небе, и весь Божий мир, полный света, и воздуха, и воли, и простора для всех, кем населил его Господь. Для всех? Может быть, и для всех. Но только не для маленькой, сгорбившейся обезьянки, прикованной цепью к вделанному в подоконник железному кольцу, что, прижав свои лапки к мохнатой груди, понуро уставилась на разбросанную перед ней по подоконнику ореховую скорлупу, в которую ей давно уже, наверное, надоело играть и которую даже видеть ей и то уже было невмочь. А глядеть в окно — к чему ей глядеть в окно? Что может она увидеть там? И что может сказать ей этот простирющийся за окном вширь и вдаль огромный мир — ей, сидящей на цепи?

«Но нет! Так нельзя, — отбросил вдруг кисть Питер. — Ведь есть же в жизни надежда! Ведь есть же еще что-то в ней, кроме цепей, и тоски, и пустой ореховой скорлупы... Надежда? А какая она?»

И, вновь взмахнув кистью, он быстрыми-быстрыми мазками набросал рядом с сидящей в окне обезьянкой другую, такую же понурую и съезжившуюся, и тоже на цепи. Вот и вся надежда, господи! Не обольщайтесь — не более того.





Но чувства страховать затея зряшная, В жестокий шторм отчаю я от  
Не по плечу и Библии с Кораном. пристани  
И все-таки мечта мне ближе истины, Спасения искать в открытом  
И, как кораблик со стихией споря, море.

### Половина меня

Поэт в грядущее летает,  
Где слава или забвенье,  
Где пуля ждет его дурная,  
Или с цыкутою питье.

Туда, где счастье и кручина,  
Донос за подписью друзей  
Иль просто мирная кончина  
В семейной заводи своей.

А мне вот день минувший ближе,  
Пусть заурядный, все равно,  
Где, как петух в навозной жиже,  
Разрою времени зерно.

Туда, в гнилой российский климат,  
Где грязь Отечества и дым,  
Где жизнь была невыносима,  
А я был счастлив и любим.

Где книги, ничего иного,  
И грезы вместо бытия,  
И Дела нет, и только Слово,  
Там короталась жизнь моя.

Там, словно вечности заложник,  
Передовых учений свет,

Там на неведомых дорожках  
Следы от пирровых побед.

Там брань на ворота не виснет,  
Сын не в ответе за отца,  
Там анекдот — учебник жизни,  
И ложь, правдивая с лица.

Там среди чумы идеологий  
Искусств и Муз раскинут пир,  
И низко кланяются в ноги  
КПССу за кефир.

И там я жил, вырослел, учился,  
Хулил Россию сколько мог,  
И одиноким очутился,  
Переступив ее порог.

Вишу, разъят на половины,  
Тоскою черною томим,  
Между Отчизной и чужбиной,  
Между грядущим и былым.

Полумудрец, полуневежда,  
Полумальчишка, хоть и сед.  
Полупоэт, и есть надежда,  
Любви и веры только нет,  
Любви и веры больше нет.

София Григорова-Алиева

# Я целую тебя в губы

Роман.

С болгарского.

Перевод Фаины Гримберг



## От переводчика

Роман «Я целую тебя в губы» прошел трудный путь от запретов на родине и преследования автора до успеха. Мучительная ситуация в Болгарии конца 80-х годов нашего столетия — гонения на лиц мусульманского вероисповедания, на этнических турок, на людей, носящих традиционно мусульманские имена, насильственная смена имен. Жан-Дидье Вольфром, известный французский писатель; так отозвался о романе Григоровой-Алиевой: «Это не провинциальная литература, которую лишь снисходительно терпим; это

полноценная Европа, открывающая нам Азию».

София Григорова-Алиева (1948 г.р.) — поэтесса, прозаик, переводчица. Среди ее произведений — книга стихов «Птицы на высокой башне», повесть «Ваня — женское имя», романы «Казначей», «Средиземноморская девственница», «Консерватория», «Фихтеанец», «Я — трамвай» и др. Многие ее произведения переведены на иностранные языки. В болгарской периодике публиковались ее переводы современных французских прозаиков, а также рассказов русских писателей Серебряного века — А.Ремизова, М.Кузмина, С.Ауслендера.

АЛИ. Мое имя не всегда было Гонсальво. ДОН ЭНРИКЕ. Да, я знаю. Ваше прежнее имя было не менее прекрасно. Вас называли Добрым Али.

Гейне. Альмансор

Я все время об этом думаю. И о чем бы я ни думала, я все равно в конце концов начинаю думать об этом... В тот день я, кажется, встретила объяснение... в одной статье... некоего Николая Мизова. Но это совсем нелепый и очень грубый текст. Политика в этом тексте подается так прямолинейно... Бессмыслица, конечно, — называть такой текст «объяснением». Но все равно... Сейчас я переведу эти слова... Значит, вот.

«... исламская именная система (заимствованная в основном у арабов и персов) использовалась османскими порабощателями в целях именованного обезличивания обращенных в мусульманство болгар, в целях их отдаления от болгарской национальной истории, в целях деболгаризации болгар...»

Забавное словечко — «деболгаризация»! Значит, имена турецкой мусульманс-

кой традиции, такие, как «Хасан» или «Эминэ», обезличивают болгар. А греческие «Николай» и «Георги», еврейская «Мария», сербский «Стоян» не обезличивают их, так, что ли? Интересно, какие имена мы должны себе придумать, чтобы полностью болгаризироваться? Впрочем, кто сказал, будто я живу в мире, где имеет значение нормальная логика?

А так, в сущности, мне хорошо. Больничная палата с одной кроватью, и я — одна. Мне хорошо. И стол стоит возле окна. Целый день можно читать, писать. Если только силы есть... Вчера приезжали Катя и Галя. Галя, кажется, испытывает что-то вроде чувства вины, ведь она всегда мне говорила, что я придумываю себе туберкулез, чтобы меня считали интересной. Это кто чтобы меня считал интересной? Она? Наверное, она вообще думает, что, если я двигаюсь, ну, хожу, говорю, значит, я здорова... Ну, а я двигаюсь, пока не упаду, вот я такая.

Мы стали говорить об автобиографии Жюльетт Греко. Я сказала, что мы очень смешно выглядим, когда читаем воспоминания какой-то удачливой развратницы и впадаем в умиление... Катя промямлила что-то о врожденном таланте. Галя заявила, что это просто мое стремление быть не похожей на других, всегда иметь какое-то ненормальное мнение. Я разгорячилась...

— А... нет! Просто все дело в том, что мы любим ложь, повсюду ищем ложь, со страстью ищем. Потому что не выносим правды! Нам всегда нравится какая-нибудь ложь, например, вот эта, о пресловутом «таланте, который пробьет себе дорогу», будто бы талант — это грузовик или танк!

— А все-таки ты признаешь, что ей повезло, что она удачливая! — уколола меня Галя.

— Я признаю, что эта так называемая удачливость — прямо пропорциональна бесстыдству!

Все спугалось... Мы начали ссориться. Но мне лучше, когда женщины говорят о политике, об искусстве, чем о такой грязи, как прерывание беременности. Эта Катя... Зачем она пришла?

От Жюльетт Греко мы перешли к одному актеру — сейчас я даже забыла его имя. Катя видела его в этом спектакле — переделали в пьесу противный роман Антона Дончева «Время насилия»<sup>1</sup> — тенденциозное вранье о болгарях-мусульманах... Ей понравилось — «будит во мне все болгарское!»... Что она понимает вообще? И что для нее само это понятие — «болгарское»? Галя поджала губы; знает, что сейчас будет буря. Я уже бешусь и кричу, что Катя ничего не понимает, что именно таких мещан, как она, и пичкают этими шовинистическими поделками, у них даже и капельки нужды нет в настоящем искусстве. Обиженная Катя возражает, что я всем навязываю эту свою проблему с переменной имен, героиню из себя строю...

— А эта С., которая замуж вышла за турка из Турции, лишь бы паспорт не менять... кто ее не знает! Спала с кем попало... И теперь тоже героиню из себя корчит!

— Нет! — Меня взбесила эта мещанская логика. — Значит, по-твоему, то, что людям насильно сменили имена, это просто наказание для женщин, которые спят с мужчинами... Bravo! Чудесно... Пойдем, всем сменим имена! Нет, это не моя, это только твоя проблема! Я — жертва, а ты уже испачкана своим равнодушием; и как тебе не стыдно находить эти мещанские оправдания безнравственности?

— Я не политический деятель! Я ничего не могу сделать! — отгрызнулась Катя.

— Только политические деятели нам нужны, эти обманщики, которые на нашей крови наживаются! Почему это мы сами не можем себя защитить?

— Наверно, потому, что мы не обманщики, — иронически вставляет Галя. В сущности, она права.

И все... Немножко поговорили. Теперь мои приятельницы готовят салат. Вот люди... Привезли свежие помидоры. И чего я хочу от них? Чтоб они подняли восстание?

У окна сидит дочь Кати, Димитрина, Диди; ей девятнадцать лет, она студентка; химию, кажется, изучает или что-то другое, не знаю точно. За все это время, пока мы разговаривали, она не сказала ни слова, тихо так сидела; и мне казалось, что скучает. Я смотрю на нее. Диди нервно сжимает и разжимает пальчики. Одежда у нее —

<sup>1</sup> Антон Дончев. *Время раздельно (болгар.)*.

современный стандарт — джинсы... Мне в этой девочке нравится ее непосредственность, она очень быстро говорит, захлебывается как-то по-детски, сбивается, глотает слова и вдруг улыбнется так ярко... Совсем маленькие девчушки так говорят. Диди взволновалась:

— Пожалуйста... Вы только не обижайтесь... Я вас очень уважаю. Но тех, других, которым поменяли имена... тех я не люблю. Они грязные... они преступники...

Я даже не возмутилась. Просто интересно слышать такое от милой девочки, которая к тому же пишет стихи, и неплохие.

— Полстраны грязных преступников? — спрашиваю я.

— Не полстраны. Только миллион.

— Но для нашей страны и самый маленький «только миллион» (подчеркиваю голосом) — уже много.

У меня нет такой способности: побеждать собеседника отточенными репликами; я даже подозреваю, что такая способность бывает только в пьесах, вроде комедий Ростана или Уайльда.

— Но они... они хотели автономную республику...

— На основании общности вероисповедания? Но по такому принципу не образуются автономные республики...

— Нет, по национальности, по национальному принципу.

— Такого заявления никто не подавал, такой просьбы...

— Если бы подали, уже поздно было бы. Это был такой опережающий удар... эта перемена имен.

— Но в нашей стране мусульманство исповедуют люди разных национальностей: цыгане, турки, болгары.

— А если они болгары, почему у них имена не болгарские?

— А у тебя почему не болгарское имя?

— Димитрина — славянское имя!

Я вздыхаю и объясняю ей, что означает греческое «Димитрина».

Вдруг она почти выкрикивает:

— Я не хочу говорить об этом, не хочу! Мы, молодежь, приняли это нормально. Только за границей все время обсуждают... И вы... Не хочу!

Да, я заметила... Люди не хотят об этом говорить. В чем дело? Инстинктивный стыд? А девочка кричит, кричит...

— Я не люблю их! Не люблю!

— Но разве это значит, что их надо мучить?

Почему я говорю «их» вместо «нас»? Разве я что-то другое, отдельное? Галя сидит, поджав губы. Катя стоит, выпрямившись, в опущенной руке вилка, которой она размешивала салат... Мы все молчим.

В конце концов помирились, поели салатик и хорошо попросились. Они ушли. Я осталась с апельсинами, пирожками и лимонадом. Не могу я их просить, чтобы приходили чаще. У них ведь семьи, дети. В этой больнице я не от каверн умру, а от голода. Кормят очень плохо и очень однообразно.

Прежде я думала, что, если человеку предлагают пользоваться какими-то преимуществами по национальному принципу, он должен возмущаться и сгорать от стыда. А вот люди с удовольствием принимают эти преимущества; в их сознании легко утверждается мысль о том, что миллионы других людей — грязные преступники.

И что во всем этом нового? Только одно — происходит сегодня и касается именно меня; и я не знаю, что делать.

Но это все же интересно. Или нет... Конечно, я хочу сказать что-то другое, совсем другое. Значит, если мы захотим ретировать, мучить какую-то «категорию» (пусть будет этот термин), какую-то категорию населения, мы должны квалифицировать этих людей как «грязных преступников»; мы должны верить, будто бы они в своей повседневной жизни не могут испытывать те же чувства к своим женам, детям и так далее, какие и мы испытываем... Но при этом мы вовсе не думаем следующим образом: они — грязные преступники, и мы должны их наказать... О нет! Мы думаем: «Они ведь все равно грязные преступники, поэтому мы и получаем право мучить их».

Эта их «грязная преступность», вымышленная нами, оправдывает в нашем представлении все наши действительно нечистые действия по отношению к ним. Значит, мы почти неосознанно знаем, что поступаем плохо, неосознанно ищем себе какие-то оправдания.

Наверное, это Лазар сказал...

Я никому не нужна... Я совсем одна... Но почему я так боюсь? Почему я даже самой себя смущаюсь? Пусть мое воображение выйдет на свободу, пусть Лазар мне говорит, что позаботится обо мне, о моих рукописях, приберется в комнате, мне не надо вставать, и молоко он мне согреет... У меня так болит в груди. Это плевра... Вот я такая, боязливая, стесненная.

Или, может быть, так: я чувствую себя очень обиженной, брошенной; я спрашиваю его своим плачущим голосом, как он будет жить, когда я умру, ведь ему будет не хватать меня? И он отвечает тихо и с такой ранящей меня правдивостью: «Двадцать шесть лет я жил без тебя. И дальше буду жить». И этот тихий ответ бросает меня в такую безысходность, что я даже всхлипнуть не могу. Нет... Не надо так...

Пока у меня еще есть окно — чтобы броситься вниз... с двенадцатого этажа. А бывает такое, когда уже и нет никаких окон, и даже умереть не можешь по своему желанию, не можешь выбрать себе смерть. Пусть Бог меня сохранит от этого. И мне совсем не хочется, чтобы я лежала на асфальте разбитая. Мне хочется, чтобы я летела. Перелетела бы совсем в другой мир, где нет никаких практических расчетов, только любовь. Только любовь и справедливость. И чтобы у меня было белое платье и белое покрывало на волосах, в таком белом платье я хочу стоять с Лазаром. И чтобы эта белизна была не какой-нибудь пустой условностью, а настоящим знаком моей чистоты...

Меня мутит от этих противотуберкулезных таблеток... я их не глотаю. Держу во рту, бегу в туалет, выплевываю и спускаю воду. Не могу себе представить, что эти таблетки и моя жизнь — как-то связаны. У меня эйфория. Озноб. Слабость. Но я привыкла... уже давно. Лучше умереть по-человечески, на своей постели, от туберкулеза, а не в тюрьме или... даже и думать не хочу о такой смерти.

Прозрачное утро. Легкий-легкий прозрачный прохладный туман. И видно сквозь него прозрачную зелень. Мы стоим немножко высоко, и вся равнина раскрывается перед нами. Лазар движется, как в замедленном фильме, такие плавные замедленные движения. Я вижу его глаза; и вижу, что кажусь ему красивой. Такие нежные и милые его глаза. Слышу звучание его голоса. Не разбираю слов, не знаю, на каком это языке, но он говорит так нежно и понимающе. Мы говорим о природе. Я признаюсь ему, что люблю природу только тогда, когда она не таит в себе опасности, и значит, только в кино или в живописи; потому что в жизни я боюсь насекомых, собак боюсь; а больше всего боюсь, что на меня кто-то может напасть. Лазар отвечает мне, что теперь у природы остается только ее прелестная красота и никаких опасностей, потому что он со мной. А после — самое прекрасное настает: я закрываю глаза и слышу музыку его голоса, он мне рассказывает о себе — и без слов, только одним звучанием своего голоса, но я воспринимаю все оттенки его жизни и слушаю, слушаю. Теперь все будет хорошо, потому что я с ним, а он со мной. Но почему я не могу наслаждаться этим? Почему смущаюсь? По сути, ведь только потому, что не обладаю всей полнотой внутренней свободы. Потому я смущаюсь самой себя, когда мечтаю о чем-то хорошем...

Мне очень нравится, когда петухи поют. Такие детски открытые возгласы, вскрикивания, и от них — радость и чувство свободы. И снова утро. И свет и теплота... Как хорошо! Лето.

В маленьком дворе шелковица распустила узорную зелень. Лазар стоит на толстой крепкой ветке и легонько покачивает дерево. Черные большие ягоды падают и падают вниз. Он хочет, чтобы я их собирала; и смеется, смеется и вдруг поднимает руки. А я не собираю шелковичные ягоды, я распрямила и стою, и

смотрю на него, и у меня большие и широко раскрытые глаза... Лазар голый до пояса, мускулы очерчиваются тонкие и округлые. Он тянется ко мне рукой. Большой жук вдруг прилетает на его раскрытую ладонь. Но я не боюсь. Я люблю жука, и шелковицу, и все, к чему прикасается Лазар. Лазар... Все очень хорошее, потому что мне девятнадцать лет, а ему — двадцать шесть... Как хорошо чувствовать свои волосы, распущенные по плечам; и чувствовать, что каждое твое движение нравится ему, радует его. Я чувствую, что он весь — мой! Как чудесно и странно! И у меня теперь есть бумага с печатями. Потому я могу сказать: «Мой муж». Но это смешные слова. Лазар — это Лазар. Лазар... Лазар... И я могу целовать его, и ночью я всегда с ним. И никто ничего не будет говорить. Лазар... Мой Лазар... Я его люблю!

Петух в соседнем дворе воскликнул, и мне стало так молодо и радостно; и время как будто удлинняется. Утро, полдень, день — и все вокруг замирает. Только мы с Лазаром тихонько бродим в старом доме и разбираем пыльные поломанные вещи. Лазар нашел одну такую резную подставку для Корана.

— Вот что осталось от прежнего могущества, — произносит он как-то напыщенно. И сразу ему становится смешно. А мне становится как-то мило и как будто таинственно.

— Почему ты смеешься?

— Так просто... смешно сказал. Я смешно сказал. Напыщенно... смешно. — И он спрашивает, не знаю почему, шепотом: — Ведь ничего не осталось, правда?

— Нет, Лазар, — отвечаю я, и тоже шепотом почему-то, — все осталось. Ты и я, мы остались. Ты и я...

Он меня обнимает и гладит по волосам. И я чувствую, что мои волосы красивые, как шелк...

Полы моего длинного халата как-то странно ритмично то вскидываются, то опадают; я подымаюсь на третий этаж. На волосы накинула пестрый мамин платок. Наверное, с этими тремя кавернами я имею право мерзнуть и носить какие хочу платки. Я не могу запомнить лицо врача, оно как все остальные лица; но он совсем не равнодушен, потому что я — его больная, и если я умру — он все-таки будет отвечать. Я прошу его отпустить меня сегодня в город, потому что много работы в редакции. Все-таки, когда говоришь, что работаешь для редакции, тебя немножко начинают уважать. Но я его обманываю. С тех пор как я отказалась поменять свой паспорт, свое имя, значит, а потом все-таки смирилась и поменяла... С тех пор никакой работы мне в редакциях не дают. Так что я обманываю врача. Все это было глупо. Сначала отказалась менять имя; потом, конечно, поменяла. Но в редакциях меня больше видеть не хотят. Вот так.

Начинается разговор с врачом. Я говорю о своей работе в редакции, он — о моем туберкулезе. Наконец он все-таки разрешает. Прямо какие-то соревнования, футбол! Команды «Чахотка» и «Редакция». «Редакция» побеждает.

Останавливаюсь в коридоре напротив большого зеркала. Очень темные глаза смотрят на меня... глаза Балканского полуострова, глаза Европы и Востока — целого мира... Прекрасные глаза — «Две хубави очи»<sup>1</sup>... Может, это и обо мне... И сейчас я думаю, что мои глаза не такие некрасивые. Только ресницы стали немножко редкие. Или просто мне так кажется. Я прижимаю ладони к стеклу — там, где мои глаза. Глаза целого мира. Глаза моего Лазара. Вот мой Лазар... Немножко смуглое продолговатое лицо, и кадык совсем беззащитный на еще мальчишеской шее, и скулы так мягко выдаются, и нежные-нежные темные полоски на щеках после бритья, а волосы у него темные и не выющиеся. Я отступаю от зеркала и вижу два маленьких туманных следа, два тающих следа на этой странной зеркальной поверхности, там, где были прижаты мои ладони.

А теперь — быстро... Я оправляю постель. Чемодан — под кроватью. Книжки, рукописи — все спрятано. Беру только сумочку. Туда кладу фотографию Лазара. Мы пойдем гулять, Лазарчо, пойдем в город... Лазар на фотографии согласен; конечно, в жизни он не может так легко соглашаться. Выхожу в большой вестибюль, надеваю пальто. Мне хочется пирожных и кино... Деньги у меня еще остались.

Туберкулезная больница за городом, надо ехать на автобусе. Пасмурно и

<sup>1</sup> «Прекрасные глаза» — «Две хубави очи» — известное стихотворение Пейо Яворова.

слякоть. Небо темное и низкое. Земля темная и грязная. Вдруг одна-единственная снежинка опускается на мою руку. Она такая хрупкая, тонко-светлая и узорная на черном искусственном шелке моей перчатки. Вот и весна. Март приходит в мою маленькую страну, будто чудная старуха Марта, а покидает ее как молодой Лазар... с луком и стрелами... на коне. Так хочется верить, что хотя бы это — настоящий фольклор, а не выдуманная бутафория. Нигде в Европе; только здесь, в Болгарии, воскрешенный библейский Лазар так сходен в своей праздничности с молодым Кришной. Я не была ни в какого Лазара влюблена... просто мне нравится это имя... не знаю почему. Потому что празднично; и молодой, прекрасный; приходит, покидает. Я читала... давно. Если говорить по правде, то этот настоящий праздник Лазара давно забыт. Ну, хватит! Хватит пессимизма... хватит этой тоски по никогда не существовавшему чему-то прежнему. Тебе совсем не подходит!

После кино я зашла в кафе. Молодая полненькая женщина сидела одна, а вокруг — толстые раздутые сумки. Я села возле нее. Взяла кока-колу, мороженое и два пирожных. Вдруг что-то произошло... Входят два милиционера. Нет, не помню, двое ли их было... Но те, которые поднялись из-за стола и вышли вместе с ними, тех и вправду было двое... очень спокойно... Милиционеры вывели их из кафе. Что это? Это арест? Значит, я уже видела, как арестовывают людей. Как-то обыкновенно, будто обычная повседневность. Эти двое были хорошо одеты. Улавливаю, как сквозь сон, что их арестовали, потому что они не сменили паспорта. А... Я поняла. Кто сказал это? Рядом разговаривают несколько голосов... Я знаю, что в этих новых паспортах какие-то специальные пометки. Сердце колотится до боли. Откладываю соломинку и пью прямо из стакана. Рука вздрагивает, коричневая жидкость выплескивается на юбку моей соседки. Я прошу прощения, как в лихорадке я. Она улыбнулась, легко махнула рукой по ткани, юбка не сильно намочила. Я тороплюсь сказать что-то обыденное, лишь бы она не начала разговор о том, что сейчас произошло, случилось, об аресте. Ее зовут Вера, и она кажется очень милой. И вправду приятная... Ездил за покупками по магазинам и вот зашла сюда немного передохнуть. Мы разговорились. Меня всегда тянет к таким женщинам... Они какие-то органически чистые, ничего грязного не говорят. И выглядят такими простыми и очень нормальными, но не примитивными и враждебными в этой своей простоте. А ведь есть и такие — враждебные, агрессивные в своей примитивности.

Она мне рассказала о своей дочурке Маргарите, которой полтора года. Так мило она рассказывает. Я немного успокоилась.

Теперь моя очередь быть откровенной. Я раскрываю свою потертую сумочку и вынимаю фотографию Лазара.

— Это мой муж. Здесь ему двадцать шесть лет. Тогда мы с ним познакомились, мне было девятнадцать. Потому я эту фотографию берегу, всегда ношу с собой. Теперь он, конечно, изменился немножко.

Вера с интересом смотрит на фотографию и находит Лазара очень красивым. Смотрит на меня с женским уважением: я не такая красивая, а вот какой красивый человек на мне женился. Она быстро поднимает голову и взглядывает на меня сосредоточенно. Я понимаю: она искренне ищет следы так называемой «минувшей красоты». Какая милая!

Я продолжаю быть откровенной.

— У нас трое детей. Мальчик и две девочки. Пока я болею, они у старшей сестры Лазара.

Вера согласна, что мужчине трудно было бы справляться одному с детьми. Она горячо сочувствует мне: трое детей — это и вправду много и сколько забот!

Я ей рассказала, что моего сына тоже зовут Лазар. Она немного удивилась — это не очень принято, чтобы отца и сына звали одинаково. Я говорю, что мне очень нравится это имя.

Не знаю, поняла она что-нибудь или нет. Может быть, и поняла, а может, и ничего не поняла... не знаю. Я уже устала. Это, наверное, от своей непрерывной болтовни. Я уже запинаясь, даже когда говорю про себя, совсем без голоса... в уме... тихо...

В большом коридоре больные смотрят телевизор. Невыносимо. Бегом спасаюсь в свою палату.

Лежу навзничь и смотрю на побеленный больничный потолок.

А в сущности, почему я не показала Вере какую-нибудь другую фотографию, где Лазар постарше? И фотографии детей... Честно говоря, только потому, что, в сущности, у меня нет никаких детей. Вообще. Никаких. И никакой другой фотографии Лазара у меня нет. В сущности, и Лазара я не знаю. Его нет. Правда...

И долго я не могла найти это лицо. Лицо, чтобы можно было увидеть и почувствовать все — характер, личность. Жизнь шла — со своими обычными заботами, утомительными мелочами, непрерывным учением; и ничего не дает именно это учение — школа, университет. Я писала стихи, разное такое и, наверное, не то. Наконец нашла.

Нет Лазара. Есть только фотография. Я нашла ее в одной аудитории. Мне было девятнадцать лет, я училась на втором курсе. Полстраницы какого-то буклета. Какой-то конкурс; наверное, музыкальный. Только фотография, имя и 1948 год, он родился в 1948 году, ему двадцать шесть лет на этой фотографии.

Такими глазами он посмотрел на меня — печальными и умными, обиженными и детскими; такое лицо у него — милое и нежное и хрупкое. И губы его — такие мальчишески припухшие, большие и нежные.

Таким должен был быть настоящий Лазар... в моих стихах. Глаза — такое единство гордости, уязвленного самолюбия, досады, детской обиженности. Наверное, он не получил никакой награды на этом конкурсе. Именно такие люди меня интересуют. Которые никаких наград не получают в жизни.

Как найдешь человека, если только имя знаешь? И в самом начале я стеснялась искать его...

Я аккуратно вырезала эту фотографию, сделала копию у фотографа, всегда ношу эту копию с собой, она выглядит, как обыкновенная фотография, и я чувствую, будто Лазар на самом деле существует, будто фотографировался специально для меня... А настоящую фотографию, ту, из буклета, я берегу дома вместе с моими рукописями...

Бедный! Он и не чувствует, что уже давно живет двойной, даже тройной жизнью. Одно — это его реальная жизнь, обыденная: женщины, дети, работа; другое — мои стихи; и третье — мои мысли и чувства о нем, как бы это определить, повседневность моего воображения...

У Лазара нет матери. Ондаже и не помнит ее. Старшая сестра вырастила его. Не знаю, как бы я ладила со свекровью. Софи преподает математику в гимназии. Она мне очень нравится. С этими бровями и очками. Они с моим Лазаром похожи. Лазар — поздний ребенок. Я еще помню его отца, как он сидел в кресле на солнечном балконе, совсем уже дряхлый, молчаливый, ушедший в себя.

Софи... Она старше Лазара на пятнадцать лет. Она вырастила его. Я думаю, наверно, потому она и не вышла замуж, хотя и теперь еще такая женственная, красивая. И очень умная.

Первые годы, когда мы с Лазаром поженились, мы часто ссорились. Не хотели ни от кого зависеть, сняли комнату в подвальном этаже, и чуть что — я сразу хватала ребенка и бежала к Софи. А где-то через час-полтора Лазар тоже прибегал. И она мирила нас.

Такая ностальгическая тоска у меня начинается, когда я представляю себе, как мы с Лазаром возвращаемся от Софи. Лазар несет ребенка. Он выше меня и кажется мне совсем высоким; я семеню очень близко к нему, немножко закинув голову, и вижу его щеки, и глаза, и очки. Он такой молодой и красивый! Я оборачиваюсь. Софи стоит на балконе, устало щурится на закатное солнце и машет нам рукой. И я молодая, молодая, молодая! И теперь я умираю...

И эта ночь перед последним экзаменом. Я ночевала у Софи. Она мне помогала. Я окончила университет. Мы говорили о Лазаре... Я с ней делилась, как люблю его, потому что он чистый и умный, и все, все! Она была такая милая.

Я умру. Когда я умру, мои дети будут жить у Софи... Я знаю. Никого больше не хочу... никакую другую. Не хочу! Софи воспитает их. Они и теперь у нее, никакую другую не хочу. Не хочу! Нет! Я такая нервная стала. Астения у меня. Каждую минуту начинаю плакать.

Теперь у нас все есть — зарплата Лазара, квартира, ковер, пусть не очень персидский, но все-таки... Все есть. По выходным дням Лазар выносит ковер, расстилает посреди этого пространства перед многоэтажными домами и выбивает пыль...

Сверху ковер — маленький красно-узорный прямоугольничек, а Лазар — тоненькая спичечная фигурка, такая одинокая... И от этой праздничной яркой узорности, от этой красоты, очерченных так четко, у меня почему-то ощущение одиночества и незащищенности Лазара. И моей отдаленности от него. Я и вправду так высоко — почти под самой крышей башни, и не могу защитить его. А если бы я была свободна и могла полететь к нему на волшебных крыльях, как будто крылатая волшебница в сказке...

Бедный мой Лазар! Я ему жизнь испортила. Совсем замучила его. А он был такой чудесно-красивый и талантливый!

Этот Борис презирает его высокомерно из своего фээргэшного рая. Пусть! И что может сделать Лазар? Один-одинешенек засучить рукава и начать борьбу? Или, может, он должен со своим слабым здоровьем пойти на тяжелую работу физическую, лишь бы все эти фальсификации бросить? Потому что ведь его постоянная работа — делать фальсификации.

Если бы я могла...

И все-таки Лазар — историк, ученый. Хрупкое существо, бесконечно изнуренное всеми этими диссертациями, детьми, квартирой, поездками на сельхозработы (это называется: его посылают «на бригаду»). И от меня он устал...

Но это ведь легче всего — уцепиться за какую-нибудь иностранную юбку и сбежать в ФРГ и там надуваться, строить из себя слависта, тюрколога или что-то в таком роде и презирать несчастного Лазара...

Только вы ведь его не знаете, моего Лазара. Мой Лазар — он йигит<sup>1</sup>! Вот он — мой Лазар...

В сущности, этот Борис — что-то вроде Мефистофеля в нашей с Лазаром жизни. Они с Лазаром учились вместе в университете. У Бориса тоже не было связей и больших денег, зато он энергичный, практик. Не знаю, как, но добился этого места в академии, что-то вроде лаборанта. И когда он вдруг предложил моему Лазару это место, сказал, что уступит, договорится, мы были так благодарны... Лазар совсем без работы был тогда. Скоро Борис женился на немке и уехал в ФРГ. А Лазар остался. И стал рабом. Пишет статьи и диссертации для своей работодательницы и всех этих ее прислужников и родственников; даже работал на постройке, когда она дачу строила своей дочери. Она с ним любезна, спрашивает о моем здоровье, о детях; позволила ему и самому защитить диссертацию. Теперь у меня муж — кандидат наук. Она была в Париже, всех очаровала — член-корреспондент, доктор наук, мать четверых детей, представительница маленького балканского государства... Сколько лжи! Впрочем, дети — это правда. У нее действительно четверо детей...

Сколько бессонных ночей, сколько ума и таланта Лазар потратил понапрасну!

Я знаю, Борис говорил с Лазаром обо мне. Давно это было... еще тогда... Борис честно ему сказал, что не считает меня ни умной, ни красивой и думает, что Лазару не надо на мне жениться, тем более что у нас с Лазаром тогда еще и не было близких отношений. Борис сказал, что Лазар должен обдумать свою дальнейшую жизнь. Они с первого курса дружили. Лазара называли Профессор. Честно говоря, я не думаю, что Лазар сильно любил меня; может быть, он просто сам себе нравился в этой роли романтика и бескорыстно влюбленного; когда он чувствовал себя таким и сам себе верил, это поднимало его над практиками, такими, как Борис...

Борис опять перечислил ему мои недостатки, ну, как я уже сказала, у меня нет ни красоты, ни ума; и в смысле всяких связей я бесперспективная, притом еще отношусь к третируемой категории населения, «национальному меньшинству» (вот определение!). Лазар сдвинул брови и ответил, что любит меня. Он всегда так сдвигает брови, когда ему что-то не нравится, а он не хочет или не может открыто возразить.

Так вот, Лазар ответил, что любит меня. Борис ему устроил то место в академии, и мы с Лазаром поженились.

Дальше. Нет! Я не хочу все рассказывать. Он два раза принимал эти снотворные таблетки и один раз хотел повеситься. Я как раз вовремя прибежала — он только

<sup>1</sup> Смелчак, храбрец (турец.).

подбородок себе ободрал. И с таблетками тогда... Я ему палец совала в горло, чтобы вота была.

Софи сказала, что он не хочет покончить с собой, просто хочет немного расслабиться, чтобы разрядка... Я так плакала из-за всего этого. Расслабиться, разрядка — вот чего он ищет в нашей рабской жизни.

Сейчас мне будет трудно рассказывать, потому что стало вдруг очень много всего и нужна какая-то последовательность. В основном все хорошо относились к Лазару, и если иногда и делали и говорили ему что-то плохое, то это так же, как всем другим; не то чтобы нарочно сделать ему гадость, а так просто, как все делают всем.

Прозвище Профессор было немножко вульгарное, очень простое прозвище. А близкие друзья называли его двумя другими, более тонкими прозвищами: Могол и Даос. А мне всегда казалось, что надо произносить: Дабс. В сущности, это было красиво — Могол и Даос — и как-то действительно показывало силу красоты души и силу телесной красоты и то, как они красиво и тонко, эти прекрасные силы, соединены в одном человеке.

Лазар имел тогда трех близких друзей. Значит, их было четверо. И я думаю, что это уже какой-то стандарт в подсознании, когда мальчики или совсем молодые юноши дружат четверками — наверное, бессознательно они ориентируются на четырех мушкетеров Дюма... Вот и этих юношей из ансамбля «Битлз» (правильно ли я написала название?), их тоже, кажется, было четверо...

После случилось так, что Георги совсем потерялся из виду, Лазар о нем и не вспомнит; ну, Борис — вы знаете, где; а Ибиш умер от инсульта. Я даже не знаю, где он работал. Кто-то Лазару сказал, что Ибиш умер, и помню эту тоскливую тревожность Лазара; я поняла, что его только одно мучает: то, что его сверстник умер, значит, и ему как будто бы грозит реальная смерть. И больше ничего. Кажется, никакой жалости Лазар не почувствовал. А прежде так улыбался, как будто жалел нежно всех и любил всех ласково.

Теперь я знаю, он болен тоской, серая тоска у него.

Но вот у нашего Лазара Маленького, кажется, нет такой четверки. Заходят к нам мальчики, но мне как-то неловко разговаривать с ними помногу. Вдруг я что-то скажу или сделаю не так, и моему сыну будет неприятно... Разговаривать с ними, как будто бы они во всем равны взрослым, получится фальшиво; а так, как взрослые обычно говорят с детьми, — тоже неловко мне так...

Два мальчика — это действительно его близкие приятели. Их зовут Иван и Димитр. Я их сразу отличила: когда я спросила, как их зовут, они назвались полными именами, мне понравилось. Димитр — беловолосый парнишка, будто из скандинавских кинофильмов, а Иван немного заикается. Иван рисует, у него способности есть. Он приносил свои рисунки. Я потом заметила, что наша старшая девочка, когда рисует, подражает ему немного; а иногда и сильно подражает; видела, как она рисовала улицу с одним деревом сбоку, и машина едет. Но я не могу понять, какое удовлетворение может доставлять такое явное подражание. Мне это не нравится, и я чувствую, как это мое неудовольствие отдаляет меня от девочки. Тогда мне становится так жаль ее; я подхожу, обнимаю ее за плечики, целую в головку, она тоже ласкается ко мне. Я хочу любить ее. Конечно, я люблю ее. Она все равно хорошая.

Когда Лазар Маленький простудился, эти мальчики приходили, у них были такие озабоченные лица... Помню, однажды вечером Лазар Большой их всех развлекал — рисовал какие-то смешные рисунки и карикатуры, рассказывал разное занимательное из истории... Он говорил немного нарочито иронически. Но обычно у него нет времени. Мальчики, если он войдет в комнату, здороваются, он им отвечает так мрачно и отрешенно и немного протяжно. Они смотрят с видимым почтением на его мрачное лицо, сдвинутые темные брови и печальное и как-то странно диковатое и суровое выражение очень темных глаз... Глаза мальчиков невольно так чуточку вытаращиваются... Мне нравится, как они смотрят на Лазара — значит, мой Лазар Маленький сумел им внушить почтение к своему отцу; впрочем, и к себе самому...

С этими мальчиками, Иваном и Димитром, Лазар Маленький поставил пьесу. В квартире Софи он нашел вырезанные из бумаги фигурки, покрашенные черной краской. Софи рассказала, что это Лазар Большой, когда еще в школе учился, сделал

театр теней и разыгрывал со своими приятелями «Кота в сапогах». Лазар Маленький стал просить отца сделать и теперь такой театр, но Лазар Большой отвечал, что у него и времени нет и желание давно прошло, и пусть Лазар Маленький что-нибудь сам сделает. Лазар Маленький и эти два мальчика вырезали из твердого картона три большие фигуры, Иван их раскрасил. Пьесу написал Лазар Маленький; я не помню, как она называлась, потому что рукопись он нам не захотел показать. Мы устроили ширму, мальчики сидели за ширмой, держали картонные подставочки у этих плоских фигур, двигали их и говорили.

Спектакль был в нашей квартире. Продолжалось все где-то час. Зрители были: одноклассники Лазара, Лазар Большой, Софи, я, наша старшая дочка и еще несколько детей. После мы всех угощали бутербродами, печеньем и лимонадом. Фигуры картонные были действительно интересно раскрашены. Я не всю пьесу видела, потому что малышке еще и год не исполнился, она запищала, и я вынесла ее на лестничную площадку, чтобы она не мешала; было тепло, конец весны; укачивала ее, пока она не заснула. Входная дверь была чуть-чуть приоткрыта, и я старалась расслышать, как мальчики разыгрывают пьесу. Они говорили громко. Я думаю, Лазар специально старался громче говорить, чтобы я услышала. Но вот рукопись никому не захотел показать — ни отцу, ни мне.

Мальчики говорили красивыми белыми стихами. Лазар Маленький уже прочитал Шекспира и, как видно, своих приятелей увлек... Один раз я шла домой и вижу, они все трое играют возле нашего подъезда, размахивают какими-то сухими ветками, как будто фехтуют; и выкрики такие вроде: «Яд! Яд! Моя рапира отравлена!» Иван, когда кричит, почти совсем не заикается. Я сразу испугалась, что Лазар может пораниться. Хотела тут же позвать его домой, но испугалась, что станут смеяться — мать утаскивает его за собой. Он меня увидел. Или ему сказали что-нибудь вроде: «Твоя мать идет» — как мальчишки говорят друг другу, резко, грубовато. Я поднялась наверх и ничем не могла заняться по хозяйству, мне какие-то смутные видения представлялись, и я делала над собой усилие и подавляла, прогоняла их, ведь так представишь себе ярко — и вдруг и в жизни...

Но Лазарчо — очень чуткий человек и добрый. Будто почувствовал, что мне плохо, слышу, сильно звонит в дверь. Я открыла. Он такой раскрасневшийся... Такая нежная детская краска возбуждения веселого. А когда на этой нежной коже царапины, ссадины — что-то совсем чуждое, грубое и потому страшное. Но царапин и ссадин не было. Он смотрел на меня так нарочно весело, как будто всем своим видом хотел показать, что ничего страшного не случилось и не может случиться. Я его обняла и целую в щеки. Стала умолять, чтобы больше не играл так. Он ответил, что совсем не играть не может, потому что ему хочется играть и потому что другие ребята играют. Но обещал побережь себя. Вот научился от отца такой правдивости и прямоте.

Когда началось это с паспортами, мне тоже поменяли паспорт, и в нашем доме это знали, и в школе, я боялась, что мальчика будут дразнить, обидят как-нибудь. Но пока ничего такого... И с нашей старшей девочкой все хорошо. Ну, при таком брате никто не обидит ее! Слава Богу... Если бы что-то случилось, они рассказали бы. Отцу бы обязательно рассказали. Все-таки у моего мальчика не такой резкий, нетерпимый характер, как у меня... Но не нравится мне, чему учат их в школе. Лазар Большой сказал, что и нас учили не лучше. Но мы ведь и сами занимаемся со своими детьми. Когда Лазар Маленький спорит с учителями, одноклассники всегда на его стороне. Лазар Большой сказал, что наш сын — интересный человек и умеет ладить с людьми. В сущности, умеет подчинять своему влиянию, я заметила это, но это и хорошо — такое умение...

А если что-то страшное случится, страшное для всех, тогда уже ничто не поможет. Я Лазару Большому ничего не говорю о своих страхах. Ведь он и сам обо всем этом думает, я знаю. А что делать? Готовиться к беде? Но это еще страшнее, будто нарочно вызываешь беду. Остается только жить и делать вид, будто все как всегда.

Меня очень поразила одна тонкость: в девять лет мой мальчик решил, что главное в пьесе — это не действие, выраженное в движениях и поступках, но действие, выраженное в словах. Мне это показалось проявлением утонченности его натуры...

Сюжет был такой: королева решила свергнуть короля и править единолично, она уговаривает принца помочь ей. Принц не соглашается и хочет обо всем рассказать королю.

Дальше мы узнаем, что умер младший сын короля и королевы. Старший пытается понять, от какой болезни умер его младший брат, и находит отравленные сладости. Королева внушает королю, что старшего сына надо убить, потому что он хочет свергнуть родителей с престола. Король оплакивает смерть младшего сына. Королева уговаривает его выпить лекарство, растворенное в вине. Вбегает старший принц, он заставляет королеву осушить бокал, приготовленный ею для короля. Принц предлагает ей бокал, она отказывается, король хочет позвать стражу. Тогда принц хватается за королеву и подносит бокал к ее губам, насильно заставляя выпить отравленное вино; она пьет и умирает. Принц обо всем рассказывает отцу.

Мне очень нравилась эта атмосфера своеобразной логики, нравилось отсутствие формального психологизма... Например, совершенно не объяснялось, зачем королеве после стольких лет брака желать единоличного правления, вроде она никак не обижена королем... Но в этой своеобразной немотивированности свое обаяние. Я вдруг почувствовала, что мой сын — талантлив, и было такое чувство радостной гордости, потому что это мой сын!

Лазар Большой сказал, что в пьесе и в постановке есть оригинальность.

Софи заметила немного снисходительно, ей не нравится, что столько убийств. Лазар Маленький, обиженный ее снисходительностью, сердито возразил — ведь это трагедия!

Мы купили детям в комнату письменный стол на двух тумбах, дверцы открываются, и там внутри — ящики. Одну тумбу со всеми ящиками отдали Лазару Маленькому, там хранится то, что он пишет...

Давно тогда Ана пригласила меня в гости к Ц. Я согласилась, показалось занятно. Конечно, Ц. не приглашал меня и даже и не знал. Но на эту вечеринку к нему могли прийти, как я поняла, и просто знакомые его знакомых. Ану тоже не сам Ц. пригласил. Этот Ц. был сыном достаточно богатого и достаточно влиятельного человека, жил один в двухкомнатной квартире. Теперь этот Ц. тоже богат и влиятелен, у него важная должность, и таких, как Лазар или Борис, он просто совсем не помнит, не замечает.

В квартире Ц. оказались иностранные вещи, мебель, безделушки — все, как я и думала. Уже собралось много людей, студентов; было спиртное в бутылках; девушки суетились на кухне, делали салат и бутерброды... Впрочем, еды было мало. Я после поняла, что это характерная скупость богатых людей, они любят экономить на всяких не очень важных для них гостях. Никакого лимонада, никакой минеральной воды, а я спиртного не пью. Мариана однажды спросила, почему я не пью, может быть, потому, что мусульманской религией запрещено? «Да! Потому!» — отвечаю резко и надменно. А Мариана не отстала и стала говорить, что Гюлчин вот ведь пьет... И пусть эта Гюлчин пьет. А я не хочу и не буду!

Бутылки были красивые, с иностранными, пестрыми и глянцевыми, наклейками.

Никто на меня и на Ану не обратил внимания. Я тихонько села в углу на стул, рядом стоял журнальный столик и еще два кресла. Из девушек я здесь знала только Ану и Гюлчин. Ц. показался мне очень заурядным человеком. В нем была та циничность, которая всегда видна в детях богатых и влиятельных людей; такие дети очень рано понимают ложь.

Появились Лазар и его товарищи. Мне сразу стало казаться, что все замечают мой интерес к Лазару. Мне так хотелось, чтобы он не видел меня, потому что понять по его глазам, что я ему не нравлюсь, было бы очень горько...

Я заметила странное: друзья Лазара (может быть, это у них была такая почти неосознанная игра) всячески старались услужить ему, это у них так мило и задорно получалось. Вот и сейчас — один нес книгу, другой — куртку Лазара, третий вынул из кармана брюк и предложил Лазару жевательную резинку. Но Лазар не стал брать... Нет, жевательная резинка была после. А вначале они заговорили как-то сразу вместе, прерывистыми полуфразами; речь шла о книге; они купались в бассейне и намочили нечаянно книгу. А эту книгу Лазар купил для сестры. Они стояли близко, и я видела обложку, это была книга по математике, на русском языке... она действительно отсырела.

Все обыденные слова, которые произносил Лазар, звучали как-то трогательно; и эти слова, и его голос, и то, что он так близко от меня стоит, — все это вызывало у меня какую-то щемящую жалость к нему.

После была жевательная резинка... У двери то и дело звонили, щелкал замок, стало совсем шумно; я, помню, еще заметила, что никто пока не курит.

Приятели Лазара подошли совсем близко, выдвинули кресло, и Лазар сел. Он сидел почти напротив меня.

И мне было некуда пересесть. А встать, пробираться через комнату к двери или на кухню — все могли догадаться...

Вдруг мне показалось, что кто-то из приятелей Лазара обратил внимание на меня; я не помню, о чем они говорили, но я поняла, что у них опасение возникло — одно то, что я здесь, будет раздражать Лазара. Ибиш сказал что-то и глянул на меня. В голосе и во взгляде у него презрение, какое выказывают нищим или сумасшедшим. Это было мучительное унижение. Но Лазар сидел спокойно, кротко и не смотрел на меня... и, казалось, не слышал, о чем они говорят.

Эта его милая кротость как-то успокаивала, мне захотелось заплакать, но я сдержала эти слезы облегчения.

То, что дальше произошло, трудно описывать. Я думаю и сейчас, что, если я расскажу о своих тогдашних ощущениях Лазару, он скажет, что мне показалось все это, что этого не было...

Постепенно все, кто был в квартире, стали оборачиваться к Лазару. Юноши заговаривали с ним дружески, девушки — кокетливо. Я помню, какая-то из девушек сказала что-то вроде: «Какие ресницы у нашего Лазара!» Товарищи Лазара были вокруг него, будто маленькая свита из слуг. Они уже и не думали обращать внимание на меня. На столик они принесли соленые орешки, налили что-то прозрачное и светлое в рюмку, после — в другую — немного вина красного цвета. Они двигались уверенно и, казалось, чувствовали себя какими-то посвященными, будто бы не просто ставили перед ним угощение, а имели очень ясную для них цель. И будто и другие смутно чувствовали, что для всех здесь эта цель желанна; и превосходство друзей Лазара, будто знающих, как достичь этой цели, все бессознательно воспринимали как что-то естественное. Приятели Лазара касались кресла, на котором он сидел, чуть подвинули столик... Я вдруг поняла, что они заботятся не просто о том, чтобы ему удобно было, но еще больше — о том, чтобы он достиг какого-то определенного состояния... И все остальные ждали... И меня это ожидание захватило. Сначала нравилось, что вот теперь совсем никто не обращает на меня внимания; потом меня немножко стала мучить мысль внезапная, что все тянутся к Лазару, все ждут чего-то, а еще полчаса назад я одна любила его так сильно, а теперь — все, и это мучительно мне...

Несколько молодых людей сели на пол и оказались у ног Лазара...

Он как будто сознавал, что все ждут. Он сидел так мило и кротко, без малейшей горделивости. Сосредоточился на каких-то своих чувствах... Голова и шея чуть запрокинулись... и то место под подбородком было такое светлое и нежное... и шея светлая, будто и вправду живой радостный сосуд, вылепленный с любовью Божьим гончаром.

Это ощущение его кротости, такой милой, все усиливалось. Он ел и пил не для насыщения. Казалось, хочет испытать какое-то детское по своей чистоте и отчетливости наслаждение от этих плотков, от одного-двух орешков, чтобы скорее пришло то, желанное всем его состояние...

Дальше мне еще труднее описать... Я хотела написать о Кришне и о болгарском святом Лазаре. Вдруг вспомнила строки из одного песнопения о Кришне. Всплыло, будто яркая музыка всплеснулась... но я не точно вспомнила. Да, вот еще — он весь тот вечер был без очков и, конечно, все вокруг видел будто в светлом сиянии радуги...

Пока я не увижу тебя,  
я бегу за тобой в своих мыслях;  
Пока я не обниму тебя,  
я умираю в тревоге;  
Я стораю в лихорадке,  
я плачу горько;  
А тому, кто мне укажет дорогу к тебе,  
я буду кланяться в ноги;  
Ты выходишь из дверей лесной зелени,  
и радуется мир;  
Пусть будет вино и неверная жизнь в далеком краю,  
только бы юность моя вернулась ко мне!..

Глаза его стали очень яркими... в ресницах этих живых и чуть еще сильнее удлинённые от улыбки, они напоминали темные сияющие сердцевинки живых цветов на солнечном свете...

Я испытала такую радость, блаженство... Он улыбался мне так нежно, понимающе; он прощал все, что надо было простить мне, такая ласковость радостная это была... И как будто мне улыбался не человек, которого я любила, а вся Природа, или Вселенная, или Судьба. И я поняла, что каждый в этой комнате сейчас испытывает такое же... И, кажется, я даже успокоилась, такое счастливое блаженство не могло быть мне одной, как солнечный свет не может быть для одного человека.

Мы все были, словно молящиеся, равные в своем желании ощутить милость Божества...

После удивило меня то, как скоро все пришли в себя; стали пить и есть, курить и разговаривать, включили магнитофон...

Никто не изъявлял Лазару благодарности. Наоборот, перестали обращать на него внимание, будто втайне боялись, что стоит заговорить, и улечется то, что они сейчас получили... А они желали с какой-то звериной жадностью сохранить в глубине своего существа хотя бы тень, хотя бы крупицу, луч...

Приятели Лазара окружили его вниманием, как человека, потратившего силы на какое-то важное действие. Это было трогательно. Лазар еще поел, теперь побольше... потом заговорил с Борисом. Борис, видно, был у него вроде наперсника... У меня так заколотилось сердце, что я ничего не могла слышать, и музыка мешала. Уже начали некоторые танцевать и выглядели некрасивыми с этой открытой похотью, неуклюжими, даже когда хорошо двигались, и какими-то очень грубыми.

Я решила уйти... Свет притушили... И я совсем испугалась, боялась оставаться среди этих людей. Даже о Лазаре перестала думать. Я прошла немного, держась у стены, и поняла, что и он встал. Вышла в прихожую и раскрыла входную дверь... Лазар подошел и спросил кротко и спокойно, можно ли ему проводить меня. Он перекинул куртку через руку и в той же руке держал книгу по математике. Я сказала «да», больше ничего не могла произнести... Говорили, что у меня красивый голос; и теперь я заметила, что старалась, чтобы это одно короткое словечко звучало нежно и красиво, и почему-то мне хотелось, чтобы отчужденно оно звучало, а то вдруг Лазар подумает, что я легко соглашаюсь и похожа на других. Стало мучительно, что я уже что-то рассчитываю, что-то делаю нарочно, специально и, значит, обманываю Лазара.

Мы немного прошли, он спросил, куда мне, я сказала. Можно было идти пешком... Мы молчали. У меня появилось странное желание обязательно произнести что-то. Пробежала собака... «Собака бежит», — сказала я. И вдруг он повторил так неожиданно: «Собака бежит», — с какой-то нежностью и умилением. И взял мою руку... Пальцы его были хорошие, плотные и давали такую человеческую, живую теплоту...

Я так хотела ему сказать, что он ошибается, что я не стою этой умиленной его нежности и я совсем не хрупкая, могу только показаться такой, а если распряплюсь, то даже большая и крупная... Но я боялась, не знала, как это все сказать, как сказать ему эту правду так, чтобы не потерять его.

Я думаю, у Лазара с Борисом уже какое-то время перед этим шел спор, и это был, в сущности, спор о свободе... Если проще, то Борис считал, что Лазар должен искать таких людей, которые дадут ему многие блага, сделают его жизнь более свободной; и за все это, как бы в обмен, Лазар будет им давать наслаждение своей красотой и всеми своими свойствами. И не только о женщинах шла речь. А Лазару тогда казалось, что у него так много этой красоты и всех этих его свойств, что незачем ему покупать на них свободу для себя, когда он может сам щедро эту свободу, это счастье дать... И я показала ему самым несчастным существом? Как раз такая, чтобы все отдать щедро мне?

На работе он теперь просто раб; он делает что-то, ему дают деньги на жизнь, как рабу — его пищу, и никакой тонкой купли-продажи... Простое грубое рабство... Конечно, мне кажется, что так чище и честнее.

Однажды он сказал, что мне нужно научиться любить себя, даже просто свое тело, свое лицо... Мне это действительно очень трудно. А любить Лазара мне легко...

Борис приехал на лето со своей женой. Ее зовут Хели. Это, вероятно, Елена. Мне кажется, это какое-то странное имя для немки, или я просто не знаю. А, нет... Хелла... Мне же Лазар говорил...

Ну, Лазар переговорил с Борисом, и Борис согласился прийти к нам в гости вместе с ней, конечно. Лазар уже сейчас мучается; брови его сдвинуты — как судорогой сведены, а в глазах — боль, равная телесной. Телесная все-таки хуже, чем боль души, телесная — неблагородная, терпеть ее больнее, страдаешь от нее больше, она — бессмысленная...

Может, Лазар и хотел бы увидеться со своим прежним другом, вспомнить их прежние разговоры, шутки и надежды. Поболтать наедине, чтобы они оба почувствовали на время ту прежнюю легкость и веселье молодости... Но только непременно наедине, чтобы при этом не было жен и никого не было, только они вдвоем; и ни лжи, ни фальши, а если даже и немного зависти и сожаления, то все равно искренне и открыто... Но ничего такого не будет... Лазар приглашает Бориса для того, чтобы обратиться к нему с просьбой. И мы уже заранее мучаемся, нам ведь предстоит целый вечер, полный притворства и унижений. Бедному Лазару так плохо, и я никак не могу разговорить его, утешить и успокоить. У меня не получается.

Детей Лазар с утра решил отправить к Софи. Девочки обрадовались, они еще такие маленькие, время для них течет медленно и наполнено неожиданностями. Каждая прогулка — это игры и приключения. Софи рисует им кукол, платьица для этих кукол и вырезает, и они играют. Я не умею рисовать таких куколок. Но Лазар Маленький оскорблен, он считает себя достаточно взрослым для того, чтобы оставаться с нашими взрослыми гостями. У Лазара Большого уже нет сил что-то объяснять сыну. Да и что объяснять? Сказать, что мальчик помешает нам что-то выпрашивать, унижаться? Это сказать? Лазару моему двенадцать лет; он, должно быть, воображает, будто мы и вправду собрались беседовать с гостями, обмениваться интересными мнениями. Отец ничего не хочет ему сегодня объяснять. Но надо отдать должное Лазару Большому: когда голос его звучит сухо и сурово, дети понимают, что надо подчиняться. Вот я так не умею.

После завтрака Лазар велел мне отвести детей к Софи. Мне грустно видеть и чувствовать, что мальчик уверен в нашей несправедливости. Самолюбие его уязвлено, он цепляется за какие-то мелочи; говорит, что не понимает, почему я должна их провожать, неужели он сам не может идти со своими сестренками и присматривать за ними по дороге... Тогда я ему быстро шепнула: «Хочу уйти хотя бы ненадолго, Лазарчо». Он смягчился, а я сразу пожалела о своих словах. Я и вправду хочу уйти хотя бы ненадолго, а то вечером начнется... Но получилось, будто мы с мальчиком какие-то заговорщики против отца, это нечестно.

Вот мы выходим из подъезда. Лазар уже угадал, что я хочу что-то сказать ему. Он предлагает пойти через скверик. Девочки бегут, припрыгивая, вперед. Тогда я полупшепотом, наспех рассказываю сыну, зачем приглашены гости, какого одолжения мы хотим попросить у Бориса. Лазар и без моих просьб сразу обещает, что никому не скажет. Но... Должен ли отец знать о том, что сын все знает?

— Знаешь, Лазар... Не говори отцу, что ты уже все знаешь. Не будем его еще больше мучить...

Мой сын соглашается со мной. Теперь восстановлено равновесие, он теперь тоже участник наших планов и заговоров.

— Я не скажу. Никому. Не бойся... — Пальцы его правой, деловой, руки на миг прижимаются к тыльной стороне моей левой, сердечной, ладони. Когда-нибудь он будет прикасаться к чужим девичьим и женским ладоням... Наверное, меня уже не будет тогда. Но я уже сейчас немножко ревную его. Мне кажется, они не смогут оценить, какое это чудо и совершенство — мой сын Лазар, сын моего Лазара Большого.

Мы выходим на улицу, я подзываю девочек, чтобы взять их за ручки. Младшая чуть подергивает мою руку. Обычно по выходным дням отец причесывает ей головку и завязывает бантик. Лазар, как многие мужчины, если уж берется за обыденные домашние дела, то невольно придает им праздничное очарование. Пальцы у него такие изящные и красиво умелые. Все он делает так красиво и интересно; и еду готовит, и прибирается... На головках у девочек он делает такие красивые цветки, пышные, нарядные, из лент... Маленькая изо всех сил зажмуривает глаза, так что ресничек не видно; и маленький милый ротик приоткрывается, видны тонкие

молочные зубки. Вот она уже перестала чувствовать прикосновения отцовских пальцев, значит, можно раскрыть глаза. Она ахает и взвизгивает; складывает ладошки, как для танца, и делает перед зеркалом ритмические движения — я заметила, что она любит смотреться в зеркало. Сегодня у нее на головке вместо отцовского пышного бантика-цветка скучная капроновая висюлька, это я ей завязала. Она идет, надув щечки, но вот придумала, поднимает свободную ручку, тербит ленточку, развязывает и сминает в кулачке. Искоса глянула на меня; поняла, что я ничего ей не скажу, теперь встряхнула волосиками, вскинула головку и шагает, гордая и довольная. В четыре года для нее так важна ее телесная красота? Старшая все-таки другая. Но иногда мне и в ее характере видятся задатки какого-то совсем женского, взрослого практицизма, неприятного мне, какие-то совсем мелочи...

Я не люблю смотреться в зеркало. Меня раздражает лицо, которое я там вижу. Это чужое лицо. Вот моя душа идет с моими детьми, с детьми моей души; и наслаждается моя душа тем, что видит моего сына, сына моей души... А тело — это всего лишь оболочка, я ощущаю эту оболочку тесной и уродливой. Мне все равно, какие мысли у других обо мне. Мне даже нравится быть плохо одетой. Я люблю закрытую и широкую, темную одежду, скрывающую тело... Мне хочется, чтобы никто со мной не заговаривал, даже когда я плачу. Иногда я не могу удержаться от слез даже на людях. Но в одиночестве я плачу совсем сильно, всему телу больно, сжимаюсь и раскачиваюсь от этой боли. А душа моя живет вместе с моими детьми. И живет мой Лазар, Лазар моей души...

Меня мучает мысль, что я плохая мать своим дочерям, я мало люблю их... Такую нежную округлую лапоньку сжимаю своими влажными, неприятными пальцами; ногтики чуть шевелятся в моей горсти, будто живого маленького жука держу. Такой чудный запах у этих маленьких девочек. Я беру младшую на руки и начинаю целовать щечки... А старшая? Двоих мне не удержать на руках, я чувствую, что ей уже одиноко и несправедливо. Опускаю маленькую и, нагнувшись, прижимаю к груди, ласкаю и целую обеих. «Связанные петушки!» — громко говорю я; это значит, зажимаю в одной горсти сразу две ручки, и мы так перебегаем через дорогу.

Лазар ушел вперед. Дети, наверное, никогда не простят мне эту мою всегдашнюю торопливость, когда я спешу с ними к врачу; спешу на детский фильм, потому что мы выбежали в последнюю минуту, пока я готовила обед; я всегда тороплюсь и чувствую себя усталой, и так мало времени и сил у меня, чтобы вглядываться в них, бережно играть с ними, не мучить их этой моей торопливостью. И как бы я им ни объясняла когда-нибудь, когда они вырастут, если доживу, что все это не моя вина, что это жизнь такая, все равно они, наверное, не простят. Может быть, Лазарчо простит, а девочки, наверное, нет.

Лазар уже стоял у дома, где жила Софи. Мне подниматься вверх не хотелось, потому что, если бы я поднялась, я восприняла бы это как предлог, чтобы подольше не возвращаться домой, а Лазар Большой велел, чтобы я скорее возвращалась. Я договорилась с сыном, что дети поднимутся, потом выйдут на балкон и помашут мне. Маленькая махала сразу обеими круглыми ручками, так мило-смешно, и растопыривала пальчики... Старшая улыбалась этой своей странно женской задумчивой улыбкой. Лазар вскинул руку вперед, и на лице у него стало такое смешливо-ироническое выражение... Я стояла, закинув голову, чтобы лучше видеть детей. Заметила недавно, когда мой сын вдруг резко вскидывает руку, плечико у него как-то вперед выдается, и это движение меня пугало, оно было некрасивое. Какое-то чувство протеста: почему. откуда у моего сына такое некрасивое движение? И оно было знакомое. Это было мое движение. Лазар Большой тоже это заметил, он замечает у детей мои какие-то черточки, а своих не замечает, но мои в детях кажутся ему занятыми вроде бы. Он вдруг скажет что-нибудь такое: «Смотри, точно как ты...» А я тогда испытываю отчаяние и боль и страх за своих детей. Мои дети не должны быть некрасивыми — протест... И это ужасно: видеть со стороны свою некрасивость в своем ребенке, понимать, что ты вот такая, такая... Наверное, у некоторых людей так рождается ненависть к своим детям; а у меня — страх, тревога и это чувство протеста.

Софи тоже вышла на балкон. Она знала, что у нас сегодня гости, и знала — зачем... Я крикнула: «Софи!» — и махнула, она тоже махнула приветливо, потом

ушла с детьми в комнату. Я почувствовала, что не только не скучаю по своим детям сейчас, но даже мне приятно, что я одна и свободна. Погода хорошая, ветерок приятный. Мне захотелось походить одной по улицам, съесть мороженое, пойти в кино. Я вошла в скверик и напилась из фонтанчика. Надо идти домой, а дома раздраженный Лазар, надо убираться в квартире и помогать Лазару готовить обед, а Лазар будет кричать, что я все плохо делаю. Я не делаю плохо, только, пожалуй, медленно и неловко.

В квартире сейчас все будет пахнуть... Запах раскаленного масла станет душным, и мытый рис запахнет водяной свежестью, и резаная морковка... И жарко запахнут приправы... Это все очень яркие и сильные запахи. В такой маленькой квартире они какие-то неестественные, и от них почти становится нехорошо. Для них нужен двор, чтобы во дворе все готовить, плескать воду и все запахи чтобы сливались с этим солнечным воздушным пространством двора.

Дома Лазар и правда готовил пилав, и надо было ему помогать и еще мыть полы, вытереть пыль, и он сердился и кричал от нетерпения и досады. Когда Лазар в хорошем настроении, он утром сидит и смотрит на меня, когда я режу хлеб, так кротко и задумчиво смотрит, будто даже любит меня за то, что у меня медлительные движения и неловкие пальцы. Но сегодня он не может быть в хорошем настроении. С каждым часом он раздражается все сильнее. Если бы можно было сейчас убежать, бродить по городу; Борис и его жена пришли бы, а нас нет; позвонили, позвонили бы у двери и ушли бы; а вечером мы сами бы съели пилав... Я улыбаюсь и сразу быстро сжимаю губы; Лазар может не понять, почему это я улыбаюсь, и рассердится на меня, и ему станет еще хуже.

Лазар поставил пять тарелок. Он пригласил этого К. Я знаю почему. Потому что мы с тех пор еще всех денег не отдали, когда у маленькой была диспепсия, нужна была капельница и то лекарство, я уже забыла... И Лазар одолжил у К. деньги.

Я спрашиваю, что хочет К. попросить у Бориса. Лазар отвечает немножко грубо (интонация такая), но, кажется, ему тоже легче от этой, пусть маленькой, но честности... В голосе Лазара — брезгливость, он уже противен сам себе. Ему плохо. К. хочет попросить, чтобы Борис помог ему жениться на немке из ФРГ, отвечает Лазар. Больше никаких честных вопросов я не могу придумать, но вроде бы начался разговор, и я по инерции спрашиваю: «А как он будет с ней разговаривать, он же не знает немецкого языка?» Это уже надуманный вопрос и, значит, нечестный. И Лазар это чувствует и отвечает грубо: «...откуда я знаю!» Наверное, все это может восприниматься комично, но это совсем не комично, потому что это наша мучительная жизнь и наше задыхание в этой жизни...

Уже надо одеваться, приводить себя в порядок. Почему-то квартира вдруг стала очень тесной, мы не можем в двух комнатах разойтись, наталкиваемся друг на друга; Лазар в одних трусах, и прикосновения мои случайные к его телу меня возбуждают и усиливают раздражение. Мы говорим друг другу нелепые, нелогичные и злые слова. Лазар спрашивает зло, собираюсь ли я оставаться в таком виде...

— А ты?

Но ведь и он, и я, мы оба знаем, что, конечно, не останется Лазар в одних трусах и я не останусь в грязном халате и босиком... Я виновата, я не должна поддаваться мелочному самолюбию; я должна думать о том, как бы успокоить Лазара, а совсем не о том, чтоб обязательно ответить на его слова.

Я стою в ванной и протираю лосьоном лицо. Лазар вошел. Мы не договорились, кто первый будет мыться. Несколько моих баночек на полочке под зеркалом вызывают у него новый приступ раздражения. Мужчины, уже немолодые, особенно не любят женскую косметику. Думаю, это потому, что им, наверное, кажется, будто они выглядят хуже своих жен. И еще, наверное, в этих красках Лазар видит еще одну ложь и чувствует, что лживость человеческой, нашей жизни проникла через эти мелочные игрушки и в его дом...

Я положила ватку на полочку, но увидела, с каким отвращением Лазар глянул на эту ватку, снова взяла ее и зажала в пальцах.

— Вымойся первый, Лазар, и побрейся. Я ведь все равно дольше тебя буду собираться...

Но Лазар передразнивает мою интонацию и говорит быстро, что он ненавидит, когда я притворяюсь покорной и ласковой... Тогда у меня глаза наполняются слезами и я говорю тоже со злобой, что и я его ненавижу, всегда ненавижу. Глаза его

вдруг перестают быть злыми и становятся сосредоточенными, и смотрят на меня, как будто вдумчиво и беспристрастно меня всю видят; смотрят на меня без всякой уже злобы, но и без доброты, испытующе как-то.

Лазар выходит и спокойно прикрывает дверь. Я моюсь, потом подкрашиваюсь... Выхожу из ванной в незастегнутом халате. Не хочу опять столкнуться с Лазаром. Думаю, и он не хочет. Пойду на кухню. Подхожу к двери кухонной, он стоит в кухне близко к двери; наверно, прислушивается, ждет, пока ванная освободится; думает, я в комнату пойду. Ну я и пойду в комнату, оденусь...

Лазар пошел мыться. Я думаю, что надеть. Два домашних платья — это просто тряпки, нельзя. Слишком нарядиться — смешно получится. Надену пестренькое платье, оно легкое и не такое ношеное. Причесалась и подколола волосы красной заколкой. Мне вдруг хочется надеть ожерелье и серьги, которые мне Лазар купил когда-то в горах. Не думаю, понравится ли ему, просто надеваю — и все.

Лазар уже стоит, ему тоже надо одеться, но он ждет, когда я выйду. Я выхожу из комнаты, отвернув лицо. Через несколько минут Лазар меня зовет по имени. Голос у него обычный, даже мягкий. Я понимаю, что надо войти, как обычно, не нужно дуться и делать вид, будто что-то серьезное произошло между нами. Я вхожу. Лазар спрашивает, что ему надеть. Белая рубашка и черные брюки — как-то полуофициально и смешно. Джинсы и голубая рубашка? Да, и мне нравится. Иду на кухню. Все приготовлено. Салаты... Все красиво выглядит, будто и не мы с Лазаром готовили, а какие-то чужие люди, все отчужденное какое-то. Тихонько иду к двери и заглядываю в большую комнату. Лазар, уже одетый, стоит спиной ко мне. Вначале показалось, он закрыл лицо ладонями; я испугалась; нет, просто держится руками, немного присогнутыми в локтях, за эту буфетную полку. У нас такой старый буфет с зеркалом, еще в квартире родителей Лазара он стоял...

Когда маленькая заболела, я помню, Лазар стоял вот так, выпрямившись, закрыв лицо ладонями, и плакал. Это был тот громкий плач, который называется рыданием; и в буфете чуть дрожала ритмически, слабым стеклянным звуком чайная посуда на полках... И все это было так странно, и почему-то так красиво это было, и мне тогда на какой-то миг показалось, что я не должна разрушать эту красоту своими мелочными утешениями.

Я помню еще мужские слезы... Как я, маленькая совсем, лет пяти, сижу у какого-то очага... да... И огонь, словно целый мир огня, странно живущий. Напротив меня сидит мой дедушка; он в своем черном грязном пиджаке, в таких же брюках, ворот грязной светлой рубашки расстегнут, шея крупно сморщенная, лицо искаленное; бесформенный деформированный рот, словно пещеристая приоткрывшаяся щель; страшный расплзшийся нос и отвисшие и запавшие щеки... Рядом огонь, и от близости огня все это становится четким, твердым и на что-то похоже, на такое, что я видела на цветных фотографиях в книгах, красивое и древнее... Бронза! У него страшные нависшие косматые брови, грязная черная кепка надвинута на лоб, он смотрит на огонь и не видит меня... Будто бы этот человек и этот огонь связаны какой-то духовной близостью, не какой-то мелочной человеческой духовностью, а совсем другой, как, например, огонь и металлы... Глаза его совсем раскрываются, поднимая груз тяжелых сморщенных век. В глазах — слезы... Глаза — черные, словно черные живые драгоценные камешки большие... И от слез в них живой, красивый и густой блеск. Пальцы крепко сплетены, они тоже красивые, большие и темно-бронзовые.

Неужели и сейчас Лазар плачет? Я осторожно и нерешительно останавливаюсь в дверях. Лазар оборачивается ко мне. Он улыбается. И вдруг я понимаю, о чем он подумал. И улыбаюсь, потому что знаю, я правильно угадала. Лазар начинает говорить, и я уже точно знаю, я правильно угадала.

Это было года два тому назад. Лазар вдруг сказал нашему Лазару Маленькому, пусть тот поднимает сверху карты игральные из колоды по одной, рубашкой, изнанкой сверху, а Большой Лазар угадает, что на карте нарисовано. И он все карты угадал... Я даже немного испугалась, потому что не могла себе объяснить, как это он сделал. Мальчик выскочил из-за стола, ухватил его за руки: «Ну как ты это делаешь? Ну скажи! Ну ска-ажи!» Я тоже начала возбужденно просить... Наконец он сказал, и мы разочарованно засмеялись. Все очень просто было: Маленького Лазара он посадил так, что, когда мальчик поднимал карту изнанкой сверху, картинка отражалась в буфетном зеркале. Большой Лазар стоял напротив зеркала и все видел.

Лазар оглядывает меня; я вижу, что ему нравится, как я оделась, и радуюсь...

Время быстро пошло. И позвонили в дверь. Мы как-то сразу обмерли, будто тяжесть на нас какая-то свалилась — уже они! Лазар пошел открывать. Мы почти обрадовались, это был К. Он принес большой букет. Нам очень стало тоскливо. Цветы казались нелепыми, напыщенными. Я нашла в кухне синюю стеклянную вазу, мне подарили еще в школе на день рождения. Поставила букет. Лазар перенес вазу с цветами на буфетную полку. Стекло у вазы грубое, посредине стола поставить, будет как-то очень просто выглядеть. Этому К. Лазар сказал, что на полке цветы смотрятся красивее. К. одет в импортный полуспортивный костюм летний. Он в приподнятом настроении. Серьезно верит, что Борис будет делать ему одолжение? Или что-то важное собирается предложить взамен? Очень пошлым мне кажется этот К. Он оглядывает нас самодовольно и начинает снисходительно хвалить меня, говорит, что я хорошо выгляжу, что он будет за мной ухаживать. У него такой грубогромкий голос. И я знаю, что на самом деле он считает меня совсем некрасивой и с какой-то брезгливостью относится ко мне, потому что у меня большие легкие.

К. предлагает открыть бутылку пива. Голос у него такой противный, у меня в ушах боль. Лазар натянуто отвечает, что не надо открывать, сейчас гости уже придут. Еще ждем. Я представляю себе, как они там разговаривают о нас, как бы им вернуться от наших просьб, как они презирают нас. Почему это унижение? Они ведь не умнее нас.

Я не помню, как идут эти первые бестолковые минуты после их прихода. Я показываю, где мыть руки. К. очень громко говорит и громко смеется. Он называет жену Бориса «госпожа» и со смехом просит его перевести, что вот «госпожа» — это «фрау»... Все противно и стыдно. Она дежурно улыбается этому К. Борис не скрывает своего презрения к нему. По-моему, она твердо решила отводить разговор от всяких просьб. Эти женщины с дежурными улыбками, они ведь с таким очень твердым характером. Лазар мне говорил, что Борис теперь выглядит, «как настоящий европеец». У этого Бориса такой нарочитый вид, будто он показывает специально, с какой легкостью он теперь носит дорогие потертые джинсы и очки в дорогой оправе. Она начинает спрашивать (по-немецки), турецкие ли это блюда: пилав и салат из нарезанного сладкого перца... К. стоит с напряженным лицом; ему, наверное, неловко, он ведь не понимает по-немецки. Борис переводит ее вопросы, в голосе у него демонстративная тактичность. Лазар отвечает ей (тоже, конечно, по-немецки), что пилав — это восточное кушанье, а салат — общеполитическое... Она, конечно, притворяется. Никакая это для нее не экзотика. Она это нарочно, чтобы отнять у нас время, чтобы Лазар не успел поговорить с Борисом о деле.

Дальше помню... Но хочу сначала сказать, пока я не забыла... Вот видишь человека, смотришь на него со стороны и замечаешь, когда он что-то делает неправильно и себе во вред, кажется, вот сейчас посоветуешь ему — и он исправится; а не понимаешь: ведь эти его неправильности — это он сам, это его натура, и чтобы ему помочь, надо все время придумывать, находить какие-то осторожные, бережные слова и действия. А если просто так говорить, ничего не получится. Еще и человек может сопротивляться, не верить тебе, и ты и сам можешь быть не уверен в себе. И еще... Уже другое я хочу сказать. О другом... Иногда просишь человека о чем-то, хорошо относишься к этому человеку, даже любишь; но когда просишь, уже и сама думаешь о себе: может, и не люблю, может, нарочно притворяюсь, внушаю себе эту любовь, чтобы легче было просить.

Да, это... Мы уже сидели за столом. К. уже сказал много пошлостей, какие-то пошлые тосты. Поели уже кое-что. К. выставил свой крепкий локоть на столе. И Борис будто отгорожен этим локтем. К. ему что-то гудит напористо, будто шмель, залетевший в комнату. Лазар не может сейчас говорить с Борисом и ест пилав. Нервничает, и чуть убыстренно вилка в его руке подвигается от темно-желтого риса на тарелке к губам, чуточку уже залоснившимся.

Лазару нельзя остро. Но если я ему сейчас это скажу громко.. Зачем? Чтобы показать всем здесь, какая заботливая? А если потихоньку скажу — тоже зачем? Чтобы ему показать свою заботливость о нем? И только раздражить понапрасну. Он ведь и сам знает, что ему нельзя острое, и если все-таки ест, значит, очень хочется; он меньше нервничает, может быть, сейчас, когда ест... Когда у него болит желудок, он прижимает ладони к животу, на лице у него такая тревожная тоска, он мечется по квартире, не хочет лечь, он боится смерти, боится — вдруг операция... Я помню, как меня одно время этот его страх раздражал; мне

было стыдно, что я люблю человека, у которого болит живот, и он боится так открыто смерти, и у него пахнет изо рта, и он воспринимает свою совсем не страшную болезнь как что-то очень-очень серьезное, и эти нестрашные и не такие уж сильные боли становятся смыслом его жизни... Теперь Лазар гораздо спокойнее переносит эти приступы, наши девочки за ним ухаживают... Для них это радостно-серьезное состояние, когда они сознают себя нужными взрослому человеку, своему отцу. Старшая умеет уговорить его лечь, а я не могу. По-моему, для них это и немножко игра, но меня удивляет, что они не пытаются имитировать, как дети при игре «в доктора», какие-то медицинские манипуляции; уколы, например... Я помню, как они с таким серьезным видом разложили у него на животе, где желудок, кожурки от огурцов, сверху наложили чистое, сложенное вдвое полотенце; и старшая не сводила глаз с будильника, будто было очень важно, сколько времени должна продлиться эта процедура. Он лежит, бедный, в одних трусах, и выражение лица у него такое жалобное и серьезное. И лицо моей старшей девочки не похоже на мое лицо; когда она смотрела на будильник, я почувствовала в ее лице какую-то нежную внимательность, женственную пристальность. Я не умею так, у меня слишком много своих собственных мнений по самым разным вопросам, и с чужими мнениями я не соглашаюсь, а свои доказываю очень резко. Это плохо. Другой раз маленькая прижала свои ладошки к его животу; и серьезность ее личика такая милая, и эта милая напряженность на личике, эта энергическая уверенность, что вот сейчас, еще немножко, и ничего у него не будет болеть.

Лазар бедный... У него и кожа на лице огрубела, и видны седые волоски на голове и в бровях, а на подбородке кожа отвисает немного; и живот выпячивается...

Мне так жаль его, и от этой моей жалости к нему он мне такой милый... Девочки очень его успокаивают. И странно: еще недавно совсем какое тонкое было у него лицо и нежная темнота на щеках после бритья; а ноги — когда в одних трусиках или совсем без ничего — будто в альбоме, где фотографии скульптур Микеланджело; так было странно и радостно, что это все-таки живые загорелые человеческие ноги, не мраморные, и такие совершенные; а теперь бледные, будто отечные, и видно, что на них много волос. И у меня вдруг такое ощущение, будто это все так быстро, как бывает у насекомого или у цветка, на глазах почти, за считанные дни...

Вот я о Лазаре сказала, но у меня самой есть только очень смутное ощущение, что я была телесно другая — волосы темные и сильные, и сама вся крепче и сильнее. А теперь у меня туберкулез обострился и мучают разные нарушения женские. У меня стали слабые руки, я быстро устаю. Единственное, что осталось, это то, что я еще могу подолгу ходить, много могу пройти. Я люблю ходить по центральным улицам. Иногда эта доброта Лазара изумляет меня. (Наверное, всякая бескорыстная доброта должна изумлять...) Он так тонко все замечает, сам предлагает, чтобы я пошла пройтись; и остается дома, готовит еду. Мне стыдно, потому что ведь у него и без того много работы. Но я так эгоистически не могу себя переломить и иду на прогулку... Сын ходил со мной, мы разговаривали, но я стала уставать от этих разговоров и рассуждений на ходу, в конце уже немножко откашливаюсь и выплываю кровь; Лазар и это заметил, я поняла; теперь мальчик под разными предлогами отказывается идти со мной, отец ему сказал; я и перестала звать сына, не хочу этой фальши, мне ведь и правда хочется идти совсем одной. На улицах меня не занимают ни люди, ни дома, ничего; только то, что я иду, двигаюсь, и какое-то ощущение относительной безопасности... Перед глазами будто бы такие крохотные прозрачно-зернистые разноцветные переливчатые круги. И даже иногда, когда закрываю глаза, они остаются. Щурю глаза, чтобы лучше видеть, глаза устают... Неужели это от болезни? Мне кажется, я противна себе самой; будто я совсем одна на свете, и ощущение какой-то странной и грубой угрозы... Я умом знаю, что когда-то была относительно здорова, но тех, прежних своих ощущений не помню. Иногда вдруг мысль — спросить Лазара, как он воспринимал меня прежнюю... Но было бы жестоко мучить его такими вопросами.

Я думаю, надо и мне поговорить с этой Хели... Борис уже несколько раз назвал ее по имени и время от времени пощелпывает ее по предплечью или по бедру, показывает нам, что она ему принадлежит; и все блага, которые она ему дала: фээргэшная жизнь, очки в модной оправе, и не знаю, что еще, — все это он заслужил, он, а мы не заслужили, и он лучше нас...

Она еще молодая, моложе меня, или это кажется, потому что у нее кожа гладкая. Наверное, она питается свежей хорошей пищей. Одеты в такие тоже

выцветшие джинсы и в белую блузку из какой-то хлопчатобумажной материи. Без украшений. Лицо, и шея, и руки загорелые. Ну конечно, на пляже загорала с Борисом. Без лифчика... Губы у нее полненькие такие, свежие... Только чуточку она подкрашена. Катя, наверное, определила бы, что это очень дорогая блузочка и очень дорогая косметика, которая так незаметно и естественно оживляет краски лица. Но я не знаю. Глаза темно-карие. И волосы темно-каштановые, такими спиральками завиваются, и на пробор, и сзади на затылке такой жгутик, и заколочка незаметная. Нос тонкий, острый и даже с горбинкой. На какие-то мгновения у нее серьезное выражение, будто она страстно решает какую-то важную задачу, но тотчас улыбается всем этой дежурной улыбкой. Зубы хорошие, белые и большие. Что-то странный этот нос; может, она и не немка, а еврейка... Сначала я злюсь на себя, потому что нам с Лазаром приходится унижаться; после — на К., на Бориса, который всегда был против меня; на эту женщину, на немцев, на евреев... Это, кажется, называется «глухое раздражение». Какой-нибудь неразумный волшебник если бы сейчас исполнил мое подсознательное желание, вся вселенная погибла бы. Ах, глупо... Хотя бы попробую говорить по-немецки. Другой случай вряд ли будет. Что у меня получится? Я обращаюсь к ней; говорю, что хочу немного поговорить по-немецки, у меня нет практики, можно ли говорить помедленнее. Она улыбается и отвечает: да... да... Она смотрит на меня. Кажется, она пытается определить, насколько я похожа на своих единоплеменниц. Это глупо и унижительно. Я — это я. И это моя манера одеваться, моя неловкость в движениях и жестах, мое лицо. А другие женщины — они просто обыкновенные, и в этой обыкновенности своей они лучше меня. Я спрашиваю, в каком городе она живет. Она отвечает. Спрашивать меня ей ни о чем не хочется. Наверное, ей хочется уйти, и ей жаль Бориса, которого мучит этот К. И эта жалость сближает ее с Борисом. А мне вот назло становится жаль этого К. Я спрашиваю, кем она работает. Она отвечает, что она врач. У меня не хватает слов спросить, какой врач. А мы с Лазаром не знали, чем она занимается. Но Борис и Лазар ведь не переписываются, это Лазар случайно узнал, что Борис приехал. Я говорю, что у нас трое детей. А у вас есть дети? Да, у нее две девочки, четырнадцать лет и шестнадцать. Значит, это до Бориса. И она не такая уж молодая... Тут я замечаю, что почти при каждом слове делаю такой странный жест обеими кистями, будто хочу взять в ладони лицо собеседницы. Видно, этот жест как-то неосознанно помогает мне подбирать слова... И Лазар заметил этот мой жест. Почему-то рассердился. Хватает меня за руку, встряхивает мою руку и шипит, чтобы я прекратила этот нелепый разговор. Все слышат и видят. К. ослабил хватку и усталился на нас уже немного осоловелыми глазами. Борис откинулся облегченно на спинку стула и смотрит презрительно. Его жена демонстративно отвернулась... «Лазар, не надо», — тихонько говорю я. Ему, конечно, кажется, что я нарочно притворяюсь покорной и ласковой. Но руку мою выпустил. Я встаю. Мне стыдно, я чувствую, что покраснела. Беру пустую уже салатницу и несую в кухню. Пью воду. Когда возвращаюсь в комнату, все понимаю... Так и остаюсь неловко стоять в дверях. Никто на меня не обращает внимания. К. опять взялся за Бориса. Лазар придвинулся к этой Хели и очень быстро и хорошо картавит по-немецки. Сначала у меня будто условный рефлекс срабатывает. Всегда, если Лазар заговорил с женщиной, даже близко подошел, я начинаю ревновать. Хотя говорит он только по делу, и лицо у него мрачное, и брови сдвинуты сурово, и ни за кем он не ухаживает, я все равно ревную. И сейчас, когда я вижу, как это он близко сел к ней и так бойко заговорил, меня будто ударяет волна душного воздуха. Я даже пошатнулась... Но вот я все поняла. Это, наверное, он немного опьянел, иначе зачем такие глупости? Услышал слово это — врач. И теперь выцарапывал консультацию насчет моих легких. Какой она там врач, по какой специальности; и ведь за столом и ей неприятно вести разговор о крови, о болезнях; и, наверное, она испугалась, что сидит за одним столом со мной — все-таки кровь из горла почти каждое утро; и вообще он ведь должен совсем о другом попросить Бориса; нельзя же сразу несколько просьб. Ничего не понимает Лазар. Бывает такое состояние, когда просишь и уже ничего не понимаешь и только до слез по-детски обижаешься, что человек тебе отказывает... Ужасно слышать это «я ничего не могу сделать»... И хочешь его унижить, заставить честно признаться, что не «не могу», а «не хочу». Хочешь его унижить эти... изнанием... Но зачем? Человек не хочет — и все! Может, а не хочет тратить свое время и свои силы, и деньги, и связи на исполнение твоей просьбы, твоей мольбы... Он плохой, этот человек... Она плохая,

Лазар. Я тоже плохая, я даже сейчас не верю, что ты меня любишь, просто ты не хочешь терять привычный свой жизненный уклад; если я умру, этот уклад нарушится. Она отвечает отрывисто и почти не скрывает досады. Нет, она детский врач, она занимается совсем маленькими детьми, новорожденными. Да, если кровь идет горлом, это может быть все что угодно. Да, зубы, желудок... Да, если уже есть туберкулез... Нужно обследование. Нет, она не знает, как это делается — направление на лечение в другую страну...

Глаза у Лазара такие злые, даже я боюсь смотреть, чтобы не встретиться с этим тяжелым взглядом. Он злится на себя, на свое унижение, понимает, что не вытряхнет, не выпарапает из этой женщины лечение для меня и все те блага, которыми она пользуется, а мы этого тоже заслуживаем, может, и больше, чем она, и не имеем... Он уже просто не может остановиться, и ему хочется сделать ей хоть немного плохо, причинить неудобство хотя бы этим разговором, этими отчаянными просьбами... И тут она встает и громко, невежливо (это нарочно) говорит ему, что, извините, ей нужно выйти из-за стола... Борис пользуется моментом, тоже стряхивает с себя настойчивого К. и тоже громко спрашивает, нельзя ли выпить кофе; напоминает как бы, что пора все это кончать... Лазар встает, велит мне сесть и сам идет в кухню, варить кофе... Он, конечно, не хочет, чтобы я шла за ним и упрекала его или чтобы я сама сварила кофе; ему хочется побыть одному, очень измучился... А мне хочется его обнять крепко и расстегнуть платье и прижать его лицо к своей груди — и больше ничего...

Я помню разговор, который этот самый К. и завел... Эта мода осуждать идею равенства. И кто? Совсем не аристократы по рождению, неудачники, слабые люди. Нет, это смешно — такое детское нищезанятие у этого К. Он выдвигает вперед генетику, будто он в ней что-то понимает — нашел боевого слона! Но Лазар говорит, что у великих людей что-то не рождаются великие дети; он верит в наследственность на уровне менделевского горошка — или что он там выращивал; цвет волос, форма ушей — это, вероятно, наследуется; а когда ему внушают, что дети рабочего глупее детей академика!.. Но не бывает равных способностей! (Это К.) Да Боже мой, ни о каком равенстве способностей не идет речь — о равенстве возможностей! (Лазар.) Пример у Лазара простой: двое хотят поступить в гимназию с английским языком; одного принимают, потому что у него отец со связями, а другого — нет, не принимают, хотя у него побольше способностей, чем у первого... Я отвлекаюсь на свои мысли. Интересно, думаю я, а если эта энергия злая, эта способность подличать, заводит связи, выгодно пристраивать своих детей, с успехом идти на компромиссы, если это все — тоже способность, такая же, как способность к математике или к языкам, что тогда? Как тогда нам сопротивляться, чтобы нас не утопили, не растоптали, чтобы мы не задохнулись? Нашего мальчика скоро надо будет пристраивать; и тоже мы ведь хотим в гимназию с английским языком; и придется опять унижаться...

Что еще я вспомнила? Вот... Эмил, который вместе с Лазаром работает в академии. Все к тому... о чем я все время думаю. Этот Эмил — еврей, и вот он как-то так получил разрешение поехать в гости в Израиль, он ездил к своему какому-то приятелю, по приглашению. Лазар мне сказал, что теперь Эмил приглашает нас в гости, Эмил будет рассказывать свои впечатления. Я подумала, что не надо идти, ведь, наверное, Эмил пригласил каких-то своих единоплеменников, рассказывать будет, собственно, для них, а мы будем себя неловко чувствовать. Но на лице Лазара такое милое кроткое выражение интереса, ему хочется послушать. Зачем я буду всякие свои предположения высказывать... Мы втроем пошли. Конечно, и Лазар Маленький. Вот уже года полтора я замечаю, как он тянется участвовать в разговорах взрослых людей, особенно если мужчины разговаривают; он прислушивается напряженно, ищет возможность вставить какую-нибудь реплику. Я думаю, он совсем не глупее их, когда речь идет о политике или о философии. Конечно, всякое бытовое он хуже знает, но это и не главное. Иногда его реплики действительно немножко не попадают, но это потому, что он волнуется, и потому, что к нему несправедливо, могут оборвать, и даже резко, не дают договорить до конца... А чем они гордятся? Тем, что старше его? Я боюсь, вдруг его сильно обидят... Но он не обращает внимания на эти обиды, все равно тянется, прислушивается и сам стремится говорить.

У Эмила сидел еще какой-то его знакомый; значит, мы, жена Эмила, Ива ее

зовут, она болгарка, и их дочка — годика три, мешала, конечно. Он интересно пересказывал, разные сценки, ситуации... Но вот он сказал, как это, уже когда он улетал, в аэропорту две очереди на таможенную проверку; ну, уже из Израиля он улетал; и он стоял в очереди, где евреи стояли, их не очень тщательно проверяли, а рядом была очередь арабов, их тщательно проверяли... Я сразу встрепелась и спросила, не стыдно ли было ему стоять в такой вот привилегированной очереди. Лазар даже мотнул головой и брови сильно сдвинул, он был недоволен моим вопросом, ему не хотелось никакого спора, хотя я совершенно уверена, что в этом случае Лазар был со мной согласен. Эмил посмотрел на меня так хитровато, дипломатично. Он хорошо выглядел, как это бывает после зарубежной поездки, голубые водянистые глаза у него стали довольно яркими. Решил, что в этой компании может не скрывать своих симпатий к Израилю, и ответил мне, что евреи в Израиле имеют причины обыскивать арабов — а вдруг бомба спрятана или что... Я сказала, что причины для того, чтобы обыскивать всех подряд людей одной национальности или одной религии, всегда можно найти. Можно и не только всех обыскать, но и всем поменять имена или всех сжечь в газовой камере. И с его единоплеменниками уже так поступили в прошедшую войну. Тут Лазар глянул на Эмила и быстро улыбнулся в сторону; Лазару, наверное, стало интересно, что теперь Эмил ответит мне.

Я, как это бывает со мной, говорила запальчиво, и Эмил тоже понемногу впал в запальчивость, сказал, что вот именно для того, чтобы не повторились те преследования и убийства прошедшей войны, евреи и хотят быть сильными...

— Значит, — сказала я, — испытания ничему не учат людей, ничему, кроме несправедливости к другим людям? Все хотят быть сильными за счет чужих несчастий...

Конечно, разговор перешел на положение тех, кому поменяли имена. Я сказала, что, даже если бы и была автономия болгарских турок внутри Болгарии, ничего плохого не было бы в этом. Лазар Маленький бросился в разговор и сказал, что должна быть свобода передвижения из одной страны в другую — как человек захочет. Если во мне турецкая кровь, я что, обязательно должен все время жить в Турции?! Ива, жена Эмила, сказала, что если бы сделать эту свободу передвижения, то все захотели бы жить только в Париже, в Лондоне или в ФРГ... Знакомый Эмила поддержал ее (я не поняла, этот знакомый, он еврей или нет). Я заметила, что Лазару Маленькому стало приятно, потому что его реплику принял всерьез и всерьез возразили. Эмил сказал, что вот перемена имен — это такая месть за времена турецкого ига. Его жена одобрительно кивнула. Я встала. Я тогда почувствовала, что Лазару не нравится весь этот спор, он тяготеет этим спором; он уже давно считает все эти домашние споры бессмысленными и тягостными; но я не могла остановиться. Я встала и сказала Эмилу, что в германских и австрийских газетах конца тридцатых годов писали о его единоплеменниках кое-что поинтереснее этого пресловутого «турецкого ига»; и все эти писания обосновывали возможность уничтожения миллионов людей — и женщин и детей; и я всегда считала, что эти писания — ложь; а теперь я буду считать их правдивыми, а убийства в газовых камерах буду считать просто обыкновенной мезтью! До свидания!

Я вышла из квартиры. Дверь входную спокойно прикрыла. Никто не удерживал меня. Я села в подъезде на скамеечку. Ведь этого Эмила, в сущности, и его единоплеменники нисколько не волнуют. И никакая справедливость или несправедливость не волнует его. Его волнует только собственная шкура... Вот он еврей, и если будут убивать евреев, то и его убьют, и потому он начинает кричать, что убивать евреев несправедливо; а всех других, значит, справедливо, или, по крайней мере, Эмилу будет безразлично... Но Лазар сердится на меня за этот спор. Лазару будет совсем тяжело и одиноко на работе; там ведь все чувствуют, что Лазар не такой, как они; что он притворяется, когда пишет все эти лживые статьи и книги... А с Эмилом у него какие-то более или менее человеческие отношения. У меня слезы навернулись на глаза, так мне стало жалко Лазара. Еще посидела. Вдруг шаги вниз по лестнице в подъезде... Думаю: это Лазар или сын? Лазар Маленький. Он сел рядом со мной. Я взяла его за руку. Такая ручка у него, длинненькая, тоненькая еще, но тверденькая такая; он улыбнулся, согнул руку в локте, сжал кулачок, и мускулы надулись.

— Лазарчо, — говорю, — я пойду извинюсь.

— Он тебя оскорбил, ты ему ответила. Зачем извиняться?!

— Все равно. Он к отцу нашему хорошо относится...

Я представила себе одиночество моего Лазара Большого на работе и пошла. Чувствую, Лазар Маленький не идет за мной. Я оглянулась, позвала его... он пошел ко мне... без большой охоты... Я позвонила. Эмил открыл. Быстро и не глядя ему в лицо, сказала: извините... Он заговорил суетливо, что ничего, ничего... После я пила кофе, что-то говорили о кино, я все время молчала, чувствовала себя униженной...

В комнате тяжело пахнет выпившими мужчинами. Я распахиваю настежь окно. Жена Бориса почему-то оборачивается ко мне и говорит «спасибо» — отрывисто...

Еще светло. Все-таки лето. С улицы слышны какие-то голоса, как всплеск шумной воды вверх в фонтане. Машина проехала. Тихо. Лазар кофе мелет. Прямо на глазах темнеет в комнате. Свет не хочется включать. Сейчас все начнут по очереди выходить. У меня какая-то тупая бредовая ревность... Тупо думаю, может, это Лазар не потому, что я больная, просил ее; может, это он так за ней ухаживал...

Какая я!.. Когда Лазар в гимназии учился, кончал уже, он влюбился в одну свою одноклассницу, Лиляна ее звали... Такая школьная любовь. Он смотрел, молчал. Молча давал ей цветы. Может, большего он и не хотел... А когда они поехали летом работать на раскопках, она там сошлась с шофером. И все это знали и говорили об этом Лазару. Одни хотели ему сделать больно, другие — наоборот — утешить. Он тогда мучился от отвращения к себе. Не к ней, а к себе... Это мне Софи рассказала. А Лазар не рассказывал, и я его не спрашиваю, не надо причинять ему лишнюю боль. Мне нравится его теория о том, что в любви человек свободен. Она свободна: хочется ей — и не любит его, идет к другому. Он тоже свободен: хочется ему — и любит ее, и стоит у ее дома, и смотрит, как это она идет по улице. Но если она не хочет, не надо к ней подходить и говорить с ней, стеснять ее свободу. О его другой любви я больше знаю. Она моложе его, но раньше кончила университет, работала в школе. И очень интеллигентные у нее были родители, такие думающие и совестливые, порядочные служащие, бывшие чиновники, на такой старомодный европейский манер, как, наверное, бывало еще до первой мировой войны. Лазар пришел с ними знакомиться, а когда он ушел, родители ей отсоветовали выходить за него замуж; сказали, что не сложится жизнь. И когда наутро он пришел и сделал ей предложение, она ему эти их слова передала; сказала, что не хочет, чтобы и Лазару, и ей было плохо, и отказала ему. Мне нравится, что она при этом не говорила, как она его любит; чтобы не получалось: вот, она такая героиня, жертвует ради него своей любовью к нему. А ведь она его любила, я знаю. Я бы так не смогла. И он потом ведь знал, что я его люблю и меняюсь в лице, когда слышу его имя. Ему сказали, все заметили. Может, я хотела, чтобы заметили? Тогда нечестно... А я готова какие угодно причины найти, лишь бы себе самой доказать, что это я, я, я его люблю, а не он меня. Почему-то мне так легче. Потом она вышла замуж, и у нее сын есть... Я ее видела несколько раз случайно, вид у нее усталый. Вот с ней бы я дружила. Но это невозможно. И Лазару было бы больно, и ей, наверное... Когда мы еще только поселились в том подвальном этаже, накануне дня рождения Лазара она пришла. Стоит на пороге. Такое достоинство и бескорыстие. И, кажется, это передается... Я поняла, что не надо ее приглашать в комнату, ей это не надо... Она сказала, что Лазар хотел иметь эту книгу, и отдала ее мне, попрощалась... Нет, она не для того пришла, чтобы показать мне, как она его любит, а просто чтобы у него была эта книга. И она мне доверилась. Значит, она понимала, что с плохой женщиной он не соединится. Вот она уже попрощалась и приостановилась, и покраснела, и попросила, чтобы я сказала, что сама купила эту книгу. И я поняла, что я так должна сказать, чтобы ему не было плохо. Потом она ушла и больше никогда не приходила. А эта книга, переводная, греческий поэт Кавафис... Лазар действительно хотел ее иметь и очень обрадовался. Но так быстро все прошло. Как будто что-то почувствовал. А когда я вспоминаю, то будто что-то светлое, хотя у нее темные волосы и глаза темные... Юли ее зовут.

Уже стемнело. И Лазар включил свет и до половины прикрыл окно. Пьем кофе. Лазар, бедный, вспотел, у него рубашка под мышками потемнела, она голубая, светлая, и видно...

Так мне хочется быть с ним без никого! И никто его не знает. И никто не любит его, как я. А я люблю его мыть под душем и всегда прижимаюсь губами к его телу, а вода течет, и губами чувствую его мокрое тело. Он стоит спиной ко мне. Я говорю, чтобы он держался крепко, он послушно упирается ладонями в стенку; я так сильно

его намывливаю, что он бы не удержался на ногах. Потом смываю мыло под струями. Мне нравится, как он голову пригибает и волосы мокрые начинают блестеть... А когда ночью я его целую там, где внизу, и он весь напрягается и вытягивается... И оно поднимается, так странно всегда, как будто само по себе живое... И Лазарь говорит так тихо, смешливо, напряженно и прерывисто: «Видишь... Вот что ты делаешь. Совсем измучила меня. Сколько можно...» Дыхание у него прерывается... А когда он так резко поворачивается ко мне и глаза так сжаты... Вот он уже спокойно лежит навзничь. А я сажу, поджав ноги, и смотрю на него в полутемноте предутренней. Я ему говорю, что, когда это спокойно лежит между его ногами, оно похоже на лежащего маленького человека в чалме. Лазарь прикрывается простыней и отворачивает лицо; я знаю, он краснеет. Другие так не умеют стыдиться. Я точно знаю. И не надо мне быть с другими, я и так знаю. Интересно, а Лазарь если с какой-нибудь другой женщиной, тогда он тоже так?.. Какая я ревнивая, сама себя мучаю... Он меня еще зубами так кусает за соски — даже больно. А у него соски такие маленькие и беззащитные, так осторожно я прикасаюсь губами... А он говорит: «Не дергай...» Я говорю, что я совсем не дергаю. «Нет, дергаешь». И какое-то детское серьезное упрямство в его тихом голосе. И странно так, взрослые люди серьезными голосами произносят ночью бессмысленные какие-то слова... И другие ночи, когда ребенок плачет, и злишься, и умираешь от усталости, и жалешь маленького, и ничего не понимаешь. А Лазарь понимает, он кладет ладонь на маленький животик, и ребенок успокаивается. А Лазарь так сидит возле кровати. А когда он сам усталый, то кричит, чтобы все стало тихо и что у него сил нет...

Уже кончается у них мужской разговор о том, как деньги зарабатывать. К. говорит о грибах, как грибы выращивают в сарае. Борис поддерживает его свысока. Как будто Борис такой уже иностранец, такой европеец и все это далеко от него. А сам наверняка ведь зависит от этой женщины. Она работает, а что он может заработать своими статьями? Лазарь как-то вяло передергивает плечами и улыбается какой-то смазанной улыбкой, устал, бедный мой...

Вот что мне неприятно: К. заводит разговор о перемене имен, разумеется, и обо всем остальном. Только этого не хватало! И без того тошно и сил не осталось. Борис говорит, что, конечно, это ошибка правительства. Теперь-то ему все равно, теперь это уже не его правительство! К. завел разговор о горах. Там войска и перестрелки. Он рассказывает, как женщин согнали в селе на какое-то собрание и заставили снять шальвары и косынки... Он обращается ко мне, хочет уточнить, чья это национальная одежда: шальвары и косынки. Не знаю, чего он хочет... Чтобы я сказала, что это хорошо и правильно, когда насильно заставляют снимать одежду? Я отвечаю, что шальвары — это гигиенично; по утрам, например, когда холодно и надо корову доить. Хотя я в жизни не доила никаких коров! К. предлагает доить коров по утрам в шерстяных чулках. И это мы все говорим вялыми, серьезными голосами. Как же это глупо и нелепо...

Вдруг я перестала думать о чем-либо, кроме этого желания обязательно высказать свою мысль. Я сказала, что мне смешна такая наука, которая с маниакальным упорством выискивает что-то общее у болгар с белорусами Полесья, например, или с русскими из средней полосы России; а эта кровная общность болгар и турок, о ней можно тома исписать; а такая наука не замечает, не желает замечать... Только рознь растравляет она между людьми, между близкими странами... Это уже принесло нам горе. Борис произнес как-то в пространство: «...славистика». Этот К. что-то заговорил о турецких насилиях и что вот от этого и есть у болгар эта самая общность с турками... насильственно... Но говорил он без горячности, ему не хотелось втягиваться в спор, в скандал; он ведь не для того сюда пришел. Я сказала со злостью: «Ну, если я тебя насильно одела, обула и дала тебе слова и культуру, так это еще не самое страшное насилие!» Борис хмыкнул как-то очень простецки. Странно это и не похоже на него. Я подумала, что он даже радуется, наверное, что мы вроде забыли о наших просьбах, отвлеклись, ссоримся. У меня такая злость и отвращение ко всему. Несколько раз было такое. Я спала одна, и мне снился страшный сон, будто я повисла в каком-то пространстве, какая-то пресная душная безвоздушность; я не могу пошевелиться, мне плохо; и это не кончается, я не умираю; мне очень плохо; и вдруг я во сне понимаю, что со мной: я больше не люблю моего Лазаря... И тогда я просыпаюсь, вся мокрая от пота, жилы бьются на висках, сердце колотится; но это все хорошо, я опять жива, люблю... В горле пленка, я встаю, у меня слабость, меня

качает; и в умывальник, в раковину выплевываю кровь... От этого сна только легкая тень страха, ужаса остается, вот и прошла; я ложусь и легко, сладко засыпаю...

Жена Бориса оглядывает нас, у нее теперь какое-то задумчивое и совсем человеческое, теплое выражение лица.

Душа Лазара уже стряхнула, как паутину иссохшую, все эти сегодняшние унижения. Душа его летит... Мы уже молчим, а он один говорит. О человеческом достоинстве, о том, как нельзя отнимать это достоинство у людей; как нельзя мучить людей унижениями; как нельзя унижать их, давая им это гнусное право унижать и мучить других... Теперь его лицо такое живое, чистое; а глаза его так чудесно и открыто сияют... Он будто молодое божество; с одной защитой, с одним невидимым щитом прелестной чистой красоты и милосердия. Он всех защитит... Я знаю, какое божество — Кришна или наш весенний святой Лазар.

Очки он снял... он так... когда весь в своих чувствах и мыслях, таким мальчишеским жестом снимает очки и зажимает в пальцах опущенной руки.

Он сидит перед нами так легко и свободно, чуть подавшись вперед, и говорит...

У всех такие серьезные и потаенно-радостные лица. Наверное, и у меня... Такие лица я видела в горах, когда несколько человек, совсем разных, пили из родника и плескали живую воду себе в лицо...

Мы прощаемся в прихожей. Как это все кончилось, как они поднялись, как мы все вышли в прихожую — не помню в подробностях. Лазар тихонько просит К. задержаться. Я понимаю, Лазар не хочет, чтобы этот К. продолжал им досаждать еще и на улице, а то еще и провожать их пойдет. А с кем не случилось такое, когда просишь и унижаешься... Она вдруг схватывает меня за руку. Неожиданное какое-то движение, слишком резкое и открытое. У нее сильные пальцы. Она начинает очень быстро говорить. И я прошу с просительной улыбкой: «Не так быстро, пожалуйста...» Она тоже улыбается и произносит: «Да, медленно...» И медленно говорит, что она мне завидует, потому что Лазар меня очень сильно любит, и что иногда лучше прямо сказать о каком-то чувстве, а не прятать его. Она сжимает мое запястье. Теперь она как будто унижена передо мной. Я пытаюсь проанализировать свои чувства: а если я испытываю удовольствие? Мне становится стыдно. Я стараюсь, чтобы мой голос был очень добрым и сердечным: «У вас все будет хорошо...» У нее кривятся губы. Ну, если Борис и не так ее любит, все равно он умный и волевой; пожалуй, за эти качества я даже его уважаю; он, конечно, понимает, что если уж он от нее зависит и она ждет от него любви, то он должен ей доказать эту свою любовь к ней.

Она ушли. Теперь Лазар говорит К., что мы скоро отдадим деньги. К. рвется на улицу. Я выхожу на балкон. Конечно, Борис уже поймал такси и их нет. К. покрутился, огляделся и пошел. Но это все совсем не смешно.

В комнате Лазар сидит за столом, наматывает на палец темную прядь волос и напевает... Он приподнял руку, согнутую в локте, и этот согнутый указательный палец кажется очень длинным и светлым. Когда у меня плохое настроение, я сержусь, если он вот так сидит, крутит волосы и напевает. Сейчас — не сержусь. Он развалился на стуле, одну руку откинул. Он забыл слова, что-то мычит, потом выпевает: «...Са-анта Лючи-иа...», потом опять мычит и выпевает опять. Он поднимает на меня смешливые глаза и спрашивает, не сержусь ли я на него. Мне становится стыдно, что он первый спрашивает, и я сама спрашиваю в ответ, не сердится ли он на меня. Мне хочется быть с ним... Убирать со стола не хочется. Я подхожу, прижимаю его голову к своей груди, подтягиваю к своим губам его откинутую вниз руку и чуточку покусываю кончики его пальцев. Я хочу потушить свет. Я не люблю, когда при свете... Но он вполголоса бормочет, растягивая слова:

— Не нужно... давай так поласкаемся...

Уже в постели я спрашиваю о главном:

— Ты ему отдал?..

Вдруг мне хочется, чтобы он ничего не отдавал, чтобы мы с ним не устраивали себе лишнего беспокойства в жизни. Но я этого не скажу вслух... не могу...

— Завтра в аэропорту, — отвечает Лазар.

— Так они завтра улетают?

— Ну да...

Утром мы вскочили, как раз чтобы без завтрака, без кофе бежать на улицу, хватать такси и добираться до аэропорта. Лазар прижимает к груди сумку, в сумке то, что он хочет отдать Борису.

Ну, мы успели. Нашли их. Я даже обрадовалась; значит, обязательные люди,

ждут. Народа много. Никому до нас дела нет. Все равно Лазар поднял чемодан Бориса, оттащил в сторону; Борис открыл чемодан, что-то оба засуетились, наклоняются...

Никто не провожает Бориса и его жену. Ну да, родители Бориса в другом городе живут, у моря. Это она там, наверное, так загорела. Она в тех же самых джинсах, в той же блузке, на плече — сумочка на ремешке. Такая легкая естественная небрежность. У меня с ней странный разговор. Она говорит, что мы, наверное, больше никогда не увидимся. Она знает, о чем Лазар просил Бориса. Она еще напомним Борису, и все будет сделано, и Борис даст знать через их знакомых, когда их знакомые сюда поедут... Потом она просит, чтобы я не обижалась, она действительно не может мне помочь с лечением, это у них очень сложно, и нужно много денег для хорошего лечения... Я думаю, их плохое лечение вполне равняется нашему хорошему, но я упрашивать не стану. Отвечаю, что это пустяки. Нет, она повторяет серьезно, это не пустяки, я должна лечиться... И, откуда ни возьмись, я не заметила, откуда, сует мне в руки ворох каких-то тряпок и какую-то косметику. И говорит уже опять быстро. Я еле разбираю, что это все я должна взять, потому что нашим врачам тоже надо давать деньги, она знает (ну да, взятки); и это можно продать, хотя все уже немножко использованное: и одежда, и косметика, но здесь все равно ценится, и она знает, что нам нужны деньги... Я — нет, нет, нет; она — да, да, да... Все лежит на скамейке ворохом... Теперь она заново вспомнила, как надо со мной говорить, и говорит медленно. Говорит, что всю ночь думала обо мне. Тут мне становится как-то странно. Что это? Думать о человеке, которому не собираешься помогать и явно не хочешь опять увидеться с ним. Может, это она о Лазаре думала, может, она просто влюбилась в него? Говорит, что меня трудно будет забыть, что ей еще придется восстанавливать свое душевное равновесие. Все это странно и даже фальшиво звучит, хотя и лестно для меня. Она продолжает, что нашла одну мелочь, которую мне будет приятно иметь, и что она просит у меня что-нибудь на память, «как талисман». Это совсем фальшиво, хотя и лестно, конечно. И что я дам? Ключок платя? А, волосы я заколола не заколкой, простым зажимом. Распускаю волосы и отдаю ей зажим. Она открывает сумочку, прячет мой зажим, вынимает маленькую книжечку, карандаш и что-то пишет. Лазар и Борис уже закрыли чемодан и разговаривали в стороне. Объявляют досмотр. Борис несет два чемодана, Лазар — большую, вроде рюкзака, сумку Бориса. Мы с ней поспеваем следом. Открывают чемоданы и сумку. Нам все видно. Лазар, я чувствую, замер. Мне тоже тревожно. Борис спокойно вынимает из чемодана то, что Лазар ему дал, и кладет в большую сумку. Чемоданы уезжают. Борис глядит на Лазара, смеется и бодро хлопает по своей сумке. Теперь они пойдут на самолет садиться. Они машут нам, мы машем им. Они пошли...

Тут я вспоминаю, что на скамейке остались эти тряпки, бросаю Лазара и бегу. Он — за мной. Я ему объясняю, что это все она нам оставила, на нашу бедность; о зажиме ничего не говорю... Лазар садится, перебирает одежду и косметику и говорит, что это все действительно можно продать; Софи продаст в гимназии своим учительницам, когда учебный год начнется... Он спохватывается:

— Извини, может, ты хочешь себе оставить?

— Да нет, — говорю. — Я не хочу ношеное... Это бы меня раздражало как напоминание о тех благах, которыми эта женщина пользуется, а я — как будто не заслужила...

Лазар начинает запихивать все в свою, теперь пустую сумку. Не заметил, что у меня волосы вдруг распущены. По-моему, он сомневается, надо ли было отдавать Борису. Но я чувствую, что разговор об этом сейчас заводить совсем не надо, так Лазар скорее успокоится. Я и сама волнуюсь. Если заговорю, он это почувствует и сильнее занервничает. Надо отвлечься. Я раскрываю книжечку. Она размашисто написала: «Love». Почему-то косо поперек почти пустой титульной странички и по-английски. Может, английский ей кажется таким универсальным языком? И почему «любовь»? У нее ко мне, что ли? Или у нее к Лазару? А может, это она вообразила, что Лазар меня так сильно любит? Но я-то его люблю...

Это сказки Гауфа на английском... А, вот почему она по-английски написала. Книжечка действительно мне нравится, и детям можно будет читать. Но тут не все циклы, а только один — «Караван». Картинки хорошие, не аляповатые, а в такой коричнево-золотистой гамме, гравюры, что ли... На обложке — пустынный пейзаж; и человек в таком восточном костюме, в чалме, ведет на поводу верблюда, а на верблюде сидит укутанная в покрывало женщина...

У меня озноб...

Я совсем одна... Я ни с кем не хочу говорить. Никто не понимает, какая я... Вот...

В сущности, я хотела сказать, что нельзя насильно... что, может быть, после, спустя какое-то время... Нет... Оказалось, можно насильно... И все в каком-то бесконечном забвении тонет.

Когда нашему сыну было уже лет шесть, он стал хорошо читать и сам брать книги из книжного шкафа. Старшей девочке тогда еще было меньше двух лет, и она много времени отнимала у меня. Помню, прочел сказки Гофмана. Так понравились ему...

Я думала, что следует предоставить мальчику свободу, пусть читает, что хочет. Но Лазар по-другому решил, он одни книги детям запрещает; другие, наоборот, очень советует или даже обязательно велит прочесть. Мне всегда странно, что дети не только слушаются Лазара, но даже как-то гордятся этими его запретами и рекомендациями. Может быть, это потому, что в его поведении нет никакой мелочности; что бы ни делал, он всегда сохраняет какую-то серьезную горделивость. Даже когда у него болит желудок и у него испуганное лицо, он все равно с этими сдвинутыми бровями похож на сказочного восточного короля из немецких сказок, он будто король, который боится, что его отравили, а вовсе не какой-то обыкновенный человек, у которого просто болит живот...

Последний месяц перед тем, как меня положили в больницу, был очень плохой. Сделали анализ, и палочек не нашли, но у меня стала высокая температура почти все время, кровь каждое утро откашливалась, я лежала. И все время боялась, что вдруг палочки все же появятся и это будет опасно для детей. Лазару кроме своей работы пришлось еще и по хозяйству все делать. Софи хотела забрать детей, но дети не хотели от меня уходить. Они уже знают, что обострение туберкулеза долго лечится, значит, нам придется надолго расстаться. Особенно Лазар Маленький это понимает. Я видела, как он нервничает, и я себя ругала, что у меня не хватает силы воли, чтобы остановить болезнь. Я виновата в том, что ему не по себе. Он ребенок еще, ему нужно, чтобы я была дома... Потом искали хорошего врача, договаривались с ним, устраивали так, чтобы меня именно в ту больницу к нему в отделение положили. И все это унижения, деньги, подарки...

Однажды я лежала, а девочки сидели около меня на кровати. Старшая показывала, как она вышивает и какие разные швы уже знает... в школе начали учить вышиванию, и ей очень понравилось. Младшая сидела и баюкала на руках куклу. Круглое личико такое озабоченное. Но эта озабоченность не ко мне относится; это она играет, будто она взрослая женщина с ребенком... Интересно, о чем она думает, когда просто вот так сидит и баюкает куклу? Все-таки девочки не похожи на меня. Я никогда не играла в куклы. А старшая все делает лучше, чем я; ей только покажешь, а она уже умеет и овощи чистить, и полы мыть. Лазар Маленький запомнил, как ей было четыре года и она свое платьице стирала в тазу. Наша малышка тогда родилась, и я болела, в больнице лежала. Слушаю голосок моей старшей дочери, но мне надо все время собираться с силами, чтобы улавливать смысл, а то слышу одно только звучание... Вдруг очнулась, испугалась, что она потеряет иголку или уколется. Сказала ей, чтобы она была осторожна с иголкой и с ножницами. Мама, ты мне уже говорила... Вдруг я услышала свой голос как бы со стороны... такой слабый и надтреснутый стал. И ничего не выражает, кроме напряжения голосовых связок, мне трудно говорить. Я совсем не умею шить и вышивать... Так, дырочку зашью кривыми стежками, залатаю — и ничего больше. Я заметила, что девочка что-то хочет мне сказать, но колеблется. Наверное, отец сказал ей, что меня нельзя тревожить. Вижу, что девочки стали относиться ко мне как-то настороженно, натянуто. Эта моя болезнь совсем отдалит от меня моих дочерей. Я почувствовала досаду на Лазара: зачем эта его излишняя забота? Я стала такая раздражительная, это от слабости; у меня пальцы очень ослабели, дрожат. Дня два я не могла причесаться, Софи зашла к нам, заметила и причесала меня. Заплела мне волосы в одну косичку, так легче лежать. Она сказала Лазару. Утром он принес таз, графин с водой; умывал меня, потом стал расчесывать волосы... Во всех его жестах и в том, как он все это делал, была какая-то тоскливость и будто сломленность какая-то... Я ужаснулась этому его

состоянию и своей беспомощности, заплакала. Меня начало трясти от этого плача. «Не надо... не надо...» — он проговорил так сломленно. Я попыталась перестать, но не могла. Он кончил заплетать мне волосы в косичку, уложил меня на подушки (две подушки подложены) и снова попросил: «Не надо...» — «Я не могу, — сказала я. — Лучше не обращай внимания, само пройдет...» — «Хорошо», — ответил он так же сломленно и отошел от кровати. Действительно прошло минут через десять. И дети бедные все это видят.

— Ты что-то хочешь мне сказать? — спросила я девочку. — Ты скажи. Это можно...

Какой у меня голос...

Оказывается, еще месяц назад отец обещал ей устроить экзамен по греческой мифологии. Она целый месяц читала книги, которые он велел прочесть, и все статуи и все рисунки на вазах запомнила, а он не спрашивает. Я сказала, что отец, наверное, забыл из-за моей болезни...

— Давай я тебя спрошу...

Она колебалась... Я поняла, она считает, что отец знает лучше, но говорить этого мне она не хочет. Я ведь больна, она боится меня обидеть, огорчить. Вот Лазар Маленький не сомневается в моих знаниях.

— Давай я отцу напомяну вечером...

А, я правильно угадала, этого она как раз и хотела. Со своим вышиванием в руках она наклоняется ко мне немножко виновато и хочет поцеловать.

— Нельзя! — поспешно говорю я. Голос звучит совсем сорванно и визгливо. Она и сама вспомнила этот запрет, отстраняется, прижимается к металлическим прутьям спинки кровати. Очень мучительно мне так жить. И детей очень жалко.

Я Лазару сказала о нашей девочке, и он вечером устроил ей экзамен. Он спрашивал ее, она рассказывала, потом он прикрывал ладонью надписи под фотографиями и спрашивал, какого бога или героя изображает статуя или рисунок на посуде. Она только один раз ошиблась, спутала Геракла с Гермесом, это была та статуя Праксителя, где Гермес с одной отбитой рукой держит на другой руке маленького Диониса, там действительно Гермес такой широкий... Я слушала ее и стала гордиться ею, какая она вырастет, такая умница и все будет уметь делать... И неужели я не доживу и не увижу ее взрослой? Я почувствовала слезы в глазах. Дети уже привыкли, что я часто плачу. Я говорю, что, такая больная, слабая, я им неприятна. Им тягостно сидеть возле меня, ухаживать за мной. И они испытывают чувство вины, им кажется, что они жестокие, нехорошие. Стараются все делать, но заставить себя любить меня больную они не могут. И я чувствую, что слишком сосредоточиваюсь на своих ощущениях, на своей беспомощности. Я стала нечуткая к детям. За что они, такие маленькие, должны так страдать?

Я стала хвалить девочку. Лазар сказал, что, когда я вернусь из больницы, она уже и «Одиссею» прочтет... Он говорил с уверенностью. Девочки как-то оживились, подались немного вперед, на личиках — надежда и облегчение... Я поняла, они поверили, что я поправлюсь и буду такая, как была всегда. Я тоже сказала, что скоро поправлюсь. Лазар Маленький сказал с такой горестной иронией, что, пока я вернусь, она может уже и древнегреческий изучить и читать Гомера в подлиннике. Это у него, конечно, такое совсем детское желание противопоставить себя сестренкам, показать, что если для них можно и солгать, то для него не надо придумывать утешения. Я испугалась — столько горечи в его голосе... Ему хуже всех. Девочки посмотрели на него с недовольством, они хотят верить отцу, а не ему. Настало короткое молчание, но мучительное какое-то. Мальчик вдруг подошел к постели близко; он худенький и уже сильно тянется вверх и как-то беззащитно выглядывает от этого; он спросил, не хочу ли я чего-нибудь — помидоров или абрикосов... Сбегает сейчас на базар и купит. Я хочу только, чтобы меня не мучила эта слабость, особенно в пальцах, и этот жар... Но я понимаю, ему хочется что-то сделать, побежать; какое-то действие, пусть иллюзорное, лишь бы забыться. Когда «скорую помощь» вызвали, он тогда тоже бегал на улицу, ждал машину, хотя не было необходимости стоять на улице. Я сказала, что хочу абрикосов. Лазар тоже все понял, сказал ему, где деньги. И он побежал, чтобы успеть; вечер уже, торговля заканчивается.

Мне кажется, наши дети не стыдятся нас. Но вдруг это у них признак недостаточной тонкости натуры? Или нет, просто душевное здоровье, равновесие. Я стыдилась своих родителей, когда была ребенком, подростком. Мне казалось, они

слишком суетливые, голоса у них слишком громкие. Стыдилась, когда они на людях громко говорили по-турецки с характерными интонациями. Лазар тоже стыдился своего отца. Ему вот казалось, что это стыдно, что отец у него такой старый, болезненный, горбится... На похоронах отца ему было стыдно за тот свой детский стыд. Лазар мне рассказывал еще, что он почему-то гордился тем, что у него не мать, а старшая сестра, такая молодая, красивая, умная, и он дружит с ней. Заметил, что его друзья, у которых матери были, завидовали ему. Ну, это мне как-то понятно: матери бывают грубы, кричат, приказывают, а Софи такая милая и понимающая... Лазар не говорит о своей матери, и в семье старались не говорить о ней, чтобы он не чувствовал себя сиротой; даже отдалились от других родственников, боялись, что мальчишка будет как-то громко и шумно жалеть... Иногда мне это кажется несправедливым и даже страшным — умереть и чтобы родной сын не испытывал потребности вспомнить о тебе. Но, наверное, это лучше, чем если бы он сознавал себя сиротой, без матери. А мои дети запомнят меня, большие уже... Даже фотографии у Софи так спрятаны, что и дети, которые всюду суют свои носики, ничего не найдут. Кажется, Лазар не видел этих фотографий. Софи мне их показывала... Одна — чуть ли не начала века — целая семья в ателье у фотографа: женщина в роскошной шляпе — это бабушка Лазара, пожилой мужчина с бородкой и с тростью — его дедушка, молодые люди с черными усиками и в жилетках — его дяди; а девочка на полу сидит, выткнув ножки в чулочках и в туфельках, в каком-то сложно пошитом светлом платье — это его мама... Все они очень смуглолицые, даже на нецветной фотографии это заметно. Другая фотография мне нравится, и Лазар ее знает — на ней отец Лазара в молодости, у него косой пробор в гладких темных волосах, пенсне, лицо тонкое и выглядит одухотворенным... Это он фотографировался в Вене. Там он изучал экономику, бухгалтерию, всякие такие финансовые науки. Но что-то с ним случилось, когда он вернулся на родину и стал работать. Немножко это странно и комично, но он стал работать не в конторе какой-нибудь фабрики и не в какой-нибудь новооткрытой фирме, а в цирковой антрепризе... Отец Лазара попытался препятствовать каким-то незаконным махинациям с деньгами. Он тогда еще думал, что, если честно трудиться для своих работодателей, можно зарабатывать много и жить хорошо. И думал, что его честность и неподкупность будут высоко оценены. Кончилось все тем, что цирк закрылся, началось следствие; и нечестные люди со свойственными всем нечестным людям наглостью и уверенностью в себе повернули дело так, что в тюрьму попал отец Лазара... Был суд, и об этом суде писали в газетах... тогдашних. Какие-то знакомые и родственники отвернулись от несчастной семьи. Мать Лазара начала искать хорошего адвоката. Дело оказалось запутанное, и никто не брался. Отец Лазара обвинялся в невероятных каких-то растратах и чуть ли не в убийстве... Замечательная детективная история. Ее бы рассказать нашему Лазару Маленькому... Но Лазар Большой не разрешает. Он и Софи даже не любят говорить об этом... Ситуации со всякими цирками, судами и убийствами им неприятны. Но странно, столько было переживаний, событий — и все исчезло, и, в сущности, бесследно... Софи была совсем еще маленькая, но помнила смутно, как они хорошо жили, пока работал этот цирк. У них была прислуга, большая квартира. На фотографии с какими-то искусственными колоннами позади, тоже сделанной в каком-то фотоателье, мать Лазара в дорогой шубе и в шляпке с откинутой вуалеткой, она улыбается, но улыбка ей не идет как-то; отец в распахнутой каракулевой, кажется, шубе и в шапке пирожком, черные усы у него горизонтально на пол-лица, а улыбка чуть насмешливая... Наконец нашли адвоката, и он добился того, что отцу Лазара дали какой-то минимальный срок тюремного заключения. Этот адвокат был еврей; и, наверное, потому Лазар хорошо относится к евреям, хотя я думаю, адвокату хорошо заплатили. Сын этого адвоката теперь известный поэт, но взял себе не еврейскую фамилию отца, а болгарскую — матери, что-то вроде Асенов или Петров... Отец Лазара оказался в тюрьме вместе с ворами-рецидивистами и разными другими преступниками. Ему было очень тяжело... Но, как ни странно, все обернулось к лучшему. Отец Лазара находился в тюрьме в большом приморском городе, вторая мировая война кончалась, и в город вошли советские войска. По чьему-то приказу все преступники были освобождены, и отец Лазара тоже... Теперь считалось, что они — жертвы царско-фашистского режима. В тюрьме к отцу Лазара хорошо относился один убийца по имени Иван, по прозвищу Добруджанец, то есть человек из местности Добруджа. Этот Иван Добруджанец сидел за убийство своей жены.

Жена сказала ему, что уходит к другому и ждет ребенка от этого другого. Иван закричал, что она лжет и что он ее не отпустит. Они подрались, он ударил ее кулаком, и получилось, что убил. Растерялся, схватил нож сапожный (он был сапожник) и сунул себе под ребра куда-то... Его спасли и посадили в тюрьму. Он был еще молодой человек и к отцу Лазара относился с уважением за его честность и мягкость характера. Этот Иван Добруджанец сказал отцу Лазара, что они должны добиться документов, в которых было бы указано, что они — жертвы... Тогда еще была неразбериха, суматоха, и они довольно легко получили такие документы. Иван Добруджанец имел какие-то деньги, эти деньги хранились у его матери; он дал отцу Лазара деньги на билет на поезд. После отца Лазара вернул ему деньги, когда заново устроился, и сделал какие-то подарки. Отец Лазара вернулся домой. Жена и дочь встретили его очень радостно и нежно. С помощью документа о том, что он жертва, отец Лазара устроился одним из рядовых бухгалтеров в контору одной швейной фабрики; он теперь не хотел быть на виду, хотел жить скромно и неприметно...

Наверное, надо сказать несколько слов о его политических убеждениях. Они были демократические и патриотические. То есть он считал, что должны быть равенство и справедливость и в то же время его страна должна процветать и его народ, имеющий великие традиции и великое прошлое, должен снова стать и быть великим... Мне теперь совершенно ясно, что великим народом можно быть только за счет чужого несчастья и, конечно, игнорируя в той или иной степени справедливость и равенство... Но, впрочем, у моего отца убеждения были еще более своеобразные. Разумеется, обязательные справедливость и равенство, плюс еще он не хотел связываться ни с какими властями того государства, где он жил. Отец рассказывал, как Назым Хикмет, поэт и коммунист из Турции, приехал в Болгарию и в округе Кырджали, где живут турки, агитировал вступать в трудовые сельскохозяйственные кооперативы. И: «Я тогда сразу понял...» Он понял, что надо стараться жить так, чтобы по возможности не попасть ни в трудовой исправительный лагерь, ни в тюрьму, ни в сельскохозяйственный кооператив; жить неприметно, по возможности честно; и тихо исповедовать процветание и величие своего народа, живущего в соседнем государстве. Теперь отец моего Лазара... Его народ проживал в том же самом государстве (надо же, какая счастливая случайность), где проживал он сам. И поэтому отец Лазара имел более активную позицию, чем, например, мой отец... Он полагал, что именно фашисты осуществляют его идеалы всеобщей справедливости и равенства, процветания народа и величия государства. Но при ближайшем рассмотрении люди, занимавшиеся политикой, не понравились ему; они были совершенно беспринципные, жадные, злобные, абсолютно негуманные... Такими они всегда были и, думаю, навсегда останутся. Вероятно, для того, чтобы иметь право исповедовать равенство и справедливость, надо отказаться от этих заманчивых понятий: «народ», «родина», «величие народа» и «процветание родины»... Может быть, Лазар и может отказаться от этих понятий, но, например, этот Эмил, который в свой Израиль ездил, не может отказаться и еще и будет уверять, что нельзя отказываться... Так что, поскольку большая часть человечества хочет величия своего народа и процветания своей родины, нечего ждать какой-то справедливости или какого-то равенства. Вторая мировая война закончилась. Но теперь отец Лазара начал рассуждать, что коммунисты нужны стране, в которой всегда были демократические традиции... Я думаю, никаких демократических традиций не было, просто аристократия болгарского царства, да и византийская, ромейская была частично уничтожена в Османской империи, потому что, конечно, пыталась отстоять свои привилегии и всякие разные преимущества; а в другой своей части аристократия обратилась в мусульманство и стала в ряды новых имперских властей. Но отец Лазара скоро увидел, что и коммунисты не осуществляют его идеал справедливости, равенства, процветания и величия... Теперь все доносили друг на друга, обвиняли друг друга в сотрудничестве с фашистами и одни коммунисты начали уничтожать других коммунистов... Все имели основание бояться всех и всего. И еще много чего было. После вроде бы закончилась борьба за власть и стало спокойнее. Но на самом деле не стало. И хочется каких-то перемен к лучшему; и боишься, что все будет происходить как-то страшно. Вот уже наступает страшное... имена эти... Но я боюсь раздумывать.

После тюрьмы отец Лазара потянулся к своей жене, они как бы заново полюбили друг друга, и родился Лазар. Они обрадовались, хотя уже и не думали, что в их годы у них может быть ребенок. Но мать Лазара скоро умерла... Софи не

рассказывала подробно, а мне было неловко спрашивать. Маленький Лазар остался на руках своего пожилого отца и старшей сестры, она была еще совсем девочка. Его отец заново открыл для себя смысл жизни; теперь смысл жизни заключался в том, чтобы Лазарчо ни в чем не терпел недостатка. Лазар и в детстве уже был удивительным, чудесным существом... И мои дети, когда они рождались и мне их показывали, я видела их прекрасные большие глаза, такие темные и прямо глядящие. Такое крохотное, еще десятиминутное существо, и смотрит тебе прямо в глаза этими своими прямо глядящими огромными темными глазами. И не помню личика; не помню, какое тельце, только эти глаза... А у других новорожденных глаза голубоватые и такие сжатые, узенькие. А эти глаза... Чудо! Это глаза моего Лазара. Когда его отец впервые увидел эти глаза, он удивился, как можно было прежде жить, не имея этого мальчика... И с детства все открылось в Лазаре: красота, доброта, всевозможные таланты — все! Лазар мне рассказывал, что в детстве ему было хорошо и весело. Софи старалась по возможности готовиться к экзаменам дома, брать книги из библиотеки, она даже договорилась, чтобы ей не ходить на лекции. Иногда она брала маленького брата с собой на какие-то очень нужные лекции или на экзамены. Кто-то приласкает ребенка, кто-то угостит чем-нибудь вкусным... Вечером он рассказывает отцу, пишет на листке бумаги разные буквы, складывает цифры в числа... Отцу и мило, и забавно, и трогательно; и он себе представляет какое-то неопределенно радужное будущее для своего сына; и вдруг пугается, потому что знает, какая жизнь и как мало возможностей у него самого. Отец тоже уговаривался брать работу на дом, чтобы оставаться с сыном. Лазар помнит, что у отца были большие такие деревянные счеты с крупными костяшками, Лазар играл этими счетами. Часто отец и ночью что-то считал и записывал, глаза у него краснели и слезились. Лазару было годика четыре, он залезал на стул, становился на коленки и писал цифры на каком-нибудь листке бумаги; ему очень хотелось и на счетах щелкать, но отец объяснил, что во время работы щелкать на счетах можно только старшему бухгалтеру, а Лазар считается младшим... Софи еле уговаривала Лазара лечь спать, он сердился и серьезно и с горячностью настаивал, что помогает отцу. А на самом деле Лазар просто писал цифры, какие ему в голову приходили; он ведь не знал, в чем заключается работа отца, и не мог помочь ему. Софи мне рассказала это. Думали тогда, что Лазар будет математиком, но чуть он подросток немножко, проявилось увлечение древней историей, и литературу он полюбил.

Когда отдали мальчика в детский сад, отец и сестра боялись, что его будут обижать. Но уже в первый вечер он выбежал к ним веселый и довольный. Среди других детей он не стремился быть первым; хотел только, чтобы все играли мирно и весело; он придумывал разные игры. Другие дети сами тянулись к нему; давали игрушки, угощали. Когда Лазар еще подросток, он, как все дети, полюбил бродить по окрестным улицам. Отец сначала тревожился, но Софи скоро поняла, что мальчика можно отпускать без боязни. Наверное, все-таки дети — существа интуитивные, подчиненные подсознанию... Моего Лазара никто не обижал в детстве, а теперь... Потому что взрослые живут сознательно; интуиция, подсознание не велят им чего-то, а какие-то сознательные мелочные расчеты — велят, и они следуют этим расчетам. Чем взрослее становились сверстники Лазара, тем чаще они вели себя с ним, как будто он — обыкновенный и ничем не отличается от них. А детство Лазара было настоящим золотым веком для детей того квартала, где он жил. Рядом с ним все вдруг ощущали себя любимыми и любящими. Софи рассказывала о моем Лазаре: с ним всегда было как-то чисто и мило. И эта его открытая доброта... Все отдал: игрушки, сладости, велосипед — катайтесь все по очереди... Софи приходит с работы — полный дворик детей (они тогда жили в домишке с двориком). «Это Олга, это Митко, это Жоро. Я шел, а он идет навстречу; я говорю, давай корабли пускать. Он согласился». И наделают из старых газет разные кораблики, и пускают в канаве, устраивают какие-то состязания. Только «в войну» Лазар никогда не играл... Если без него мальчишки заведут такую игру и тут Лазар выйдет... «Лазар, будешь?» — «Нет». И как-то сразу скучно станет, сама собой погаснет игра. И как-то незаметно Лазар всех увлечет в другую игру; и опять всем хорошо и весело. И все чувствовали себя совсем свободными, Лазар никогда не командовал. Вот наш сын — совсем другой, командир: Димитр — туда, Иво — сюда, Боби — оставайся на месте... Начали!.. Уже и не знаю, это хорошо или плохо.

Отец Лазара стал приглядываться к другим мальчикам, к разным их мальчишес-

ким желаниям и стремлениям. Лазар такой скромный и нетребовательный, сам ничего не попросит. Но отец ему все достает, покупает. Новую авторучку красивую, футбольный мяч, взрослый велосипед, новую куртку, джинсы... Отец смотрит искательно, тревожно и ласково, жесты его нервны, он суетливо двигается. «Ну, примерь... Это модно, правда?» Лазар улыбается и благодарит так мило и с такой естественностью... И отец так радуется... Никто не завидовал моему Лазару; всем казалось, что это естественно, чтобы именно Лазар был красиво одет, имел красивые вещи. Никто не заговаривал с Лазаром о стоимости этих вещей. При нем как-то никто не вел таких мелочных разговоров. И сам Лазар принимал эти подарки, будто естественное что-то. А между тем его отец мало зарабатывал, и Софи — не так много; и, чтобы иметь деньги, отец Лазара шел на всякие мелкие нарушения закона, маленькие приписки... осторожно, по мелочам, чтобы не было заметно, чтобы успевать замести следы. Нервничал, дрожал от страха. Софи мне рассказала... А Лазар и до сих пор не знает. И мы и не скажем ему.

И еще одну фотографию, где мать Лазара, я помню... Там его отец и мать стоят возле какой-то неказистой сельской постройки вроде сарая. Отчетливо видно кольцо на двери, и такая волнистая крыша... Отец Лазара выглядит совсем молодым, он в каких-то сандалиях на босу ногу, ворот светлой рубашки расстегнут, и волосы — вихрами... Мать Лазара в темной кофточке и в светлой юбке, у нее мелкие черты лица, озабоченное выражение, немного прищуренные глаза, и волосы на затылке — узлом. Голова немножко повернута. На руках у нее такой белый кокон — это Софи. Мне кажется, что иногда моя старшая дочка бывает похожа на свою бабушку с этой фотографии...

Когда мы с Лазаром расписались, его отец уже очень был плох, то и дело терял память. Вдруг взгляд его делался совсем потерянным. Лазар или Софи подходили к нему скорее: «Папа, это я! Помнишь меня?» — он чуть приподымал одутловатые кисти старческих слабых рук и потерянно произносил: «Не помню...» Не узнавал даже своего ненаглядного Лазара. И значит: «Папа, это моя жена!» С отцом Лазар меня прежде не знакомил, только с Софи. Отец Лазара посмотрел на меня равнодушно и заговорил медленно о том, как он венчался с матерью Лазара в монастыре Арбанаси. Он замолчал, отвисшие бледные губы как-то потерялись одна о другую; затем он сказал, что монастырь Арбанаси неподалеку от города Велико Тырново и что Велико Тырново — это столица последнего Болгарского царства. «После этого было турецкое рабство, пятьсот лет...» — пробормотал он туманным голосом. Софи прыснула, как девочка, и побежала в комнату. Лазар улыбнулся и взял меня за руку. У него была белая рубашка и черные брюки, а у меня обыкновенное платье, красное, пестренькое такое. Мы стояли на балконе, отец Лазара сидел в таком складном кресле, вроде шезлонга...

Лазар считает, что ребенка нельзя оставлять наедине с книгами, нельзя позволять ему читать все подряд. Надо как-то следить, приглядываться... А то могут развиваться комплексы, и у нас с ним были в детстве такие комплексы. Лазару позволяли читать все, он охотно рассказывал о прочитанном даже отцу, а сестре — непременно. И вот у него возник один комплекс, о котором он никому не рассказывал. Впервые рассказал мне... Ему было лет девять, тогда он почувствовал, что боится того, что ему придется служить в армии, когда он вырастет. И даже не то чтобы он этого боялся, нет, это было ему как-то мучительно и неприятно, противно, будто грядущая обязательная несвобода, обязанность тягостная подчиняться, выполнять приказания... Ему было мучительно читать о службе в армии, но он все время возвращался к этим книгам, к этим страницам, перечитывал их, будто нарочно хотел мучить себя. Особенно мучительны ему были «Севастопольские рассказы» Толстого, «Холера» Людмила Стоянова и «Прощай, оружие!» Хемингуэя. В этой повести — «Холера» — о вспышке холеры в армии еще, кажется, в первую мировую или во время Балканских войн, там одного из персонажей — молодого солдата, бывшего студента, звали Лазаром, и он едва не умирал от холеры... И Лазар все возвращался, мучая себя, к этим страницам. Но он говорил, что, когда ему действительно пришлось служить в армии, страшно не было. Правда, не было и никаких военных действий и никаких эпидемий...

Теперь о моих комплексах расскажу. И я тоже могла читать все, что хочу. Мои братья и сестра были старше меня и не увлекались чтением. Мама считала, что, когда

я читаю, это я нарочно делаю, чтобы не помогать ей по хозяйству. И она по-своему была права. Я не любила домашней работы. У меня какой-то дефект мышц, и мне трудно чистить овощи или, например, шить, и даже стирать, и особенно трудно выжимать белье. Дома это не считали болезнью. Лазар тоже считал, что это просто моя такая особенность. Софи ему сказала, что, может быть, это болезнь, Лазар сначала рассердился на нее, ему показалось, что она хочет просто сказать обо мне плохое. Но Софи сказала, что если это болезнь, то, может быть, можно лечить и мне будет лучше. Она нашла хорошего невропатолога, профессора, Лазар меня повел, врач заставлял меня сгибать и складывать пальцы. После я вышла, а Лазар говорил с врачом. Потом снова позвали меня. Врач спросил, как я справляюсь в быту. Я ответила, что мне, конечно, немного трудно удерживать ложку или карандаш, или заплетать волосы в косу, но я справляюсь. Врач попросил меня взять карандаш и что-нибудь написать. Я взяла и написала «Лазар». Я знаю, что держу карандаш неправильно. Врач указал Лазару на то, как я держу карандаш, и произнес с какой-то даже гордостью: «Вот... видишь... то, что я говорил...» Ничего он не прописал, и мы ушли... На улице я спросила, что сказал врач. Лазар ответил, что ничего страшного, просто синдром такой. Мне вдруг все это показалось унижительным, а ведь еще недавно даже нравилось, что Лазар заботится обо мне. Я сказала, что лучше нам больше не видеться. Мне тогда показалось, что это мое унижение совсем нарушило наши отношения, сделало их тоже унижающими нас обоих. И лучше я буду видеть его издали. Но с Лазаром трудно ссориться. Во-первых, потому, что он добрый. Во-вторых, потому, что он не подхватывает никакого разговора; не поддерживает, когда нарочно говорят одно, а подразумевают, думают другое. Я имею в виду разные интимные разговоры. Лазар умеет говорить правду... То есть не какую-то большую общую правду, которая, может быть, и не существует совсем или она такая нечеловеческая, что люди бы ее не вынесли. Или она принесла бы людям какой-то совсем непоправимый вред. Ведь плоды с дерева познания принесли людям горе. И я знаю, какое это горе. Это горе негармонического существования. Горе болезней и мучений и тех человеческих желаний, исполнение которых или даже одно стремление к этому исполнению приносит горе другим людям. Но ужасно много людей, претендующих на то, что вот именно они знают и всем скажут эту всеобщую, большую правду. Они бывают так уверены в том, что знают эту правду, владеют ею, что даже не пытаются что-то доказать, а просто навязывают, заставляют силой... И вот уже — и очень быстро — вместо познания всеобщей правды получается всеобщее грубое насилие. Лазар признает только маленькую, такую очень индивидуальную, отдельную правду; она принадлежит отдельному человеку, принадлежит, как, например, зубная щетка или трусики. И вот такую свою правду Лазар чудесно умеет формулировать. И он сказал мне, что если повел меня к врачу, то не для того, чтобы унижить меня или использовать мои болезни как предлог для того, чтобы расстаться со мной; нет, он действительно хочет, чтобы я меньше болела, и он будет меня беречь и стараться лечить. Тут голос его стал мягким и появилась беззащитная улыбка... Он сказал, что впервые в его жизни его так волнует болезнь другого человека. И прибавил, что вникать в болезни отца ему никогда не хотелось, и, может быть, это было жестоко... Я сказала, что, конечно, нет, не было жестоко, а просто Лазар воспринимал отца, как все дети воспринимают родителей, отец был такая данность жизни: вот он существует, он такой, и даже нет желания особенно интересоваться им, задумываться о нем; наверное, отношение к родителям, оно всегда такое. Но я действительно с детства часто болела, подолгу лежала в постели. Интересно, что мне давно уже не хочется отыскивать свои болезни в медицинских книгах, как-то скучно это стало. А Софи и Лазар болеют редко. В детстве и в юности Лазар совсем никогда не болел. Только в шестнадцать лет у него обнаружилась небольшая близорукость, пришлось надеть очки. Но он их не всегда носит. В армию все равно его взяли. Лазар мне рассказывал, что ему казалась отвратительной сама эта обязательность подчинения. Читать о поединках героев в «Илиаде» было интересно. Но все другие книги о войне были противны именно этой системой подчинения, которая была всегда, от Александра Македонского до нашего времени. Лазар страдает, например, от этой противной необходимости голосовать, сидеть на собраниях... Однажды я сказала ему, что нахожу здесь противоречие: значит, он против подчинения, а сам приказывает детям, и они ему подчиняются... Лазар мне ответил, что всякие другие отношения между ним и детьми были бы ложью; дети

материально зависят от него, он их кормит, содержит... Он немного поколебался и сказал еще, что я, наверно, заметила, что дети любят подчиняться ему. Я сказала, что, конечно, вижу это, и спросила, как же все-таки он добивается этого любовного подчинения. Он смутился и ответил твердо, что не может мне этого сказать, и прибавил, что знает, что, когда дети вырастут и будут сами себя содержать и прервутся эти отношения любовного подчинения, тогда дети уже не будут любить его, как любят сейчас, тогда они найдут в нем много недостатков... Голос его стал грустным и чуточку дрогнул. Мне стало так жалко его; я подумала: а может, он просто усложняет и преувеличивает? Но это нехорошее любопытство узнать, что он мне ответит, победило мою жалость; и я продолжила разговор.

Хорошо, сказала я. Но ведь и солдаты подчиняются какому-нибудь Наполеону охотно и даже с большой любовью, и они зависят от него материально, он устраивает их жизнь. Лазар сказал, что солдаты подчиняются, потому что оглулены, обмануты. Тогда я сказала, что и наших детей можно счесть обманутыми, они подчиняются Лазару, а Лазар пишет лживые статьи и диссертации; они мне подчиняются, а я перевожу повести и рассказы, которые считаю заведомо плохими, лишь бы получить деньги... И еще, допустим, Лазар захочет изменить это положение, в одиночку он ничего не добьется. Ну, вот он войдет, предположим, в какую-то организацию, тогда ему придется в первую очередь бороться за то, чтобы укрепить какое-то свое место в этой организации, то есть все участники заговора или члены организации — называйте как хотите — борются не только со своими прямыми противниками, но еще и между собой у них идет борьба за власть, за первенство... И при этом они лгут, будто борются только за справедливость. Значит, снова ложь! Как же тогда?

Лазар помолчал, потом улыбнулся мягко и засмеялся каким-то протяженным густым, мужским таким смешком, добрым, снисходительным, потеряннным и беззащитным. Я почувствовала себя виноватой. Ведь этим писанием лживых статей он и меня кормит, содержит... Связи у меня с издательствами слабые, плохие; и переводить мне редко дают, а последнее время совсем ничего нет. Лазар перестал смеяться и сказал: «Но это не означает, что я ничего не должен делать».

А я ведь хотела рассказать о тех комплексах, которые у меня развились в детстве при чтении книг. Отец любил читать. Когда-то в самой ранней юности он изучил французский язык и читал в подлиннике Гюго, Золя и Бальзака. Ему понравились стихи Ламартина и еще... романы Поль де Кока. Я помню, как он говорит: «Парижанка под деревьями» — хо! — это роман!» — и улыбается лукаво и довольно... Я не читала Поль де Кока, но, думаю, теперь он не показался бы никому таким соблазнительно непристойным. Когда я была маленькая, отец пробовал научить меня читать и писать на турецком и на французском языках, но он не имел никакой методики обучения, и ничего не вышло. Я не понимала его объяснений, он сначала сердился, я обижалась на него, после мы просто оставили эти занятия. Отец много читал мне вслух. Разговаривал со мной о книгах, твердо делил персонажей на плохих и хороших; рассказывал мне, что о поведении и о характере персонажа можно рассуждать; и мне теперь кажется, что это были какие-то начатки, основы того, что называют «литературоведческим анализом». Зачем он все это делал? Он совсем не считал, что меня надо приохотить к литературе, и вообще и не задумывался о том, что детей надо воспитывать; он просто знал, что детям надо приказывать, чтобы они не шумели, не возвращались домой поздно, учили уроки. Так получилось, что я была его собеседником и слушателем. Он был странный человек. В нем вдруг возникало какое-то мальчишеское веселье, и он говорил людям дерзкие и непристойные грубости с таким мальчишеским жестоким озорством. Но когда я тяжело болела, он сидел на краешке моей постели и всхлипывал. Из моих детей он знал немножко Лазара Маленького, и то совсем крохотным. Лазару Большому нравятся две фотографии, на которых мои родители. На одной — моей маме семнадцать лет, волосы у нее закручены вокруг головы толстыми косами, и ворот платья темного заколот серебряной брошкой в виде розы. Эта брошка сейчас у моей сестры. Мама улыбается, в глазах и во всем лице у нее такая радость молодости. Я никогда не умела так. Она действительно выглядит как настоящая восточная красавица. Когда в сорок первом году отца мобилизовали строить шоссе на дороге, он однажды сумел отпроситься с одним своим приятелем в ближний городок, там у этого приятеля были родственники. Они шли утром, как раз моя мама подмела улицу перед своим домом и держала в одной руке ведро с водой, а другой рукой плескала воду на

подметенную улицу. Она тогда не была хорошо одета, в ситцевом платьице, в шальварах и повязанная платочком... Но отец увидел, какая она красивая. Она распрямылась, быстро поставила ведро и пошла к дому. Она уже стояла у калитки, отец резко рванулся, заступил ей дорогу, обхватил за шею и поцеловал в губы. Тут отец, я помню, сказал, что она так растерялась, что не закричала, не оттолкнула его, только убежала в калитку. Мама засмеялась и сказала, что она совсем не растерялась, просто ей понравилось, как он целуется. У нас во дворе отец сделал деревянный настил, такой широкий топчан. Помню, как несколько раз мамыны приятельницы сидели там с ногами в тени шелковичного дерева, на разостланных таких пестрых одеялах; болтали, курили и громко смеялись. А их стоптанные туфли, все какие-то серые, валялись внизу. Я знаю, они говорят о своих отношениях с мужьями и о рождении детей. Мне это противно, я уйду в дом и сижу с книгой. А моя сестра-подросток все вертится вокруг них, мама гонит ее. Я презираю сестру, она кажется мне человеком низменных инстинктов. Когда братья и сестра сердятся на меня, они всегда говорят мне: «Ты никогда не выйдешь замуж!» — и при этом у них такой вид, будто я должна обидеться. А мне совсем не обидно, я и не хочу выходить замуж. Теперь я думаю, что моя сестра просто из тех людей, которые приемлют без раздумий окружающую действительность и даже находят радость, подчинившись этой действительности. Впрочем, и в рамки подчинения этой действительности входит какой-то свой протест, какое-то непослушание. Сестра встречалась с молодым человеком, который очень не нравился нашей маме. Однажды он пришел к нам, и мама все ему высказала. Он ушел. Сестре тогда было лет шестнадцать. У нас был такой глинобитный забор, и вот она всю ночь просидела на заборе, в темноте, обиделась на маму. Через год она вышла замуж за другого. Я любила читать по ночам, я спала одна в комнате, сестра уже вышла замуж и не жила с нами; мама просыпалась, видела, что у меня включен свет, входила, выключала и ругала меня, что я не думаю, сколько денег придется платить за свет. Она шла спать, а я тихонько выходила во двор. А там шелковичное дерево. И ночь такая теплая. И короеды на шелковице ожили. И желтые такие улитки с голыми спинками без раковин ползут очень тихо. И кто-то летит. И кто-то жужжаще так поет.

Я всегда считала, что моя сестра — мелочно-практичный человек. Когда мы делили имущество после смерти родителей, я нашла ученическую тонкую тетрадку, там были записаны стихи латиницей на турецком языке. Я не смогла понять. Сестра складывала в чемодан какие-то мамыны платья. Я показала ей тетрадку, она присела на стул. Это была ее, еще девичья тетрадка, и она эти стихи написала. Она взяла тетрадку и прочла несколько строчек вслух. У нее было хорошее произношение и певучий голос. Она перевела: «Сумасшедшее черешневое деревце, что ты делаешь на берегу речки?» Я удивилась, какие своеобразные строки. Она протянула мне тетрадку: «Хочешь, возьми себе...»

«Нет, — сказала я. — Оставь, ты должна сохранить для твоих детей». Она встала, обняла меня за плечи, подвела к шкафу и стала объяснять, почему она берет это и то из мамыной одежды, и стала говорить, что вот то, что осталось, как раз и пригодится мне. Тетрадка лежала на столе. Но я немножко солгала, когда говорила о том, что стихи надо сохранить для детей моей сестры; я не взяла тетрадку, потому что, перечитывая эти строки, уже не смогла бы получить удовольствие; я все время помнила бы мою сестру, как она складывает мамыны платья в чемодан с какой-то уверенной поспешностью. И эти ее расплывшие женские руки и какая-то очень женская блузка с короткими рукавами, и туфли на высоких, чуть стоптанных каблучках...

Отец мой на фотографии старый, он в шляпе, обычно он кепку носил, и шляпа немного затеняет его лицо, шея у него жилистая и вытянутая. Самое интересное на этой фотографии — надпись. Отец в светлом свитере, а надпись сделана красным карандашом прямо на фотографии, а не на обороте, как обычно. Надпись на латинице тоже и по-турецки, печатными буквами, чтобы было совсем разборчиво. Это надпись для нашего Лазара Маленького. Значит, я ее перевожу: «Ты не можешь хорошо узнать меня и потому не успеешь так полюбить меня, как я тебя уже люблю». Эти две фотографии, на которых моя мать и мой отец, стоят у нас в книжном шкафу на верхней полке, их видно через застекленную дверцу.

В доме, где жили мои родители, где я выросла, живет теперь мой брат с семьей, я не поддерживаю с ними никаких отношений и никогда не бываю там. Помню, я

спросила сестру, откуда она так хорошо узнала язык и кто научил ее читать и писать. Она ответила, что мама. Я плохо знала их и слишком плоско о них думала... примитивно... потому что я негибко думаю вообще.

Моему отцу пришлось работать на тяжелой физической работе. Сколько я его помню, он работал на заводе (да, это именно «завод» называлось, а не «фабрика»), значит, на заводе, где консервы делали, овощные и фруктовые. Кажется, он работал на конвейере. А после, когда уже был на пенсии, работал недолго сторожем в лаборатории. Там на заводе была какая-то лаборатория, вроде химической, в отдельном здании; это здание было во дворе, и деревья росли. Помню, я однажды заходила вечером, когда уже Лазар Маленький был. Мы сидели во дворе на скамеечке; отец говорил, что здесь хорошо, тогда лето было, что можно сидеть, читать... Лазар Маленький сидел у него на коленях, сосал кусочек сахара и улыбался, дед бережно его держал.

В семьях наших соседей многие работали на этом заводе. И вообще в городе многие там работали. Завод был почти за городом. Отец приносил с работы овощи, фрукты; особенно помню джем и масло сливочное. Все так поступали. Вроде бы это запрещено было, но все приносили. Позднее я видела еще такие ситуации, когда вроде бы официально запрещено и все равно все нарушают это запрещение; и само нарушение становится вроде бы чем-то обычным, будто бы так и надо. Если бы нельзя было ничего приносить с завода, никто, наверное, и не стал бы там работать, потому что работа тяжелая, а платят за нее не так много. Летом на работу привозили студентов, даже из столицы. Мы жили недалеко от завода. Но на самом заводе, в цехе, я была только один раз. В гимназии нам сказали, что мы будем летом работать на заводе. Мама сказала, что я должна взять у врача освобождение, потому что у меня больные легкие. Но мне это показалось унижительным, никто из моих одноклассников не брал освобождения. Дальше я помню, как мы в каких-то темных, почти черных халатах стоим в цехе. Цех мне показался очень большим и высоким; все было каким-то очень темным и казалось грязным или на самом деле и было грязным; люди казались маленькими, с измученными лицами. В этих темных до грязи халатах. Волосы у женщин убраны под косынки, от этого еще более жалкий вид. Я увидела конвейер и много человеческих рук над ним — вереница... Но, как двигались стеклянные банки, помню смутно. Стоял страшный шум, грохот настоящий... Я ужаснулась. Как можно здесь находиться целый день? И как можно, чтобы в этой темной грязи люди возились с овощами и маслом...

Вдруг я увидела отца, он быстро шел ко мне и резко размахивал руками. На нем тоже был этот темно-грязный халат. Лицо казалось совсем смуглым и как-то в испарине, а глаза показались мне какими-то выпученными... и с расширенными зрачками. Я подумала, что здесь, на работе, он всегда так выглядит, и мне стало тоскливо и больно. Он подошел не ко мне, а к учительнице, которая была с нами, и стал громко кричать, иначе его не было бы слышно... Он кричал, что мне нельзя здесь работать, что у меня слабые легкие. Нельзя было понять, доказывает он, или просит, или сердится... Я видела его запекшиеся губы, и зубы металлические, серые вдруг проблескивали, и капельки слюны как-то страшно летели. Были видны эти капельки слюны. Кажется, я никогда раньше не видела такого. Мне было неловко. Наверное, кто-то из соседей наших сказал отцу, что я здесь, или мама ему сказала. Мои одноклассники насмешливо заулыбались. Учительница как-то растерянно качала головой, показывая, что соглашается с моим отцом. Он схватил меня за руку, я опустила голову. Какой-то рабочий подошел к нему и что-то крикнул по-турецки. Отец выкрикнул ответ. Я не разобрала, что они кричали. Не отпуская моей руки, отец обернулся к этому конвейеру и что-то крикнул повелительно. Потом повел меня из цеха. Мы вышли в большой заасфальтированный двор, у меня еще немного звенело в ушах. Отец дернул полу моего халата, я сняла халат и отдала ему, он скомкал этот халат и взял под мышку. Я молчала, и отец молчал. Он уже не держал меня за руку. Он отошел немного в сторону и отхаркнулся. Мы дошли до проходной, отец вошел туда вместе со мной и сказал: «Иди домой...» Я молча ушла. Вечером отец ругал мать за то, что она сама не пошла к врачу за справкой для меня. Я сердилась на отца, мне казалось, он меня унизил. И все же я понимала, что он прав...

Мой отец имел несколько человек знакомых, которых мог бы назвать своими приятелями. Они приходили к нам в гости и играли с отцом в таблу. Но у нас в семье не полагалось, чтобы мама или мы, дети, при этом оставались. Мы всегда выходили

из комнаты. Я запомнила одного из этих гостей отца; когда были детьми, мы называли его «дядя Умар». Он носил чалму, и особенно меня занимали его четки; они были, кажется, янтарные. Он перебирал бусины. Я была совсем маленькая, и мне казалось очень таинственным, что вот есть такие странные бусы, которые надевают женщины на шею, а мужчина перебирает в пальцах... Однажды, я училась тогда в первом классе, он спросил обо мне, как я учусь. Спросил он по-болгарски. Отец ответил сдержанно и серьезно и тоже по-болгарски, что я учусь очень хорошо. Я не очень хорошо училась в начальных классах и хотела сказать, что сегодня получила тройку, и вдруг поняла, что не надо этого говорить... И почему-то я это вот запомнила. Дядя Умар знал арабский язык и читал по-старотурецки на арабской графике. И он и другие приятели отца были религиозные люди, умели читать Коран, ходили в мечеть. Вот здесь начинается интересное. Отец не был религиозен. Он душой принадлежал светской культуре Турции конца XIX и первых десятилетий XX века. Его приятели были равнодушны вообще к светской культуре и не знали ее. Мой отец еще мальчиком, после юношей, познакомился с книгами тех писателей и все еще, спустя много лет, разделял их чувства и мысли... С тех пор все менялось не один раз, писались новые книги на турецком языке, но отцу неоткуда было их взять; для него те, прежние книги оставались как бы новыми; он говорил о них так, будто изложенное в них легко прилагалось ко всем событиям теперешней жизни. Я помню, мне казалось, что это странно, что отец смешон даже. Но вот по какой-то странной, а скорее всего, совсем и не странной спирали тогдашние мысли, чувства, идеи начали перекликаться с теперешними...

В сущности, отец постоянно перечитывал те десять — пятнадцать книг, которые он имел. Говорить об этих книгах ему было не с кем; моя мать, мои братья и сестра не стали бы слушать его. А я была маленькая, часто болела и много времени проводила в постели. Не хотела играть в куклы. Вероятно, сначала он говорил со мной, как разговаривает одинокий человек с котенком или собачкой: ему и не надо, чтобы ему отвечали на его слова. Но я была не котенок и не собачка, а маленькое человеческое существо. Я уже понимала, что он говорит со мной о серьезном, о чем обычно не говорят с детьми. Я гордилась тем, что он именно со мной об этом говорит. Я решила, что книги важнее, чем всякие дела по домашнему хозяйству, и я стала считать себя лучше матери, и братьев, и сестры, ведь отец именно со мной говорил о книгах. Мне было интересно слушать его, я стала задавать ему вопросы. Я обдумывала свои вопросы; мне хотелось, чтобы они доказывали мой ум. Мне нравилось, что отец любит меня не просто потому, что я его ребенок, но, главное, потому, что нам интересно разговаривать вдвоем... Я презирала своих двух старших братьев; у них были смуглые жесткие, костлявые мальчишеские тела, заскорузлые локти и коленки, стриженные головы с черными ежиками жестких волос; они старались приглушать в доме свои слишком громкие голоса, переговаривались они резко и отрывисто и летом целые дни проводили в каких-то своих мальчишеских играх далеко от дома. А сейчас я вижу, что все это похоже на моего Лазара Маленького, и мне все это мило в нем.

Старшую сестру я тоже презирала, потому что ее любила мама, а уж маму я презирала за ее мелочные занятия домашним хозяйством. Мама учила сестру шить и вышивать, и мне это казалось неинтересным и пошлым. А мама была хорошая мастерица: она шила на руках, без машинки, и особенно хорошо стегала одеяла, ей заказывали...

Родным языком моего отца оставался турецкий, на этом языке он, вероятно, думал; и говорил он с матерью моей и со многими другими людьми на этом языке; на этом языке были написаны его любимые книги. Но со своими детьми, когда они подрастали, он переходил на болгарский язык и даже мать просил говорить с нами по-болгарски. На болгарском языке мы учились в школе, и он боялся, что это двуязычие помешает нам в учебе. Турки, о которых говорилось в книгах моего отца, никак не соотносились в моем сознании с ним самим, или с мамой, или с нашими родственниками и знакомыми. Я думаю, что, например, и французы не похожи и никогда не были похожи на персонажей своей литературы, от аббата Прево до Камю, Сартра, Паскаля Лэнэ и Жана-Дидье Вольфрома. Потому что литература — это вовсе не отражение жизни, это просто какая-то другая форма жизни. Другие какие-то измерения. Даже когда литература натуралистическая и вроде бы напоминает зеркало; стоит помнить, что и в самом обычном зеркале обыденном, так точно отражающем все, что в него заглядывает, правая рука у

нас — левая, и наоборот; любая, самая обыденная надпись превращается в загадочную тайнопись...

Отец очень искренне говорил о величии турецкой нации, но спохватывался, хватал меня за руку и говорил еще, что об этом надо молчать, ни с кем нельзя говорить. В школьных учебниках говорилось о турецкой нации только плохое. Но получалось так, что это плохое имеет отношение и ко мне и ко всем моим родным, и значит, если надо бороться с этим плохим и уничтожить, то и меня уничтожат. В учебниках говорилось, что турки убивали и притесняли болгар; отец говорил, что знает точно, что во время русско-турецкой войны болгары нападали на турецкие дома, грабили и насиловали...

Учебникам и учителям я никогда не верила, в них была какая-то сухая тупая крикливость, и они были для всех, как будто хотели одинаково всех сплющить. А отец говорил интересно и говорил только для меня.

Я росла с каким-то чувством неловкости и подавленной горделивости, и страх стал моим постоянным чувством...

Но моим родным языком все более становился болгарский. На этом языке я думала. В переводе на этот язык я впервые прочитала книги знаменитых писателей, европейских, русских и даже восточных. У меня был один родной язык, у отца — другой. Я читала все больше книг, отец довольствовался своими десятью — пятнадцатью. Как-то получилось, что мы реже стали говорить по душам. Отец старался покупать мне произведения европейских классиков. На болгарском языке были эти книги. Я помню, как он купил мне Гюго — «Человек, который смеется» и Байрона — «Дон Жуан», и старую книгу с изложением греческих мифов. Все эти книги были на болгарском языке. Когда он приносил книги для меня, мать ругала его, что он тратит деньги на книги, а нам не хватает на одежду, на хозяйство...

Первый мой комплекс от чтения был связан все-таки с книгой на турецком языке. Отец часто читал мне вслух рассказы Омера Сейфедина. Рассказы были довольно короткие, в них был юмор и психологизм, тонкость была. Когда мне было где-то семь лет, на меня вдруг произвело сильное впечатление то, что в одном из этих рассказов говорилось о смерти маленького мальчика. У меня почему-то возникли какие-то скомканные полумысли-полуощущения, что вот, если описана смерть маленького мальчика, значит, и я могу умереть скоро, и я ведь еще мала... Но когда у меня началось сильное удушье и я помню, как сестра кричала, звала маму, боялась ли я смерти или просто забыла о таком страхе; помню, как я доверилась маме и чувствовала себя в безопасности рядом с ней; помню на стуле у кровати миску с водой горячей, и мама наклоняет мою голову прямо в пар. После помню, как я лежу, и такое наслаждение свободно дышать. И вот я сижу на постели, под спину подложена подушка. Один из братьев сидит возле меня, чистит яблоки перочинным ножом, так серьезно склоняя стриженую голову, и кладет дольки мне в рот. Суровым мальчишеским голосом он произносит «открой рот» и вдруг улыбается и строит мне смешную дружелюбную гримасу...

Я помню, что было время, когда я выискивала в книгах страницы о смерти детей, мне было тяжело и неприятно читать это, и тянуло читать именно это. Но я росла, и этот комплекс прошел, и вместо него развился новый. Теперь я искала в книгах описания издевательств над беременными женщинами, рассказы о преждевременных родах, о рождении мертвых детей. Я снова и снова возвращалась к таким описаниям с тем чувством отвращения и презрения к себе, с каким человек тайком предается какому-нибудь гадкому пороку. Лазар — единственный человек, которому я обо всем этом рассказала. Он мне сказал, что я боюсь совсем не того, что со мной может что-то такое случиться, нет, я боюсь именно описаний. А ведь описания не могут случаться, они ведь не жизнь, они — совсем другое какое-то бытие. И я думаю, он прав. Во время родов, например, бренил совсем не тот страх, какой бывал, когда я читала описания родов... И при обострении туберкулеза, когда у меня кровь идет, это все равно совсем другое, совсем не то, что в литературе. Лазар говорит, что, даже если попадешь в какую-нибудь катастрофу, совсем не будет того страха, того чувства обреченности, как бывает, когда в повести или в романе читаешь об этом.

Когда Лазару было четыре года, Софи затопила в кухне печку, солярку залила; и вдруг огонь метнулся; Лазар помнит, как пламя так длинно взвилось под этот низкий потолок; из кухни дверь была во двор, Софи подхватила Лазара и выбежала. Стала звать соседей, дом чуть не сгорел... Лазар помнит, как уже все потушили и Софи смеялась. Она стояла на снегу в одном шлепанце и ногой в толстом носке

нашаривала другой, отлетевший в сторону; Лазара она прижимала к груди, на плечи ей кто-то накинул пальто чье-то, и она кутала мальчика в полу этого пальто. Ей тогда было девятнадцать лет. Другой раз Лазару было восемь лет, они ездили на море все втроем и возвращались поездом. Произошло крушение; тот вагон, где Лазар ехал с отцом и сестрой, не пострадал. Все выбежали. Тогда Лазар увидел страшное: увидел мертвых, искалеченных, увидел кровь... Но страшно ему не стало: «Я тогда еще не знал, что всего этого надо бояться...» Я спросила, какие у него тогда были чувства. Он ответил, что у него возникло такое энергическое желание подбежать и помочь; отец и сестра с трудом удержали его, увели и объясняли, что взрослые все сделают и что он не сможет. Отец и сестра были испуганы, подавлены, и Лазару это казалось непонятным. Страх у него совсем не было. В третий раз Лазару было уже двадцать два года, вместе с отцом и еще с одним родственником они поехали в село за овощами. Машина была этого родственника. Ехали поздно вечером. Машина как-то съехала с дороги и перевернулась. Лазар и родственник не пострадали — тот немного ушибся, а Лазару оцарапало ногу; но отец Лазара получил сотрясение мозга и после стал совсем уже плох. Но опять никакого страха не было. А что было, спрашиваю я. Лазар попытался вспомнить. Пожалуй, какое-то чувство неожиданности; сильное беспокойство за отца; Лазар тотчас начал звать его, но отец молчал, не откликнулся в темноте. И что еще? Да показалось, что нога очень болит, в первую минуту. Когда Лазар сказал о том, что у него нога болела, мне стало его очень жалко за тогдашнюю боль, я тихонько поцеловала его в плечо. Мы ночью лежали...

«Не бойся, — говорит Лазар, — с нами ничего плохого не может случиться. — Мне хочется верить ему, но я спрашиваю, откуда он такое знает, почему не сомневается. — Я видел во сне», — отвечает Лазар, и у него серьезное и замкнутое лицо...

Однажды он сказал мне, что не смог сделать меня счастливой. Я знаю, что для него это серьезная проблема, чтобы люди чувствовали себя счастливыми и не мучили друг друга. Я ему сказала, что, наверное, он никогда не умрет, и снова будет молодым, таким, как прежде, и многие люди благодаря ему станут счастливыми... И меня он сделал счастливой.

Лазар мне рассказал, что, когда он служил в армии, два года, им приказали пройти большое расстояние, кажется, марш-бросок это называется, но не знаю. Было очень жарко. Они были в этой форменной одежде, в сапогах и еще несли, кажется, что-то вроде вещмешков или скатанных плащ-палаток, не знаю. В общем, тяжело были нагружены. Очень хотелось пить, а воды не было. Дорога шла в гору... И вдруг они увидели родник. Все побросали то, что несли, и бросились к роднику, отталкивали друг друга, даже выкрикивали какие-то бранные слова. Лазар мне рассказывал, что эти молодые люди в загрязненной одежде, почти уже дерущиеся у родника, произвели на него очень тягостное, горестное впечатление. Но это еще не весь рассказ. Я слышала, как Ибиш рассказал Гюлчин, с которой я тогда вместе училась, что было дальше. Обращался он к ней, но я тоже сидела на скамейке и слушала. Это было еще до того, как я впервые говорила с Лазаром. Когда Лазар мне рассказывал, я уже знала, что он не все рассказывает. Но я не сказала ему, чтобы не смущать его...

Но вот что было дальше. Когда все бросились к воде, Лазар отошел в сторону, тоже бросил свою ношу и сел на землю... Он сидел, вытянув ноги, руки завел немного назад и опирался ладонями о землю. Пилотку он снял и бросил рядом. Он сидел, опустив голову. Ибиш, который тоже там был, вдруг заметил, что Лазар сидит в стороне. Он подумал, что Лазару плохо, подбежал и спросил, что с ним. «Тебе принести воды?» — «Нет». Лазар медленно поднял голову, глаза у него стали какие-то очень продолговато-большие и какие-то плоские и будто влажные... Он как-то отрешенно посмотрел на Ибиша и после медленно перевел взгляд и внимательно посмотрел на остальных, которые все еще толкались у воды. Внезапно все как-то расступились, будто пришли в себя, стали поочередно, уступая друг другу, наклоняться к воде; стало тихо, голоса умолкли, даже слышно стало это мерное журчание воды. На Лазара никто не оглянулся. Ибиш все стоял подле него. Потом Ибиш тоже отошел к роднику. Все напились, умылись и отошли от воды. Заговорили спокойно и заулыбались, все вдруг сделалось как-то радостно. Лазар тогда встал, подошел к воде, опустился на одно колено, склонился, сложил горстью ладони, выпил воды и умыл лицо. Но это не был тот родник, который мы видели, когда поехали с Лазаром в горы. Другой родник. Вот это мой Лазар...

Чем я отличаюсь от тех, которым везет? Я лгу без успеха, они лгут успешно. Я не научилась лгать хорошо, как следует. Только это...

Конец! Больше не могу выносить весь этот кошмар обиденной жизни. Какого-нибудь другого Лазара сделаю себе. Придумаю. Но дело в том, что я не могу придумывать... «Творение» и «придумывание» — это совсем разное, как будто бы одно — детская выдумка, хорошая, милая; и одно — грубая практичная ложь...

Я сжимаюсь в темноте под одеялом. У меня тонкие руки, и у меня больные легкие; я чувствую себя очень незащищенной. Никто меня не жалеет. Моя мать думает, наверное, что ее жизнь прошла зря, ведь у ее дочери нет семьи, нет детей. Мать жалеет меня, но с какой-то долей презрения. А я, конечно, хочу, чтобы она жалела меня с любовью.

Лазара совсем нет... Я сама? Все время я чувствую, что другие несчастнее меня. Вон та молодая женщина. Олга ее зовут. У нее двое детишек. Но почему я должна ее жалеть? Все-таки у нее что-то было в жизни. Я знаю, дети не просто так рождаются! Они от наслаждения рождаются. Зачем я ее жалею? И все-таки я ее жалею. Лазар? Зачем у меня не получается один милый, добрый, хороший Лазар? Не могу остановить это, этот процесс, это движение, которое называется «фантазия» или «воображение» или «творчество», нет, «творение». Или еще как-то... Это действие. И развивается, вращается с такой беспогрешной, беспощадной логичностью — как Земля вокруг Солнца. Но разве я не могу сосредоточиться и вырваться из всей этой ситуации, из всего этого моего движения куда-нибудь в другое какое-нибудь мое движение, в другую ситуацию? Теперь, сейчас — нет, я слишком усталая...

Интересно мне, откуда приходят все эти подробности, детали? В моей обычной жизни, в той, которая называется реальной, я их не знаю.

И вот... Нигде его нет, моего доброго Лазара. Только одна логичность, беспогрешная и беспощадная.

Когда мы только поженились с Лазаром, мы ездили в горы. В село болгар мусульман. Это устроила учительница, которая работает вместе с нашей Софи. Она туда ездила несколько раз отдохнуть. Там большая семья, несколько маленьких девочек. Я привезла куклу в подарок, но им больше нравилось брызгаться водой, и носить малышек на ручках, и бегать. Но Лазару хотелось, где тихо, где нет людей. Хозяин сказал, что, если мы поднимемся, там будет оставленный дом, и мы сможем в нем пожить. Мы взяли еду и пошли туда. Там такой большой очаг, вроде камина. Но мы побоялись и готовили кофе на костре.

Круглые голуби издавали свои горловые звуки, трещали крыльями и пробегали мелкими шажками по этим выщербленным каменным плитам большого двора. Утром они громко слетали на окно, и я просыпалась. Мы спали с раскрытыми окнами. Голуби это были, а может, горлицы. Когда не знаешь чего-то, в этом тоже есть свое обаяние, как в неправильностях и неточностях «Трех мушкетеров» или «Королевы Марго».

Воздух как будто вкусный и мягкий, и такой чистый... Зелень прозрачная. Внизу течет река, и мостик, крутой, каменный, изгибается. Лазар сказал, что неподалеку от этих мест он служил в армии. Это и до сих пор удивительно мне, что мой необыкновенный Лазар делает то, что все делают: что он служил в армии, что он утром встает, умывается, надевает обычную, такую, как у всех, одежду; вот он ест, пьет, движутся его милые губы и незащищенный кадык... И это все почему-то мне странно и трогательно, и вдруг хочется заплакать...

И вот Лазар сказал, что, когда он служил в армии, ну, в восемнадцать — двадцать лет, и эта зелень, и воздух, и девушки в горах такие красивые, что он не мог уснуть по ночам, долго лежал без сна и ему казалось, что он сам — это целый сложный мир таинственный, и если так лежать, молча, без сна, вдруг что-то почувствуешь, как озарение; что-то прояснишь в себе... Но я подумала сразу: почему он это говорит? Хочет сказать, что те девушки были красивее меня? Или наоборот, что я красивая и что он теперь любит только меня? И тогда я поняла, что эта моя женская мелочная сосредоточенность на себе самой всегда будет мешать мне понимать, чувствовать моего Лазара. Он будет говорить со мной, делиться, как с близким человеком, той красотой и высотой, какие он чувствует, а я буду всему искать свои женские мелкие объяснения... Тесноты и мелочности будет становиться все больше: будут дети, жилье, работа. И я могу совсем потерять моего Лазара. Неужели так будет? И я чуть не заплакала... И я боялась, что вот он сейчас нахмурит брови и будет это выражение тоскливого одиночества на его лице. И я наклонилась,

так как мы сидели рядышком, и стала осторожно целовать его раскрытые глаза и чувствовать губами ресницы и веки...

Тогда в горах он купил мне браслет, ожерелье и серьги, даже не серебряные, простые, с красными яркими стекляшками вместо камешков, но это было красиво.

Теперь там, в горах, людям поменяли имена. Говорят, что там теперь войска, милиция, вертолеты над селами. В этом голубом небе...

Лазар... У него совсем настоящее имя. Пока ему легче. Но как же все случается, происходит? Внезапно, вдруг? Нет, мы просто думаем, что внезапно. Просто думаем так, потому что целиком поглощены какой-нибудь тошнотой и головокружением, и ненавистью к самим себе, и переводом рассказов, и по книжке французской кулинарии готовим обед из болгарских продуктов, и пальтишко надо купить маленькой... И вот все происходит: насильно меняют имена и арестовывают людей, и всякое другое... А что мы? Вечером читаем детям вслух «Чипполино» или «Пиноккио»; и гланды; и начинается гастрит у Лазара Большого; и у Лазара Маленького начинается конфликт с этой тупой учительницей болгарской литературы. Маленький мой Лазар! Как я его люблю! С ним так чисто и хорошо! Каждую неделю я ему пишу по одному письму; рассказываю, какие книги есть в больничной библиотеке и какие здесь люди, какие человеческие характеры, типы. Он мне отвечает, такие интересные мысли сейчас приходят ему в голову. Я не хочу, чтобы он приезжал сюда, к туберкулезным больным, поэтому мы так усиленно переписываемся. Пусть мой сын не чувствует так, будто я его забросила. Как хорошо он улыбается! Девочки так не умеют. Но они такие тепленькие и нежные. Волосики у них пахнут нежностью. Они так прижимаются ко мне, мои девочки. Мне так хорошо, когда я их обнимаю и прижимаю к себе. И я очень люблю купать их вечером...

Но больше всего я скучаю по Лазару Маленькому. Лазарчо мой... Я так люблю его! И сразу я понимаю, что и девочек очень люблю. Эта тупая учительница в школе, она не может понять моего Лазарчо. Теперь он и рифмованные стихи начал писать. А его сестрички рисуют. Но все-таки, может быть, ему не надо так сильно увлекаться литературой. Ведь так много лжи, фальши, зависти нехорошей и разного всякого стремления к легким успехам бывает там, в этой литературной среде...

В сущности, я знаю, в чем заключается мое страдание. Кажется, я это уже говорила. Только немножко в другой форме. Ну, еще раз повторю. Есть такое, когда людей строят в колонны, значит, объединяют по принципу каких-то общих, единообразных имен и фамилий или записи в паспорте, в графе «национальность». И люди идут убивать и притеснять других людей, у которых другие имена и фамилии и другие записи в разграфленных документах. Такие объединения, кажется, всегда добровольные или полудобровольные. И люди охотно идут и верят, что, именно убивая и притесняя других людей, они достигнут благополучия, даже величия... И, кажется, мало кому бывает в таких случаях стыдно. Вот Льву Толстому было стыдно, когда русских крестьян погнали на Балканский полуостров воевать за то, чтобы империя стала еще больше и чтобы расширилась сфера ее имперского влияния. А Достоевскому стыдно не было. Но бывает еще страшнее: когда чья-то конкретная и страшная воля ставит тебя к стене, или загоняет в газовую камеру, или меняет тебе имя; когда тебя зачеркивают, ты уже больше не ты, не личность, а только графа в разграфленном документе; носитель имени, которое тебя насильно заставляют поменять на другое имя. Но я все равно даже в этом едином мучении не знаю, о чем мне говорить с тысячами моих единоплеменниц, которые держат детей на руках. У меня нет детей...

Я пишу стихи. И насильственное, унижительное объединение — самое мучительное для меня. Я не понимаю тех, которые пишут в своих стихах о каком-то своем единстве со своим народом. Нет! Я — это я! И другие люди — это другие люди! И я не хочу этого гнусного единства под дулом автомата или в тюремной камере. Такие отчаянные глаза, пораженные страшным своим одиночеством, я видела на фотографиях, где целые толпы людей с шестиконечными звездами на груди; эти глаза я выхватывала взглядом из десятков других, чужих для меня глаз...

Я почти не общаюсь со своими родственниками. И у них нет особого желания видиться со мной. Мне не нравится их презрительная жалость ко мне за мое одиночество, за мою неопределенность в жизни. Если бы Лазар был со мной, я бы

не чувствовала себя одинокой. Но скоро все это станет (или уже стало) совсем незначительным, потому что чернота одной общей для всех нас беды сожмет нас в своих когтях...

Разумеется, я тоже могла бы подхватывать эти унижительные оправдательные разговоры; и когда рядом со мной сидит мешанка, которой барабанная пропаганда внушила нелепое сознание избранности (это значит, что в этой стране она лучше меня, потому что у нее другие записи в паспорте. И это, наверное, одно из самых страшных искушений для человека, искушение вот такой вот избранностью); и вот она рядом со мной и распаленно говорит мне, что мои единоплеменники — наркоманы, воры и безнравственные люди... И я могла бы сказать, что люди бывают разные, что мои родные не таковы, или еще другие банальности могла бы сказать. Но я не стану унижаться. Ведь, если в безнравственности и других пороках обвиняются тысячи людей, и только на основании каких-то единообразных записей в их паспортах, и обвиняются их маленькие дети, и уже все они обвиняются, без различия возраста и пола, тогда уже можно ничего не пытаться прояснить, уже можно ни о чем не говорить; нужно просто бить тревогу. Это Лазар говорит...

Из родных Лазар оставил себе только Илию. Илия страдает эпилепсией, у него где-то раз в месяц припадок. Но он всегда заранее предчувствует, за несколько дней, так что это не бывает неожиданно и мы знаем, что он детей не напугает. Он мало говорит и как-то смазанно, чуть неясно. Но он умеет выращивать цветы, и косить, и ловить рыбу, и фотографировать. Он помнит, когда день рождения Лазара, и мой, и детей. И всегда присылает открытки. На открытках (на обратной стороне) большими печатными буквами всегда написано одно и то же: что он желает здоровья, счастья и чтобы мечты сбылись. В четырех строчках — несколько орфографических ошибок. Он если говорит, то только о животных, растениях или о фотоаппаратах. Летом Софи ездит к нему отдыхать и берет детей с собой. У нее есть фотографии, где дети в одних трусиках, босенькие, играют на траве под деревом, каким-то невысоким и немножко кривым. Там была маленькая серна, и наш сын, Лазар Маленький, с ней играл. Потом Софи привозит детей обратно и сама уезжает на неделю на море. Там теснота и очереди за мороженым и сосисками. Но все-таки море, морской ветерок на пляже. Она возвращается такая посвежевшая и говорит, что снова убедилась в глупости и суетности людей и что не надо никому завидовать. Я тоже так думаю, что не надо. Ведь никто не может чувствовать, как я. Только я так чувствую, а все другие — иначе. Мои чувства могут быть только у меня. И мое счастье никто не может украсть. Оно где-то там хранится, неприкосновенное, в сокровищнице Бога, и, когда я окажусь там, оно будет моим. Но это идеализм. И все же... Я верю... Бог знает меня и жалеет, и знает, что я стремлюсь быть хорошей, доброй.

Когда Илия приезжает в город, он у нас останавливается. Он привозит овощи и фрукты и эту домашнюю колбасу — каждая колбаска на банан похожа. Помню, когда Лазару Маленькому было девять лет, Илия хотел взять его осенью в село, показать, как будут свиной колоты. Мальчик обрадовался, что увидит новое и даже поучаствует в таком интересном и взрослом деле. Но Большой Лазар это ему запретил, и притом так экспансивно, с криком, сердито. И кричал, что он не хочет, чтобы его сын рос убийцей. Я поняла, что это слово «убийца» задело мальчика. Смысл этого слова ему уже сознательно неприятен, и как странно и мучительно, что этим словом называли его, и назвал отец, которого он любит. И мальчик ощутил, я знаю, это мучительное сознание собственной нечистоты, когда уже физически, телесно хочешь бежать от самого себя, а это сделать невозможно; и он закрылся руками и заплакал. А я подумала, что это несправедливо: доводить такого маленького до такой муки. И я со слезами обняла его, чтобы почувствовать его плечики дрожащие, и согреть, и защитить его собой. Но ему это не было нужно, он высвободился и убежал в другую комнату. Он уже настолько взрослый, что ему нужно самому эту муку пережить, наедине с собой, без моей помощи. А я обиделась на Большого Лазара и плакала. Хорошо, что Илия деликатный человек. Я замечала такую деликатность у совсем необразованных людей. Просто молчит, и все, но какое-то это легкое молчание, будто человек все понимает, что случилось у него на глазах, и не думает о вас плохо. Лазар пошел к сыну, повел его в ванную, вымыл ему лицо. Я понимаю, что Лазар может что-то сказать и даже просто прикоснуться, погладить по голове так, как я не умею... Вот что-то такое Лазар может дать детям, чего я не сумею им дать. Лазар уже спокоен и говорит успокоившемуся мальчику и

нам, что одно — убивать животных, потому что это дело, работа — получение пищи; и совсем другое — смотреть на это убийство или участвовать в нем для забавы, для развлечения. Это самое скверное.

Мне нравится, как мой мальчик играет в шашки с Илией. Он знает, что Илия болен и ему нельзя перенапрягаться умственно. (Это мы с Большим Лазаром так решили.) Маленький Лазар так серьезно поддается, личико такое открытое, захваченное этой серьезностью... Илия спокойно передвигает кругляшки. Вот мальчик решил, что теперь можно и выиграть один раз. У него такое открытое личико, все читаешь, все видишь. Но флегматичный Илия не позволяет ему выиграть. Лазар опять задумался и нахмурил бровки... И развеселился, что можно играть без притворства. Мелочь, а глазки засияли! Моя радость! Вот теперь оба сосредоточенно, серьезно играют и получают удовольствие. Но сейчас Маленький Лазар совсем вырос, личико уже не такое открытое, это выражение подростковое, ироническое появилось, и все за ним он прячет, и только проглядывает эта его милая прелесть. Но так и должно быть. И через это надо пройти...

Я закутываюсь с головой...

Вот что. Я скажу... Сейчас. Все-таки... Я ведь о моем муже говорю. Дело в том, что... Лазар не может, когда это... презерватив. Ему становится плохо, он не испытывает наслаждения. В сущности, и я не могу, когда так... и не хочу, чтобы он... Но тогда последствия. Ведь на много детей и денег неоткуда взять. Впрочем, это природа. Мне приходится терпеть боль из-за этих последствий; а у него, например, гастрит на нервной почве, тоже больно.

Но мне кажется, что теперь он совсем выздоровел и стал такой красивый. С тех пор как он знает, что я серьезно больна. Душа его полнится надеждами. Бедный мой Лазар! Он стыдится. Он ждет. Ждет, когда я умру. Мечтает о свободе, о красоте. Стал такой мягкой с детьми. Никаких замечаний им не делает. Только ласкает и улыбается как-то рассеянно и стыдливо... будто бы уже это чужие дети. Ничего... Софи о них будет заботиться. Они вырастут. Я на него не сержусь. Интересно, как он представляет себе свою новую жену; с какими глазами, с какой фигурой, и о чем она говорит с ним в его воображении? Теперь я спокойна. Спокойно люблю его. Это Лазар... Лазар...

Откуда мне приходит в голову такая грязь? Просто тошнит от самой себя... А! Я плохая, низкая, я обманщица. И все остальное... У меня грязное подсознание...

Когда мне было двенадцать лет и у меня впервые пришли менструации, я сказала матери, потому что испугалась, подумала, что это болезнь. Я мало любила мать и не склонна была делиться с ней своими мыслями и чувствами, но болезни — это что-то бытовое, как хождение за покупками или мытье посуды, об этом надо было матери сказать. Мать объяснила, что теперь это будет каждый месяц. Я почувствовала себя скованной, униженной. Взяла в библиотеке книжку о женской физиологии и испытала еще большее отвращение. Зачем эти мерзкие рисунки, медицинские термины и советы имеют отношение ко мне? Одна мысль о том, что я могу быть такой, как те замужние женщины, которых я видела вокруг, приводила меня в какой-то тоскливый ужас. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, мама заговорила с отцом о моем будущем; она считала, что надо иметь профессию, но не обязательно иметь высшее образование. Она сказала, что меня могут и не принять в университет и что высшее образование совсем не помогает выйти замуж. Лучше мне поступить на курсы какие-нибудь и, например, стать машинисткой. Отец как-то вяло возражал, что, если я думаю, что у меня есть способности, пусть я поступлю, куда хочу. Помню еще, как я сказала матери, что боюсь замужества, потому что мне неприятно смотреть на женщин в положении. Мать рассердилась и сказала, что я дурочка и что самое худшее — это быть старой девой. Я спросила, почему... Она закричала нервно, что я сумасшедшая, и ударила меня по щеке. Я равнодушно ушла во двор. Тогда я стала увлекаться христианством; мне, впрочем, нравился именно аскетизм, обет безбрачия. Но мне не нравились церкви, священники, иконы... Я не хотела подкрашивать лицо, красиво одеваться; я видела в этом что-то лживое и грязное.

С тех пор много времени прошло, у меня родились дети, я испытала много женских недомоганий, но не могу сказать, чтобы это все помешало моей духовной жизни, а в юности я именно этого боялась. И когда надо идти на люди, я стараюсь одеться прилично и подкрашиваюсь, но я знаю, что делаю

это не для того, чтобы кого-то соблазнить, а просто чтобы быть похожей на всех остальных женщин.

Я думала, что мои родители должны полюбить Лазара. Но они отнеслись к нему равнодушно, и Лазар не испытал к ним особой приязни. Свадьбы у нас не было. Мы оба не представляли себе, как соберутся за одним столом наши родственники; то есть мы это представляли себе каким-то ужасным, пошлым зрелищем. Родители дали мне денег. Лазару тоже родственники собрали денег и подарили сберегательную книжку. Все эти деньги были нам не без пользы. Я думала, что моя мать должна быть благодарна Лазару за то, что он женился на мне. Мне это казалось таким чудом, что мы с ним соединились. Но мать вовсе не была благодарна, она сказала, что выходить замуж надо за человека своей национальности. Конечно, умом я понимала, что у Лазара есть национальность, но я чувствовала совсем другое. Лазар не такой, как другие люди. Разве можно говорить, что святой Лазар — еврей из деревни Вифания, или считать Кришну индусом?..

Я редко ездила к родителям и старалась, чтобы мои родители не встречались с Лазаром. Зачем было навязывать им трюим какие-то притворные отношения, если уж они друг друга не смогли полюбить?..

Когда нашему сыну было полгода, я его еще кормила и поняла, что у нас будет второй ребенок. Но я сразу как-то испугалась, опять придется испытать все неприятные ощущения, всю болезнь родов, и, может, это покажется мелочным, но я мечтала, что вот Лазар Маленький немного подрастет и я смогу нормально спать ночами, не надо будет кормить, менять пеленки... И еще надо было университет кончать. Когда первый раз случилась беременность, я так волновалась и радовалась, а теперь у меня были только эти мелочные и практические мысли. Лазар Маленький уже ел творожок и кашки, но я его еще кормила. Я сказала Кате, и она меня поддержала в этих моих мыслях и обещала все устроить так, что я чуть ли не вечером того же дня буду дома. Я отнесла маленького к Софи и сказала, что через несколько дней вернусь. Я на всякий случай сказала, что через несколько дней, и оказалась права, были какие-то осложнения, и несколько дней это продлилось. Я сказала Лазару, что моя сестра заболела и мне придется к ней поехать. Он знал, что я почти не общаюсь со своими родными, но если сестра заболела... Софи, кажется, все поняла, но ничего не сказала. Когда она была на работе, Лазар смотрел за ребенком. Борис предложил ему куда-то пойти, Лазар отказался и объяснил, почему не может. Борис тогда еще не женился. Борис сказал ему, что догадывается, что со мной, и спросил, почему Лазар не пользуется этими презервативами. Лазару было неприятно, потому что Борис говорил о нашей интимной жизни как о чем-то обыденном, что бывает у всех; и еще одно — Лазар не знал тогда, что такое презервативы, но ему было неловко признаться и он делал вид, будто знает, но даже такой маленький обман был ему неприятен. Борис и об этом догадался и стал объяснять, а Лазар прерывал его разными «да», «я знаю», «конечно». Лазар после мне все рассказал... Борис обещал ему раздобыть презервативы.

Когда я вернулась домой, у меня совсем не было ощущения, будто я убила живое существо, но я не очень хорошо себя чувствовала, еще немного шла кровь... И Лазар меня раздражал своим отчаянием и откровенностью, он говорил, что это очень страшно — такая жизнь, когда двое только и делают, что убивают своих возможных детей. Он действительно мучился. Но я устала телесно и хотела отдохнуть, а надо было опять ухаживать за ребенком; и все эти его слова об этих убийствах казались мне глупыми, неестественными, нелепыми какими-то. Когда я совсем выздоровела, он боялся быть со мной. Я стала плакать и ревновать его, кричала на него. Я боялась, что у него есть другая женщина. Странно, но мне совсем не было бы страшно еще раз сделать такое прерывание беременности. Я чувствовала, что это никак не повлияет на мою духовную жизнь, как не может влиять на нее любая незначительная болезнь. Лазар предложил пойти к Софи, посоветоваться. Иди, сказала я. Я не пойду... Я знала, что Софи не захочет ему ничего советовать. Она умная. Он пошел. Вернулся растерянный и сказал, что Софи очень твердо сказала, что именно по таким вопросам ничего советовать не будет ни ему, ни мне, и велела ему уйти, даже кофе не дала. Он попробовал презерватив, но это оказалось так противно и ему и мне, так нелзя было, как будто жизнь теряла какой-то свой тайный смысл, какую-то самую тайную свободу... Тогда Лазар сказал, что пусть у нас не будет телесной близости. Он знал, что я сейчас закричу, что у него есть другие женщины. Он даже приподнял руку, словно уже останавливал меня, и сказал, что

совсем пусть ничего не будет, ни с кем, и пусть я этого не боюсь. Он правду говорил, и у него хватило бы силы на это. Но я слабее, и у меня уже не хватало таких сил; жить без него, без его тела — у меня бы мысли и чувства смешались, помутились, я не могу так жить, без него... Я сказала, что он не должен думать о детях, пусть я это буду решать, и ведь по логике природы я должна это решать. Конечно, он постепенно успокоился. Я не хотела детей после нашего сына. Мне и сейчас кажется, что ребенок любимый бывает один, а все остальные — их меньше любишь. Приходилось еще делать эти прерывания беременности. Лазар, кажется, привык, но я чувствовала, что он всякий раз мучается. И девочки родились потому, что, я знаю, ему было приятно чувствовать, что от него родится новое живое существо. Когда наконец-то мы переехали в эту двухкомнатную квартиру, он сразу сказал, что пусть у нас будет трое детей, ведь у нас теперь есть квартира. Мы ночью разговаривали, и он сказал, что с тремя детьми он не будет чувствовать себя убийцей. Я не стала уже разубеждать его, говорить, что он не убийца. Если у человека такое глубинное убеждение в чем-нибудь, зачем оскорблять его, пытаясь переубедить? Так родилась наша младшая девочка. После нее у меня обострился туберкулез... И больше не было беременностей; может быть, это связано с болезнью легких. Мне кажется, Лазар больше любит дочерей, чем сына. Сын появился на свет как-то естественно, а дочерей он словно бы сам спас от небытия... Лазар мне говорил, что его мучает мысль, что болезнь обострилась после рождения девочки. Он снова чувствовал себя виновным, ведь он так хотел, чтобы она родилась. Теперь он обвинял себя в том, что не думал обо мне. Но я ему говорю, что такого чудесного человека, как он, вообще не бывает на свете и это счастье, что я увидела его и что он со мной. А странно, я не помню, как я его увидела в первый раз. Кажется, в какой-то аудитории в университете...

Но как же это получается? Я?.. Ничего... ни с кем... Придумываю?.. Нет. Как объяснить?.. Просто нужно так, и я рассказываю... и ничего не могу изменить в своем рассказе.

Но все-таки почему?.. Почему это именно такой Лазар получается? Я всем сердцем хочу, чтобы он был другим; но я знаю, это он, и я люблю его.

В самой этой глубине моего подсознания, будто комок в горле, — одно какое-то чувство, ощущение, что я не заслуживаю другого Лазара. Почему? Я хочу видеть его другим, я не знаю его до конца. Значит, фантазия не спасает от реальности?.. Но это плохо сказано...

Меня еще не положили в больницу, и мы пошли с Лазаром купить ему куртку. В магазине он стоял перед этим большим зеркалом и примерял куртку. Я на него сердилась, приказывала ему, он послушно поднимал руки, поворачивался. Вдруг я почувствовала с удивлением, что он смотрит прямо в зеркало. Я тоже посмотрела. Я стояла у него за спиной... выглядывала. И я увидела, что он не видит меня. Видит только свое лицо. Чудесно прекрасное, почти мальчишеское лицо с большими изумленными глазами, полными надежды. Машинально он снял очки и мальчишеским жестом зажал их в горсти. Мне так захотелось поцеловать его, где одно такое крохотное пятнышко сбоку на шее, будто крупинка. Я всегда это местечко целую... никто бы не заметил... но я не осмеливалась, как будто бы это уже не был мой муж, как будто бы я уже не имела права целовать этого отдаляющегося от меня человека...

Эти глупые фальсификации, эти диссертации — «Критика буржуазных фальсификаторов истории болгарского рабочего класса» — сачма<sup>1</sup>. Но все это кончится...

Дело в том, что Лазар перекопировал документы, которые приказано было уничтожить, и написал комментарии и все свои рассуждения, доказательства и выводы и все передал Борису, когда Борис был здесь летом. Может быть, в ФРГ издадут. Но пока ответа нет. А может быть, Лазар для них совсем не тот человек, который должен рассказать обо всем, что случилось? Лазар не зарабатывал себе имя, не дружил нарочно с теми, с кем нужно дружить, не заискивал, не притворялся... Может быть, они думают, что Лазар только на то годится, чтобы мучить его вместе с тысячами других бесприметных людей? Но я знаю, что Лазар все написал прекрасно. И я хочу, чтобы он победил. А если здесь узнают? И что тогда? И все-таки

<sup>1</sup> Чушь, абсурд (турец.).

я так горжусь им, просто сама себе удивляюсь... Одна такая детская большая-пребольшая гордость!

Еще нет ответа. Может быть, они думают, что не такая уж это сенсация — когда насильно меняют имена у какой-то части населения в какой-то маленькой балканской стране. Однажды мы говорили с Софи. Я ее люблю с этой ее маленькой родинкой у края рта. Лазар очень похож на свою старшую сестру. Она рассказала о двух девушках в автобусе: в их селе взяли паспорта, поменяли имена, но все вроде привыкли. Софи сказала, что, может быть, мы преувеличиваем, когда так возмущаемся, и что, может быть, все и не так страшно. Надо потерпеть, и все как-то выправится. И в литературе и в кино вот говорят, что эти турецкие имена были насильственно даны болгарам в средние века. Тут Лазар на нее напал, стал говорить, что все это мифология, что документы показывают другое, а то, что сегодня, сейчас происходит, это настоящее насилие, и вся страна загажена этим насилием. Я тоже вмешалась и сказала, что речь идет о человеческом достоинстве, о том, чтобы дети после не чувствовали себя виноватыми из-за того, что сейчас одни насильно меняют имена своим согражданам, другие не сопротивляются, а третьи молчат, испуганные...

— И ты, Лазар, должен что-нибудь сделать!

— Я уже сделал, — сухо ответил он. — И без твоих советов.

Софи посмотрела на него, вздохнула и сказала тихонько:

— Не кричите так, дети прорснутя.

— И пусть прорснутя! — почти кричу я. — Пусть увидят, что их отец и мать — еще не совсем рабы!

И тогда Лазар улыбнулся смешливо и поцеловал меня...

Хорошо... Почему же тогда я в конце концов трусливо сдалась и поменяла имя? Потому что у меня нет ни Лазара, ни детей... И я не могу одна. И я все понимаю. И мне так горько! Я хочу умереть скорее...

Я знаю, что это малодушие, но мне захотелось еще жить... С завтрашнего дня буду принимать эти противотуберкулезные таблетки. Мне уколы делают — все-таки было какое-то лечение. Я выздоровею...

У меня есть свои настоящие несчастья, почему я о них не рассказываю? Мне слишком печально о них говорить. И они мне кажутся слишком странными... и такими тягостными. Хотя они совсем не связаны ни с какой любовью. Или, может быть, как раз поэтому... Нет, я сейчас не буду о них рассказывать. Просто не могу. Может быть, когда все кончится... А вот кончится или нет?

Я выздоревею и найду Лазара. Я его найду!

Написать письмо? Написать? Но зачем мне эта грубая имитация настоящей жизни, когда я могу сделать настоящую жизнь еще более настоящей? И еще... И еще... гене!... Только возьму чистые листки бумаги и карандаш или ручку и буду нанизывать рифмованные строки — мои стихи. Стихи, как эти бескрайние старинные ожерелья — герданы — из старинных золотых монет. Но сейчас я не могу. Не могу встать с постели, не могу вынуть из чемодана свои наброски, черновики. Мне хочется спать.

На сегодняшний вечер пусть останется только имитация... Я позвоню по телефону снизу, с первого этажа, из кабинки. Я представляю себе, как будто бы я звоню...

Я буду говорить тихо, чтобы меня слышал только Лазар, а не эти люди возле кабинки, которые ждут своей очереди. Я не хочу показывать другим людям, будто я какая-то очень забттливая мать и супруга; не хочу играть эту тонкую роль такой хрупкой, но духовно сильной женщины: она тяжело больна, но притворяется беззаботной, шепечет; и во всем ее поведении одна цель: смотрите, какая я! Замечайте! И зрители замечают и аплодируют. А она думает: вот я! Как я возвышаюсь над своим мужем, какая я тонкая натура! Но я так не хочу! Не хочу. А все-таки чего же я тогда хочу?

Я опускаю монетки и беру трубку. Вот сейчас я все ему расскажу, все разделю с ним: то кафе днем, и противотуберкулезные таблетки, и статью Мизова, и одну-единственную снежинку, и небо, и землю, и утреннее зеркало — все! И он, Лазар, утешит меня, потому что он все понимает.

<sup>1</sup> Снова (турец.).

Вот сейчас... Мое мгновенное напряжение. Я услышу его голос... Я так по нему скучаю. Мой Лазар!

Я выкрикиваю «алло!»... Не могу узнать его голос, впрочем, это всегда, когда я звоню ему.

— Зарко! Лазаре!

— Кто это? — спрашивает он на другом конце провода. Голос у него такой буднично-недовольный. Может быть, он уже спал, а я подняла его с постели...

— Извини, Лазарчо...

— Это ты? — Теперь интонации как будто живее. Но зачем эти фокусы, как будто из пьесы Пинтера «День рождения» — «Пити, это ты?»? Он, правда, не узнает мой голос? Кто может быть, кроме меня? Зачем он устраивает этот театр абсурда?

Плохо слышно. Мне приходится кричать, и от этого совсем меняется все, что я хочу сказать. Я еще успеваю огорчиться из-за того, что весь придуманный заранее разговор пропадает.

О, какая же я глупая и карикатурная! А он? Наверное, он не один сейчас или вернулся от какой-нибудь женщины; и какими смешными и надоедливыми ему кажутся эти мои выкрикивания... Я уже немного раздражена.

Он спрашивает обязательное «как ты себя чувствуешь?»... Но я не чувствую никакой настоящей заботливости в его голосе. Просто так спрашивает, как будто это тягостная обязанность. Я не отвечаю, потому что одна мысль меня обжигает и еще больше раздражает. Погода дождливая, дети у Софи, а непромокаемые пальтишки с капюшонами остались дома.

— Лазар, ты отнес пальтишки детям?! — я кричу страшно и даже сама расслышала, как будто со стороны, этот свой теперешний раздраженный голос.

Бедный Лазар! Он даже не догадывается обмануть меня: говорит, что еще не отнес, что завтра отнесет. Но и он уже злится.

А я совсем уже бешеная. Чужой человек он, чужой! Дети — единственное, что у меня есть в жизни... они в опасности... они простудятся...

— Сейчас же отнеси! Немедленно! Слышишь?!

— Завтра вечером отнесу, я работаю...

Я кричу как бешеная какие-то несвязные слова, не слышу себя. Вдруг на меня нападает кашель. Я не хочу, чтобы он слышал; он расстроится; он будет брезговать мной. Я прихожу в себя и почти инстинктивно отвожу трубку в сторону. Выплываю бурные крошки в носовой платок. А он кричит, спрашивает, где я, почему я не отвечаю, что со мной случилось. Я наконец все расслышала и удивляюсь: ведь это человек, который открыто тревожится обо мне... как сильно кричит... А я замолчала от изумления. Я совсем прихожу в себя. Я жалею его... и очень его люблю!

Что я сделала? Подняла его с постели, а он так устает, и утром ему снова надо ехать на работу в этом автобусе, и толкотня, и все остальное... И я даже не могу ему завтрак приготовить.

— Почему ты молчишь?! Ты кашляешь?!

Вот — он все понимает!

Я сильно прижимаю трубку к уху.

— Нет. Не кашляю. Просто... Пришла в себя. Извини, Лазарчо...

— Я отнесу детям пальто.

— Спасибо.

— Я целую к тебе.

Время уходит со страшной быстротой. Вот сейчас исчезнет его голос... Я должна его беречь, я должна сказать ему, что не надошний раз приезжать сюда, ко мне. Нас уже прерывают со станции. Такие страшные горы одиночества с таким страшным шумом, грохотом рушатся на меня! Одно это ощущение, что время кончается, уходит...

И вдруг он выкрикивает мое имя... Это мое имя... Он называет меня моим настоящим именем! Это, правда, мое настоящее имя!

— Лазаре, Лазаре... приезжай скорее, Лазаре! Я очень тебя люблю! Лазаре, Лазаре! Ты еще слышишь меня?! Я целую... Я целую тебя в губы!.....

...только это...

Борис Викторов

## Птица певчая, птица ловчая...



\* \* \*

Оливковой рощей вернусь, камышами, тропой средь  
орешня,  
Одессой полуденной, Римом вечерним, ночным Бабилоном,  
в окно постучу — и качнется в стекле, перечеркнутом  
тысячью трещин,  
пейзаж с тополями по склонам.

Брани, я того заслужил, даже хуже...  
Хорошая, здравствуй! Ты стала еще хорошавей,  
шершавей!

И я без тебя околею от стужи  
в родимой державе.

### *Ворон конца Второго тысячелетия*

Я вытряхивал двойки  
из дневников  
а поодаль надменный ворон выклеывал на помойке  
пружины из позолоченных выброшенных часов

«о узурпатор времени работающий упорно  
в таких ужасных условиях подскази  
что здесь нашел меж свалкою и уборной?»

когти мелькают острые как ножи

ты металл пожирающий станешь и сам железным  
Хроносом переваривающим цифирь  
чтобы царить над свалкою бесполезной  
пасынком века  
уравновешенным парой бесхозных гирь

ты бастард  
а во чреве твоём баланс циферблат шурупы  
сами собою складываются в иной  
чуждый нам механизм отмеривающий так скупое  
будто мы провинились и вправду перед тобой.

## Ночная бабочка

Ночная бабочка заполонила дом,  
сорит пылью цыганистой цветастой.  
Обманщица!.. И манит локотком!  
И вот уже не кажется несчастной —  
прожгла окно, клубится над столом;

из вороха черновиков  
строкою, уничтоженною трижды,  
из пепельных отрепьев, из оков —  
вдруг вырвалась; ни слова укоризны;  
касается висков...

Разлучница с отзывчивой душой,  
сама покинутая в юности жестокой,  
она уже не кажется чужой,  
беспомощной и одинокой.

И ночь тяжеловесна перед ней,  
танцующей на улицах вечерних  
в кругу зажженных фонарей  
и вспыхивающих влечений...

Тепла и света не хватало нам,  
скитались по заброшенным, немилым  
квартирам, а точнее, по чердакам,  
и тень ее по стенам и стропилам  
металась, пригвождалась к потолкам!

Ее всегда приманивал огонь.  
Усталая, садится на ладонь,  
а я пасую, говорю: «Мне жаль,  
я виноват, но в эту ночь глухую  
ты адресом ошиблась, я не ждал,  
не звал и не любил, и не тоскую;  
я ничего тебе не обещал;

любил тебя и встречи ждал в подъезде,  
откуда еженощно гнали нас...  
И я готов принять твое возмездье,  
но только позже, позже, не сейчас,  
когда мы вместе!...»

## Повелитель мух

С повелителем мух завожу  
разговор, с Вельзевулом дружу,  
жду трамвая, лечу в синема,  
а когда возвращаюсь, схожу  
не на тех остановках с ума.

Люди, где вы?.. За окнами мгла.  
Пропась, словно собака, легла  
между нами, я ей говорю:  
«Злая, лай, лая-лай, лая-ла...»  
И китайскую пакость курю.

Нету сил в лучшем городе жить.  
А в глуши, стоит печь затопить,  
оживает мушиная рать,  
их бы всех по одной перебить,  
но они не хотят умирать.

Вельзевул вспоминает Восток:  
ночь, кофейню, отсутствие склок.  
«И еще, — говорит, — как живой  
и живее (от мух) потолок,  
но, представь, на столе ни одной!»

«Дрессировка превыше всего, —  
говорит, — так хотят большинство,  
выше нас дисциплина и дух!»  
Может, прав, коль послушно его  
воле — целое воинство мух?

Подавале: «Размажу, сотру  
в порошок!» — тот приносит «Сахру»  
и молчит, ретируясь к софе.  
Повелителю мух по нутру  
этот маленький Мук в галифе.

Вельзевул наливает вина.  
«Все равно, — говорит, — всем хана,  
пей!..» И зрит в законную мглу.  
И наколкою (мухою) на  
среднем пальце — бежит по столу.

Остаются — пустующий стул,  
хруст костей, нарастающий гул,  
рябь подземная, очи старух...  
И, зевая, глядит Вельзевул  
на других повелителей мух.

### *Птица певчая, птица ловчая*

Покидает нас птица певчая,  
вьется ловчая...  
Небо вечное  
рвется в клочья.

Не родня, пятерня помытчика,  
хватка алчная неотступна,  
отработана, как отмычка  
для небес, где ловитва крупная.

И пока в облаках гонима  
птица певчая, — в изголовье  
птица ловчая, нелюбимая  
вьет гнездовье.

Птица певчая бьется молча  
в темном небе, когтями стиснутом...  
Покидает. А птица ловчая  
льнет со свистом.

Йокко Иринати

## Алой тушью по черному шелку...

Из эротической поэмы

Перевод Натальи Богатовой, Ирины Ермаковой



\* \* \*

Розовой пятки  
коснулась волна  
и зашипела, вздымаясь...  
Сто один раз напишу  
знак ЛЮБОВЬ на воде

\* \* \*

Солнце  
зависло в зените,  
жадно набухли бутоны.  
Имя твое уста обжигает.  
Где-то играют на цитре.

\* \* \*

Полдня истома.  
Скрипнула в небе сосна.  
Быстро-быстро бежит муравей  
по ноге моей  
к нежной вершине.

\* \* \*

Ты поклонился мне  
в пестрой толпе  
изысканно,  
словно столбик  
китайских стихов.

\* \* \*

Кончиком пальца  
скользнуть по одежде твоей,  
разбросанной как попало...  
Но осторожно,  
чтобы ты не заметил.

\* \* \*

Изумрудная жаба —  
твой драгоценный подарок  
спит у меня на груди  
между маленьких  
двух Фудзиям.

\* \* \*

Складки одежд.  
Рисовая бумага  
дороже, если на ней проступает  
очертание любимого  
иероглифа.

\* \* \*

Голос,  
похожий на твой.  
Вот она, пропасть,  
в которую падает  
сердце...

*Наталья Владимировна Богатова* родилась в 1959 году в Москве. Окончила Литинститут им. А.М.Горького в 1993 году. В 1991 году вышла книга стихов «Полянья», в 1992-м издан сборник «Тигель» в кассете. Член Союза писателей с 1993 года.

*Ирина Александровна Ермакова* родилась в Керчи. Окончила Московский институт инженеров транспорта. Первая книга стихов «Провинция» издана в 1991 году. Вторая — «Виноградник» вышла в Москве в 1994 году.

\* \* \*

Ночь на исходе.  
Не оживает под пальцами флейта.  
Надо губами коснуться  
флейты твоей,  
любимый?

\* \* \*

Сова задела,  
душным крылом коснулась.  
Папоротник качнулся.  
Влажные твои рукава  
отодвину.

\* \* \*

Семь причин было  
отослать Еси домой.  
Но губы мои  
разве бледней  
лепестков жаркого барбариса?

\* \* \*

Важно лягушки вещают:  
Музыка приближается!  
Ты несешь мне  
открыто  
нетерпеливую флейту!

\* \* \*

Сам собой  
раскололся кувшин  
и светильник упал.  
Сегодня ты любишь меня,  
как морской разбойник!

\* \* \*

Перебью всю посуду,  
сломаю последний стебель,  
а еще напишу  
алой тушью  
по черному шелку...

\* \* \*

Умерло солнце.  
Душно кричат фиалки.  
Жалкое пламя страсти  
крыльями обжигает  
белая бабочка Йокко...

\* \* \*

Что за ночь!  
Не скрыться от лунного света —  
в щели бамбуковой шторы  
подглядывает за мной.  
Песни влюбленных котов.

\* \* \*

Утренняя звезда.  
Стук башмаков в переулке.  
Запах твоих рукавов  
спать не дает  
всю ночь.

\* \* \*

Слушали крик фазана.  
Любовались юной луной.  
Ласкали наперебой  
нежную флейту  
твою.

\* \* \*

Опять...  
Опять в полнолуние  
стираю одежды в ручье.  
Окрасились струи.  
О, бесполезная алость!

\* \* \*

Светильник погас.  
Снова уснул ты.  
Хотела быть  
зернышком риса,  
прилипшим к твоей губе...

\* \* \*

Когда ты увидел меня  
в толпе подруг,  
притворился  
каменным фонарем  
в храме Асукадера.

\* \* \*

Призвана томной луной  
в храме молилась  
всю ночь...  
О, благородная лава  
в розовом перламутре!

\* \* \*

В прозрачном речном рукаве  
форель резвится.  
Наверное, молодожены.  
Белье полоскать  
не стану.

\* \* \*

Над одинокой сосной  
розовые соски  
белого облака  
ветер ласкает.  
Ах, какая жара!

\* \* \*

В разных коконах —  
два червячка шелковичных.  
Солнце садится.  
Как им объединиться?  
Душистая тьма.

\* \* \*

Так мило играет солнце.  
Цикады стрекочут томно.  
Зачем было нужно  
одежды на мне  
рвать?

\* \* \*

Алость заката  
окрасила море  
и верхушки деревьев.  
Знаю, как горять им...  
Лоскут кимоно.

\* \* \*

Цикады на соснах,  
теплые тени тягучи.  
Поцелуев ленивых праздник...  
Ветер играет  
на флейте.

\* \* \*

Ледяная луна  
освещает ему дорогу  
мимо моих дверей!..  
Брошу под ноги сердце —  
пусть поскользнется!

\* \* \*

Запах цветущих хаги,  
песни пограничных стражей,  
слезы увядшей флейты.  
Что же такое  
ЛЮБОВЬ?..

### От редактора

Впервые, наверное, в России во времена пресловутого постмодерна, когда многих литераторов, особенно молодых, ну просто за уши не оттащишь от европейского (а ныне — и всемирного) баловня и кумира — верлибра и не излечишь от эпидемии прагматической любви ко всему англо-американскому... А тут — нате вам! — две вроде бы талантом не обделенные сочинительницы вдруг обратили свои, заголубевшие от романтической самоуверенности взоры в прямо противоположном всеобщей моде направлении — к далекой-далекой Фудзи и копошащимся где-то у ее подножия всяким там средневековым японцам с тамошним причудливым антуражем и даже слегка распушенными нравами... Ну, ладно бы — модный в Европе дзэн-буддизм помянули, так нет — их любовь-прелестница влечет.

Но должен со вздохом сознаться — и редактора эта самая, то томная, то пылкая, то аж разбойная страсть затянула в бездны свои — прочитав и пооттаявши от утомительного педантизма, сделал он этот сокращенный вариант книги: и вам, уважаемые, отгаять хоть немножко от скабрзностей нынешней жизни не мешает, честное слово.

Что же касается темноты и неразвитости японских средних веков, так тут, уверяю вас — гордыня ваша не к месту: хоть мы с вами и на пороге уже XXI века, а темноты и неразвитости в нас (в достижениями всяческими расpiraемом XX веке) как бы не больше было, особенно злодеяний — один Освенцим чего стоит! И они убивали, и они подличали и злодействовали — да, перед нашими-то масштабами и размахами (ГУЛАГом, скажем) они просто дети малые.

И еще о темноте и неразвитости: авторы наши — как бы *переводчицы некоей поэтессы* — одного из сотен поэтов вполне реальной, знаменитой антологии средневековья «Манъесю» — «Собрания мириад листьев» — великого памятника эпохи расцвета японской поэзии.

Танка (пястишие) под руками русских мастериц оказывается способна рядом с трепетным вниманием к подробностям жизни природы (характерным для японского мировосприятия) вдруг опалить нас русским безудержем страсти («Брошу под ноги сердце — пусть поскользнется!»). В книге — вне нашего варианта — есть и редкие вспышки грубовато нигилистического оттенка (прорывы постмодернистического сознания), но все «безудержи» и «прорывы» гармонизирует, сглаживает созерцательная японская основа. Лишь изредка слышится мне еще и тающий вздох батюшковского лиризма...

Словом, перед вами вариант вполне русской книги эпохи постмодерна, как ни странно — без порнухи и чернухи, — книги светлой, чуть лукавой и жизнеутверждающей (только не по соцреалистическим канонам!), с чем я вас и поздравляю.

Валерий Алтухов

## Катастрофы — не неизбежны

*О смене мировых порядков и перспективах общественного развития*



*Мало-мальски знакомый даже с недавней историей, да и просто сколько-нибудь наблюдательный человек не может не видеть, что общая картина мира меняется, что характер развития общества в разных его частях — разный, и не задаваться множеством вопросов: почему раньше некий исторический поворот был невозможен, а теперь стал типичен, почему Запад решает сходные проблемы так, Восток эдак, а мы и вовсе по-иному?.. Разумеется, далеко не все,*

*размышляя о конкретных проблемах, пользуются философским «инструментарием» — для не владеющих им профессионально он слишком сложен. Но если все же дать себе нелегкий труд прислушаться к теоретическим концепциям философов, многое из того, что происходит вокруг, перестает казаться необъяснимым и укладывается в систему, помогающую и непрофессионалу ориентироваться в событиях.*

Зажатое в тисках региональных и общепланетарного кризисов, постоянно испытывая угрозу усиления старых и возникновения новых конфликтов, претерпевая последствия ослабления одних (Запад — Восток) и усиления других (Север — Юг, новые центры силы) линий противостояния в целостном взаимосвязанном мире, человечество тем не менее продвигается к новому качественному состоянию, называемому новым порядком, или новой цивилизацией. При этом постепенно изменяются алгоритмы его развития, нарождаются новые явления, которые все труднее объяснять, базируясь на традиционных подходах к обществу.

Мы попытаемся популярно обрисовать два альтернативных мировых порядка — *катастрофический* и *эволюционно-волновой* — и переход от первого ко второму. При этом следует оговориться, что упомянутые термины достаточно условны, поскольку характеризуют лишь определенный общественный «срез», вообще-то процесс такого перехода, безусловно, многомерен и осуществляется по различным параметрам. Однако более точных и емких терминов пока изобрести не удается.

### **Колебательность — фундаментальная черта общественного развития**

Любое общественное явление, любой общественный организм испытывает в своем развитии разнообразные колебания, то есть отклонения (малосущественные или существенные) от идеализированного и нередко линейно представляемого движения: от низшего к высшему, от простого к сложному, от несовершенного к совершенному — это прогресс, в обратном направлении — регресс. Колебательность свойственна как хаотическим, так и упорядоченным изменениям — среди последних выделяются устойчивые фигуры: цикл, волна, спираль, зигзаг, маятниковая пульсация и более сложные — петли, наложенные друг на друга волны, вложенные одна в одну спирали и тому подобное.

В поле зрения традиционной науки лишь эпизодически попадали некоторые из этих форм (чаще всего цикл и спираль), и, уж конечно, колебания не рассматривались в качестве такой же существенной характеристики развития, как, скажем, направлен-

ность, необратимость или прерывность-непрерывность, хотя колебательность находится в том же ряду. Объясняется это, по-видимому, тем, что предметом обществознания до сих пор выступал главным образом один порядок развития — катастрофический. А в нем выделить упорядоченные фигуры колебаний гораздо труднее. Скажем, такое базовое колебание, как социальная волна, здесь деформируется или разрушается, причем на самых ответственных участках развития. Напротив, в эволюционно-волновых процессах это колебание обретает заметную устойчивость и, естественно, начинает привлекать к себе внимание исследователей. Представления о повторяющихся циклах, определяющих жизнь общества и людей, мы находим уже в донаучных эпохах. В более поздние исторические времена на этом понятии, но уже на более строгой основе, строятся различные экономические теории. Подобное исследование экономических циклов и волн ведется почти два века, однако систематически эти процессы начали анализироваться примерно с 20—30-х годов нашего столетия.

Пионерскую роль здесь сыграли работы Н.Кондратьева и его известная теория длинных волн в экономическом развитии. В дальнейшем изучение этой проблемы выходит за пределы одноволновой схемы и вырабатываются представления о многокомпонентном процессе, в котором одновременно участвуют разнородные волновые движения, каждое со своим периодом и механизмом колебаний.

В изучении циклов социальной истории заметную роль сыграли работы Питирима Сорокина, который развивал идею о циклической смене трех фундаментальных культур в истории человечества: религиозной, материалистической и промежуточной. Первая, по его убеждению, зиждется на представлении о Боге как всепроникающей реальности, определяющей человеческое бытие (эта культура особенно ярко и полно воплотилась в средневековье). Вторая, материалистическая культура основана на противоположном принципе, она признает объективной реальностью лишь то, что воспринимается органами чувств. Третья, промежуточная, совмещает черты той и другой. Каждая культура в своем развитии переживает определенные стадии: кризис — крушение — очищение — переоценка ценностей — возрождение. Эти стадии образуют большие исторические циклы. Если принять точку зрения П.Сорокина, то в современном мире заметен процесс вытеснения материалистической культуры религиозной.

Механизм политических циклов анализируется и в книге видного американского историка Артура М.Шлезингера-младшего «Циклы американской истории». В последние годы интерес к изучению волновой динамики социальных структур заметно усилился. При этом обнаружилось, что колебаниям подвержены не только социальные явления, но и более «тонкие материи» — тенденции, детерминации, внутренние устойчивые отношения типа базиса и надстройки, субъективного и объективного факторов, экономики и политики, централизма и демократизма и так далее.

Это — сфера собственно сущностных колебаний системы. Без их изучения невозможно раскрыть никакие другие типы и формы колебаний в обществе.

На наш взгляд, есть основания считать колебательность фундаментальной чертой общественного развития.

## *Пространство и время*

Но суть колебательности может быть понята лишь в том случае, если рассматривается в единстве с пространством и временем.

Известно, что раскрытие этих единств применительно к физическому миру составило целую эпоху в развитии науки и мировоззрения и стало одним из плодотворных принципов неклассического естествознания XX столетия. Полагаю, что не меньшее значение для науки об обществе имеет решение аналогичной задачи в социальном аспекте. Здесь обществознание пока существенно отстает от естествознания. В обществоведческих исследованиях, где преобладают линейные, а не колебательные представления о развитии, допускается рассмотрение процессов вне их органической связи с пространством и временем, с одной стороны, а с другой — и сами пространство и время довольно часто рассматриваются разобщенно. Скажем, в исторических исследованиях гораздо больше внимания уделяется проблемам исторического времени, хронологическим рядам, между тем как историческое пространство остается одной из наименее исследованных категорий этой науки. Но при таком подходе невозможно достаточно полно раскрыть ту же природу исторического времени и исторические закономерности.

В классических представлениях диалектика общественного развития выступает в огрубленном и упрощенном виде: скачки, отрицание отрицания, «закручивание» спира-

ли и другие процессы «помещаются» в неколебательную, своего рода «плоско-евклидову» среду, где их реальные траектории уплощаются, а нередко к тому же и выпрямляются, а живая пульсация заменяется абстрактной длительностью. Но ведь в таком случае упрощается и вся процедура применения математических и общенаучных методов к изучению общественных, прежде всего экономических, процессов. Думается, что проявляющаяся время от времени в научной литературе известная неудовлетворенность результатами применения математических методов для решения практических экономических задач в большой степени объясняется именно этим обстоятельством.

Если же мы помещаем предмет исследования в систему колебательной динамики, то она как раз и позволяет нам найти искомое единство пространства, времени и развития в социуме.

Прежде всего ритм — сердце любого процесса — есть сугубо временное выражение колебательности. Пространственно-временной рисунок колебательности выражается различными устойчивыми историческими фигурами (уже упомянутые волна, цикл, спираль и другие). По сути дела эти фигуры есть «растянутые» в пространстве и времени подвижные структуры развития, имеющие собственные ритм, темп и организацию, то есть порядок сосуществования, координации и субординации своих «частей». Колебательность можно рассматривать и как естественный «фон», влияющий на протекание любых общественных процессов. Между тем «фоновые» колебания по существу не учитываются в исследованиях общественных процессов.

## **Катастрофизм**

В результате обострения внутренних противоречий эволюционное изменение системы на определенной стадии прерывается разрушительной трансформацией (отсюда название — катастрофизм). Старая система разрушается, уничтожается — достаточно быстро или в «растянутом» режиме, — а на ее месте формируется качественно новая, сохраняющая, однако, отдельные элементы прежней системы. Таков в самых общих чертах механизм развития, вытекающий из основных законов диалектики. Однако изменения, происходящие в современном мире, заставляют усомниться в универсальности подобного механизма и наталкивают на мысль, что он свойствен лишь определенному мировому порядку развития.

Для пространственной фигуры катастрофизма характерна выраженная асимметрия в отношениях опорных, системообразующих сторон общественного организма: господствующее положение экономического базиса по отношению к идеологической и политической надстройке, одного класса — к другому, стихийных рыночных связей — к сознательному регулированию экономических процессов, государства — к гражданскому обществу, общества — к личности и так далее. Этот порядок может быть и перевернутым, когда господствующей становится прежде подчиненная сторона, но при этом он остается тем же катастрофическим по существу, ибо и в том, и в другом случае ограничивается и подавляется активная жизнедеятельность одних опорных сторон системы по сравнению с другими, что является самым глубоким источником конфликтов, разрешающихся катастрофами революций, гражданских и мировых войн.

Для исторического развития характерны резкие маятниковые колебания: например, сплочение общественных сил сменяется расколами между ними, а расколы — новым единством. Некоторые авторы усматривают в этом чуть ли не родовую черту России, ее истории. На самом же деле это вообще характерная черта катастрофического развития, естественно, по-разному проявляющаяся в неодинаковых исторических условиях. При этом, конечно, особенности национального характера и менталитета играют очень важную роль. Известная формула Мао Цзэдуна «сплочение — борьба — сплочение...» выражает суть именно катастрофического ритма развития.

Особенно сильные трагические потрясения общество испытывает при смене доминирующих факторов эволюции. Так было при переходе от капитализма к социализму, начало которому положила Октябрьская революция и который — после попыток смягчить его энзовскими методами — вернулся обратно в катастрофическую колею. Начатые преобразования обрели такую мощь и всеокрушающую силу, что буквально перевернули традиционные базовые структуры общества: свободный рынок уступил место предельно централизованному государственному регулированию; политика превратилась в командную силу, жестко контролирующую экономику и другие сферы общества; коллективное начало подавило индивидуальное; государственная общественная собственность вытеснила частную...

Но являются ли подобные преобразования характерным признаком только неудавшегося социалистического эксперимента? Конечно, нет.

Не случайно в последнее время некоторые исследователи пытаются значительно расширить рамки капитализма и социализма, отыскивая их существенные черты даже в эпохах древних цивилизаций. Конечно, подобный подход вряд ли выдерживает тест на строгий историзм: капитализм и социализм — все же продукты вполне определенных экономических эпох. Но в то же время они несут в себе и общие признаки двух основных вариантов катастрофизма, отличающихся именно тем, какие базовые стороны системы, какие общественные силы занимают господствующее положение, диктуют обществу определенную логику развития.

Катастрофический характер с самого начала приняли и наши реформы. По существу, правильной говорить о постперестроечной революции, ибо «ядром» реформ оказался очередной («обратный») переворот в базовых структурах. Отсюда — бросок из одной крайности в другую, в основном преодоленную уже современной историей, — к состоянию дикого, хищнического капитализма, попирающего те самые общечеловеческие ценности, под флагом которых начиналась перестройка и утверждало себя новое политическое мышление.

Особенно впечатляющим катастрофическим аспектом реформ стало разрушение аппарата государственного управления, которое не сопровождалось формированием более гибкой, отвечающей современным требованиям системы экономического регулирования. Тем более что совершилось оно до предполагаемой приватизации предприятий. Тем самым в основу реформ была заложена «бомба», которая не замедлила взорваться стремительным, принявшим уже катастрофический характер ростом неплатежей (насмешка над рынком!), обвальным, по-видимому, не имеющим прецедента в современной экономической истории спадом производства и таким же стремительным (превысившим уже мировые отметки) социальным расслоением общества. Оказались разорванными жизненно важные хозяйственные связи. В ткани экономических отношений возникли и другие опасные разрывы: например, между краткосрочными и перспективными целями, между фундаментальными и текущими задачами.

Пишущий эти строки — отнюдь не сторонник административных методов управления. Эта система, ставшая громоздкой и малоподвижной, действительно в значительной мере утратила свой потенциал и оказалась малоэффективной. Однако преобразование системы, которая десятилетиями укоренялась в обществе и обросла многочисленными связями, и само должно быть системным.

Основная опасность при разрушении подобных систем заключается в том, что на их месте необходимо построить новую схему управления, а это требует определенного времени, и оказывается, что в какой-то период исчезает вообще какая бы то ни было дееспособная система, выполняющая соответствующие функции. Для создания системы управления хозяйством таких масштабов, сложности и инерционности, как российское, требуется особо длительный период. И отнюдь не случайно, что у нас до сих пор нет адекватного органа, способного с учетом современных требований оперативно решать неотложные хозяйственные задачи. В потере управления экономикой и ходом реформ и заключается, по всей видимости, главная причина того глубокого кризиса, который поразил нашу экономику, государственность и все общество.

## **Эволюционно-волновой порядок**

Это более зрелый и, можно сказать, более цивилизованный способ развития, при котором сводятся к минимуму разрушительные разрывы в ткани общественных отношений и традиций; предотвращаются броски из одной крайности в другую и, соответственно, социальные взрывы, ведущие к разрушению системы. При эволюционно-волновом развитии перестройка в структурах, определяющих строй общественной жизни, происходит в иных формах. Катастрофические асимметрия, пульсация и социальная аритмия снимаются более сложными пространственно-временными фигурами.

Подобные перемены уже попадают в поле зрения некоторых исследователей, хотя еще не всегда адекватно раскрываются. Например, попытки переосмыслить известный философский тезис «бытие определяет сознание» приводят и к такому выводу: «Бытие определяет сознание и само, в свою очередь, определяется им». Говорят о паритете между факторами, которые раньше находились в состоянии «асимметрии»: производственно-экономический механизм, политические отношения, культурная деятельность, религиозная жизнь... Но подобный ход мысли приводит к тому же логическому порочному

кругу, в какой попадали домарксовы социологи, представлявшие соотношение этих факторов так, словно один из них определяет другой и сам, в свою очередь, определяется им. Круг становится заколдованным оттого, что сами общественные явления рассматриваются в «плоско-эвклидовом» пространстве и времени, где их колебательную природу раскрыть невозможно.

В реальной жизни, конечно же, всегда существует «разность потенциалов», возникают и развиваются противоречия и конфликты между производительными силами и производственными отношениями, между интересами различных общественных групп, между общественным бытием и общественным сознанием. И все же картина мира неуповимо меняется. Мы видим, что в зонах, вовлеченных в новый порядок развития, противоречия, конфликты и кризисы не достигают катастрофической остроты, их разрешение не принимает формы социальных взрывов и революционного разрушения, стихия рынка смягчается и дополняется целенаправленным экономическим регулированием; рынок соединяется со стратегическим планированием, включающим концепции развития национальной экономики в краткосрочной и долгосрочной перспективах; частная собственность сочетается с государственной, кооперативной и другими формами, и развивается смешанная экономика; фантастическая активность свободного эгоистического капитала отчасти направляется на реализацию обширных социальных программ и экологическое оздоровление общества; на различных уровнях производственного процесса усиливается общественный контроль со стороны самих производителей; наконец, противоборство различных общественных сил, партий, движений, приобретая достаточно острый, конфликтный характер, тем не менее благодаря развитым демократическим механизмам всевозможных экономических, политических и правовых балансов и принятым нормам политической «игры» не ведет не только к уничтожению или подавлению одного из участников, но даже и к заметному ущемлению его прав и возможностей активного участия в политической жизни в ранге оппозиции.

В этом просматриваются основы такого механизма развития, который, можно сказать без преувеличения, имеет колоссальное значение для будущего человечества. Этот механизм накладывает все более значительные ограничения на катастрофические тенденции.

При катастрофической схеме то или иное явление может беспрепятственно развиваться до крайних пределов, где его природа извращается настолько, что переходит в собственную противоположность. История уже неоднократно показывала, как методы централизованного управления оборачиваются жестким диктатом, авторитаризмом, тоталитаризмом и деспотией в экономической, политической, а нередко и в духовной жизни; свобода — вседозволенностью и анархией, демократия — своеволием, коллективизм — «обезличкой», тиранией большинства...

Индивидуализм и коллективизм — две ипостаси, вертикаль и горизонталь человеческого духа. Вертикаль — путь раскрытия потенциала человеческой индивидуальности, путь к личному выбору и самоутверждению, характеризуемый устремленностью к личной свободе и независимости. Горизонталь — путь сочетания индивидуальных интересов и общественных, формирование чувства солидарности и взаимопомощи, социальной справедливости, коллективистской морали. Вся история человечества как бы ориентирована по осям индивидуализма и коллективизма. Однако за многие столетия катастрофического развития в этой системе координат сформировались негативные и просто отталкивающие качества (крайний индивидуализм и псевдоколлективизм), наложившие отпечаток на природу самых различных обществ. Вертикаль и горизонталь следует рассматривать скорее как крест, на котором человечество оказалось распятым, став заложником имманентных законов катастрофизма.

Поэтому, к стати говоря, необходимо с известной осторожностью относиться к ныне нередко звучащим призывам соединять и взаимно дополнять факторы, которые традиционно разводились и противопоставлялись друг другу — идеологии, общественные технологии и прочее. Как, например, отнестись к такому утверждению: «Демократия в одних сферах может и должна сочетаться с авторитаризмом и даже жестким диктатом в других»?<sup>1</sup> Ведь даже если удастся реализовать подобный неестественный гибрид, можно с уверенностью сказать, что он окажется недолговечным ввиду непримиримости внутренних противоречий. Все дело в том, что эти и подобные им противоположности исторически формировались в рамках катастрофического способа развития и накопили

<sup>1</sup> «Вопросы философии», 1994, № 1, с. 22.

наряду с ценным позитивным содержанием груз крайних тенденций (в них, собственно, и выражается дух катастрофизма), а поэтому стали трудно совместимыми.

Но эволюционно-колебательный механизм показывает, что в современных условиях можно добиваться сочетания противоположного через одну из новых фигур пространственно-временного развития. Присмотримся к этому механизму внимательней.

На начальных стадиях очередного цикла мы не увидим заметных отличий от катастрофического пути. Так же вызревают противоречия и конфликты в базовых структурах, так же начинает доминировать в экономике, политике, в духовных сферах то или иное направление, тот или иной комплекс идей, обретающий статус «влиятельного умонастроения». Однако чем дальше, тем больше обнаруживается отличие от катастрофического способа развития.

Для катастрофизма характерно усугубление конфликтов вплоть до их «преодоления» одной из противоборствующих сторон и установления бесконтрольной власти другой. В современных развитых демократических странах просматривается иной порядок: доминирование одного направления, одного политического курса и связанных с ним общественных сил, как правило, продолжается лишь до тех пор, пока оно отвечает реальным историческим потребностям широких слоев общества. По мере же того как нарастают издержки его деятельности, накапливается груз неразрешенных проблем и получают развитие крайние тенденции (централизма, авторитаризма или демократизма, экономической свободы или социально-политического равенства, стихийного рыночного или государственного экономического регулирования и т.д.), начинает благодаря упомянутым противовесам действовать потенциал конкурирующих идей и политических движений. Активизируя свою деятельность, эти силы ограничивают возможность движения по старому пути. Происходит обновление или смена правительств, смена политического курса, реформируются институты власти, расширяются или сужаются сферы государственного управления, приватизации собственности, усиливается или, наоборот, ослабляется централизация капитала в различных отраслях хозяйства.

Но все это осуществляется без раскола общества на непримиримые классы, без тотального разрушения налаженных систем управления, без свержения органов власти и без иных проявлений катастрофизма — то есть без всего того, что красной нитью проходит, по существу, через всю прошлую человеческую историю, составляя ее доселе неизменное качество — катастрофизм. Это становится возможным потому, что политические силы, находящиеся у власти, не располагают средствами закрепить свое господство в обществе безраздельно, вывести его из-под контроля демократических институтов. А коли так, для преодоления кризиса не требуется больше силовых, разрушительных мер.

Подобное преодоление кризисных ситуаций представляет собой типичные волновые циклы: чередуются различные направления в политике, в экономике, в других сферах, включая стратегические, общественная роль и влияние одних сил возрастает на определенном этапе (подъем волны), на другом — ослабляется (спад волны); набирают силу новые идеологии и политические движения — начинается подъем очередной волны и так далее. Эти процессы и составляют основное содержание эволюционно-волнового развития.

Прежде всего оно проявилось в экономике развитых стран. В XIX и начале XX веков она характеризовалась сравнительно строгой периодичностью кризисов, которые отличались большой глубиной, разрушительной силой и продолжительностью. К.Маркс видел в них взрыв всех противоречий капитализма. Кризисы служили вехами, отмечавшими начало и конец каждого экономического цикла. Но уже после Великой депрессии 30-х годов благодаря активным мерам антикризисного регулирования со стороны государства (известная доктрина Кейнса) и дальнейшему их совершенствованию (по формуле: невмешательство — вмешательство — осторожность) характер циклов начинает существенно меняться. В 70-е годы эти изменения были отмечены и в отечественной литературе. Ю.Покатаев, Я.Певзнер, В.Шеянов обращали внимание на то, что экономические кризисы как конституирующая фаза цикла утратили свое значение; появились циклы либо с редким присутствием кризисов, либо без таковых. В тех же случаях, когда кризисы все же происходят, они уже не носят взрывного характера в области общественных отношений, а поддаются государственному регулированию, все шире включающему и различные межгосударственные соглашения. Резкие сбои нормальной деловой жизни, конвульсивное движение производства с откатыванием назад по многим параметрам хозяйствования сменились волнообразным циклическим движением, при котором напряжение и острота противоречий достигают максимальных значений в

точках наибольшего спада и подъема волны. Подобную тенденцию предвосхитил еще в 30-х годах известный западный экономист Й. Шумпетер: «Волна сменяет кризис в роли главного героя пьесы».

В политической сфере, в международных отношениях новый механизм тоже прокладывает себе путь, хотя здесь процессы отличаются большей сложностью и противоречивостью. Разумеется, какой-то резкой грани, отделяющей период катастрофизма от альтернативного миропорядка, не существует. Катастрофизм по-прежнему дает о себе знать — особенно опасны такие его проявления, как антиэкологизм и военные конфликты. Сильно его влияние в зонах традиционных разломов мирового сообщества: Восток — Запад, Север — Юг, христианские — мусульманские анклавы. И все же те способы разрешения конфликтов, которые практикуются в странах, продвинувшихся к новому миропорядку, показывают их заметное преимущество перед катастрофическими средствами и процедурами — такими, например, которые еще недавно применялись в России для разгона законодательной власти и удержания курса зашедших в тупик реформ.

В центре больших волновых циклов в последние десятилетия находятся, по-видимому, наиболее крупные направления современного мирового процесса, называемые капитализацией и социализацией. Они втягивают в свои орбиты разнообразие экономические механизмы и формы политической деятельности.

«Социализация капитализма» (Дж.К. Гэлбрейт) позволила, как сегодня открыто признают многие авторитетные политики и ученые Запада, осуществить неразрушительную трансформацию западных обществ в новое качественное состояние, обозначаемое такими терминами, как «новое индустриальное общество», «постиндустриальное государство», «социальное государство», «государство всеобщего благосостояния». Их характерные признаки — централизованное в известной мере регулирование производства, общественный контроль над экономическими процессами, осуществление широких социальных программ с целью уменьшения социального неравенства. Однако и это новое социально-экономическое направление подвержено постоянным колебаниям, обнаруживающим определенную закономерность. После Великой депрессии мировая волна социализации переживала и подъемы и упадок. Спад был главным образом связан с усилением вмешательства государства в экономические процессы. Издержки социализации выразились в падении конкурентоспособности производств, уменьшении доли средств, выделяемых на их реконструкцию; соответственно, снижалась производительность труда, а в результате сужались возможности осуществления крупномасштабных социальных программ.

Неумолимые экономические требования вызывали к жизни политику, которая должна была практически решить вопрос, как «остановить тенденцию» и усилить роль механизмов экономической свободы, приватизации собственности, осуществить широкую либерализацию экономики. Начался подъем новой волны, которая, впрочем, не отрицала основных результатов социализации, а лишь ограничивала возможности ее продолжения в прежних формах. Современная мировая экономика, хотя и неравномерно, с большими различиями в различных странах, по-видимому, вступила в этот очередной цикл своего развития.

В современной жизни мирового сообщества важное место занимают циклы попеременного спада и подъема либеральной и консервативной волн. Усложняя рисунок этих циклов, в них вплетается и социалистическая волна. Недаром стали появляться такие термины, как «либерал-социализм», «социал-либерализм». В смене либерального и консервативного циклов обнаруживаются такие черты эволюционно-волнового развития, которые, возможно, в более широких масштабах установятся в будущем. Прежде всего это то, чего сегодня явно не хватает социалистической мысли: гибкость, способность быстро извлекать уроки из поражения или отступления, завладеть инициативой, жертвуя ради этого, если нужно, ортодоксальными трактовками своих принципов, умение переиграть противника на его собственном поле, где он менее всего ожидает «вторжения», перехватив и переформулировав его же собственные идеи. Эти в высшей степени диалектические, «игровые» приемы превращают либерализм в неолиберализм, консерватизм — в неоконсерватизм. Ведь неоконсерватизм так и определяют: «Направление... возникшее в процессе пересмотра идей и ценностей либерализма и консерватизма и фактически представляющее их новый синтез»<sup>1</sup>. Думаю, сходная

<sup>1</sup> Современная западная социология. Словарь. М., 1990, с. 213.

задача стоит сегодня и перед социалистической мыслью: через внутренние перестройки, поиск новых идей в острой полемике с альтернативными течениями, через, возможно, немислимый пока синтез с ними достичь стадии неосоциализма.

Сказанное, с нашей точки зрения, доказывает, во-первых, что никакой стагнации развития при переходе от катастрофизма к эволюционно-волновому порядку не происходит. Во-вторых, что высказывания о возможности конструирования интегративной идеологии, которая бы включила в себя некоторые самостоятельные идеологии в качестве «органичных частей», недостаточно учитывают как природу идеологии, так и характер идеологических и политических циклов. Любая подобная конструкция оказалась бы на деле искусственной плотиной на пути потока живой мысли и неминуемо была бы им разрушена. Правильней вести речь о минимизации катастрофических элементов в отношениях различных идеологий, об усилении роли общечеловеческих ценностей в их содержании. Но при этом следует помнить, что даже при «всечеловечности» этих ценностей смысл их в какой-то степени варьируется в разных идеологиях, ибо они неизбежно несут на себе печать интересов, которые те выражают.

### Смешанное общество

Марксизм линейно выделил типичные стадии катастрофического развития — общественно-экономические формации. В рамках нового мирового порядка *катастрофическая их смена перестает быть неизбежной*. Процесс приобретает качественно более сложную самоорганизующуюся форму: капитализация и социализация становятся в нем центрами самостоятельных циклов, сменяющих и в целом дополняющих друг друга.

Эти циклы не есть монотонные колебания в миропространственной плоскости. Они не просто сменяют друг друга, они приводят к рождению новых качеств. Серьезные качественные перемены социально-экономического строя уже произошли и в последнее время оживленно обсуждаются. Эти изменения выражаются в происходящем буквально на наших глазах размывании классических смыслов таких опорных категорий капитализма, как частная собственность, эксплуатация, прибавочная стоимость, владение и другие. Размываются старые антагонизмы капитализации и социализации, изменяются амплитуда и ритмы их «раскачиваний». Еще остается надежда, что Россия после резких катастрофических колебаний (социализм — капитализм) сумеет войти в некатастрофическую мировую динамику.

Суммарным итогом этих процессов можно считать переход от смешанной экономики к новому типу смешанности — социальной, то есть к смешанному обществу. Отличительная его особенность заключается в сочетаниях (некоторые из них только «завязываются») традиционно несочетаемого. Это не только различные формы собственности, не только рынок и стратегическое планирование, экономическая свобода и элементы социально-политического равенства, не только быстрый рост среднего класса, в котором перемешиваются различные социальные слои. Это и докапиталистические в целом формы и стили жизни, которые начинают служить новым технологиям и получают как бы вторую жизнь. В этом смысле, конечно, показателен быстрый экономический рост «драконов» Юго-Восточной Азии.

Смешанное общество, разумеется, не разрешает основных противоречий и не достигает гармоничного (бесконфликтного) объединения различных интересов, идеологий и методов управления. Вслед за подобным единством, если бы оно оказалось достигнутым, последовал бы не менее впечатляющий раскол, то есть повторился бы цикл катастрофического развития. Смешанное общество — неравновесное, высококонкурентное, в нем идет жесткое соревнование различных политических курсов, идеологий и отнюдь не снимаются противоречия между экономической свободой и социально-политическим равенством, рынком и планированием, коллективным и индивидуальным, демократизмом и централизмом. Но в этих и других областях просматриваются возможности широких компромиссов. Эволюционно-волновые механизмы, исключая катастрофические исходы соревнования и борьбы, придают развитию смешанного общества более сложный по сравнению с классическим пространственно-временной рисунок, опирающийся на действие общественных законов.

В марксизме историко-материалистическое понимание этих законов зиждилось на определяющей роли экономического базиса по отношению к политической надстройке и других проявлениях типичной асимметрии. В эволюционно-волновом миропорядке

такая пространственно-временная фигура начинает вытесняться более сложным социальным колебанием. Ранее выделявшееся первичное и вторичное, определяющее и определяемое, господствующее и подчиненное оказываются относительными в сменяющихся друг друга волновых циклах развития. Старые законы смены формаций перестают работать — и этого нельзя уже сейчас не видеть в современном мире. Из-за этого порой создается впечатление, что развитие общества вообще не подчиняется никаким законам. Но это не так. Просто сейчас, на рубеже тысячелетий, формационная спираль преобразовывается в спираль более сложного вида. Привычные формационные ступени здесь не преодолеваются разрушительными скачками, а «снимаются», становятся перетекающими одна в другую фазами развития смешанных обществ, подчиняясь иному историческому ритму. Эти новые типы социальных колебаний получили в западной литературе еще в 60—70-е годы своеобразную интерпретацию конца истории и начала постистории (А.Гелен, Г.Шельски, Ю.Хабермас, Д.Бергнер, а в последние годы — Ф.Фукуяма). Действительно, в определенном смысле можно констатировать завершение истории, но лишь истории конкретного порядка общественного развития. На смену ему приходит история смешанных обществ. По отношению к истории, характеризовавшейся катастрофическим развитием, она может действительно быть названа постисторией.

### Заключение

Новый мировой порядок как форма развития отнюдь не нов; он, по-видимому, столь же стар, как и катастрофизм. Это два альтернативных способа развития в истории человечества, но до сих пор в ней преобладал катастрофизм, на базе которого и построено подавляющее большинство теорий общества. Однако в истории различных народов и цивилизаций были периоды, когда пресс катастрофизма ослабевал и более ощутимым становилось влияние его альтернативы, которая особенно впечатляюще воплотилась (конечно, в не характерных для современности формах) в некоторых древних цивилизациях Востока (Китай, Япония, Индия).

Эволюционно-волновая динамика характерна не только для развития общества. Существует много иных сфер, определяемых такой же динамикой. О волнообразных формах активности живого, например, писал Р.Берп, назвав такое явление насыщенной волной активности. Но, в сущности, мы еще очень мало знаем о природе подобных явлений. Не выработаны четкие критерии разграничения катастрофических и некатастрофических процессов. Очень часто катастрофизм абсолютизируется и рассматривается как единственно возможный способ развития общества и природы или как завершающая стадия любого процесса. Между тем *катастрофизм — не всеобщая, а наиболее простая и «грубая» форма развития*. В определенных условиях он действительно прерывает волновое движение, однако в других ситуациях этого не происходит либо (что, очевидно, бывает чаще) такой разрыв перекрывается другой волной или более сложной фигурой.

Разработка новых подходов к изучению колебательной динамики мирового развития обещает значительное расширение наших представлений и создание новой, современной картины мира.

Юрий Каграманов

## Если завтра война



Non indignari, sed intellegere<sup>1</sup>

Конечно, я не оттого потревожил строку из песни, что сегодня надо быть готовым к какому-то новому походу. Слава Богу, оком пока чист; ни одного облака пыли, поднятого копытом вражеского коня, нигде не видно. (Кстати говоря, посреди нынешних неустойчивостей мы зачастую как-то забываем о том, какая гора свалилась с плеч после окончания «холодной войны»: практически отпала угроза ядерного уничтожения, постоянно напоминая о себе в «благополучные» годы «застоя».) Посчитаем, что предлагаемая статья — футурологическая. В будущем ведь какие-то войны не только возможны — увы, они почти неизбежны; что-то я не припомню ни одного серьезного аналитика, который утверждал бы обратное.

Проблема, таким образом, отодвинута в неопределенное будущее, что, однако, не дает оснований числить ее по разряду академических. Тень «завтрашних спящих войн» (М.Цветаева), очень не похожих на все предыдущие войны, обязывает нас выработать какую-то новую философию войны и военного дела или хотя бы заложить в ее основание первые камни. Такая философия, естественно, не может быть делом сугубо «отраслевым», напротив, она не может не быть интимным образом связанной со всею структурой меняющейся на глазах культуры (не только в оценочном, но и в антропологическом смысле этого понятия).

### «Самое гадкое дело в жизни»

Государство, в котором мы жили, было самым милитаризованным государством в мире (кажется, еще немного, и оно рухнуло бы под тяжестью собственных доспехов), и в то же время оно очень любило делать постное лицо «на людях», коль скоро речь заходила о бесчеловечности войны как таковой, о сопутствующих ей ужасах и т.д. В подобных случаях охотно цитировали Л.Толстого, назвавшего войну «самым гадким делом в жизни», и других известных писателей или философов, когда-либо что-либо сказавших в этом роде. Настойчиво и патетически призывали к миру, сопровождая свои призывы наигранно гневными инвективами в адрес «поджигателей войны». Нельзя сказать, что присутствующий во всем этом элемент лицемерия отличал одну только нашу советскую державу (еще у Достоевского Парадоксалист утверждал, что и у нас, и в Европе об ужасах войны говорят только для приличия), но, наверное, нигде он не был таким неуклюже выпирающим.

Будем откровенны хоть сейчас: всю историю человечества пронизывает любовь к войне, тайная или явная. Конечно же, наряду со страхом, с отвращением к ней.

Недаром фигуру воина всегда окружала некоторая поэтическая дымка. Даже в мирной армейской жизни есть своя эффектная, духоподъемная сторона. Ведь, как ни крути, редкой красоты зрелище — военный парад. И блеск мундира способен смутить не одни только нестойкие женские сердца. Правда, сейчас отношение к мундирам более сдержанное (да и вид они имеют все более цивилизный), но попробуйте оживить фигуры, скажем, офицеров и солдат 1812 года, со всеми их киверами и доломанами, — тут уже

<sup>1</sup> «Не возмущаться, но понимать» (латин.).

редкий человек останется равнодушен. А духовая военная музыка даже на очень далеких от армии людей зачастую производит более зажигательное действие, чем любая другая музыка. Своя эстетика — но и своя этика тоже: даже в наш поистине жестокий век что-то в ней еще сохранилось от рыцарских времен, ну хотя бы самая малость.

А уж когда настает «битвы сладкий час» (Пушкин), кто оспорит, что это тема, достойная самой высокой поэзии? Вспомним также, как описывает сей миг автор слов о войне как «самого гадкого дела в жизни». Откроем «Войну и мир» в том месте, где Николай Ростов впервые принимает участие в бою. Восторг юного гусара хорошо вписывается в общую атмосферу предвкушения боя, которую трудно назвать иначе как праздничной. При первых звуках выстрелов веселятся кони и люди, и вместе с автором мы находим, что это вполне естественно и правильно. А ведь дело происходит на Аустерлицком поле, где у русских, собственно, нет никакого особого резона проливать кровь. Но разве нужны тут какие-то особые резоны? Никто их и не ищет. (Ну, конечно, война имеет определенный политический смысл: государь намерен положить предел наглости Буонапарте и прочая, но для участников сражения все это остается где-то на втором плане.) Просто начинается всем понятная, древняя, жестокая, но по-своему прекрасная «игра», и долг «настоящего мужчины» не только принять в ней участие, но радоваться, что представилась такая возможность.

А дальше — льется кровь, ломаются кости, рвется на части человеческое тело. Каков, однако, «праздник»! Нигде больше нет такого контраста между поэзией и прозой, как на войне, нигде больше нет такого разрыва между предвкушением, затрагивающим вроде бы высокие душевные струны, и осуществлением, низводящим в состояние какого-то тяжелого угара. Впрочем, «тяжелый угар» — это уже скорее из нашего, современного лексикона. В рамках поэтики классицизма или романтизма (раз уж я начал с Пушкина) никакое членовредительство не в силах нарушить поэтический восторг:

В одно мгновенье бранный глуг  
Покрыт холмами тел кровавых,  
Живых, раздавленных, безглавых...

Это юный Руслан прошелся по рядам печенегов.

Читая поэму Пушкина, мы обычно не задумываемся о том, когда происходила эта волшебная история — до или после крещения Руси Владимиром. По всем признакам — до. Но могла бы и — после; тем более что в Руслане есть и черты христианского рыцаря. Это не значит, что в отношении к войне нет принципиальной межи, разделяющей христианство и язычество; такая межа есть, и она достаточно глубока. Христианство решительно осудило войну, как и вообще любое кровопролитие. Лишь в одном случае война может быть оправдана: когда она является меньшим злом. Если, к примеру, на мирное селение посягает враг, христианин не только может, но и обязан с оружием в руках защитить близких своих — следовательно, пролить кровь нападающего. Другое дело, что далеко не всегда существо вопроса оказывается таким ясным и простым, как в приведенном примере; сплошь и рядом мы встречаемся с запутанными ситуациями, когда определить, где, собственно, меньшее зло, а где большее, бывает весьма сложно. Паче того, мы знаем, что под знаком креста нередко велись войны заведомо несправедливые; в подобных случаях язычество просто рядилось в христианские одежды. И то сказать: христианство так высоко подняло «планку» духовности, нравственности, что дотянуться до нее оказалось ой как нелегко — тяжесть «мира сего» тянула книзу. Это и вообще, и применительно к военной области конкретно.

Поделив войны на справедливые и несправедливые, христианство не только *допустило* справедливые, но и *возвысило* их, открыв как бы второй их план — потусторонний. Ведя справедливую войну (когда она действительно является таковой), христианин становится «солдатом Бога», делая Его дело и потому ощущая Его духовное водительство. Из этого ощущения, между прочим, родилась рыцарская идея: рыцарство ведь не просто военная каста, но земной образ ангельского воинства, окружающего престол Господень.

Увы, даже освященная крестом война сохраняет двуличие: возбужденное ею духовно-подъемное начало легко уступает место языческому азарту «игры». Известно, что войны, особенно длительные войны, зачастую оказывают вредное воздействие на нравы, приучая людей к виду крови, отрывая их от мирного труда. Но известно и другое:

война может нравственно «подтянуть» общество, мобилизуя его духовно. Об этом писал, в частности, Владимир Соловьев: «При нравственном расстройстве внутри человечества внешние войны бывали и еще могут быть необходимы и полезны, как при глубоком физическом расстройстве бывают необходимы и полезны такие болезненные явления, как жар или рвота»<sup>1</sup>.

Не случайно, что Соловьев при всей своей нелюбви к войне сделал акцент все-таки на позитивной ее стороне: в его время героика войны выходила из моды. Обратившись к русской литературе первой половины XIX века, легко заметить, сколь популярна, скажем так, была в то время фигура военного, особенно офицера. А во второй половине века — кого видим (если не считать ретроспекций, как в «Войне и мире»)? Ну, Вронский. И тот — невоюющий офицер. В чеховских «Трех сестрах» тоже невоюющие офицеры (разве что однажды помогли пожар погасить). Вершинин даже впадает в некоторую меланхолию по поводу того, что военные оказываются «не при деле»: «Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегам, победами, теперь же все это отжило, оставив после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить...»

И дело даже не в том, что человечество перестало воевать — какие-то войны постоянно где-то велись (хотя «большие» войны на время стали редкостью), — а в том, что воинского духа стало меньше, чем прежде. Объяснить ли это прогрессом чувствительности (фактором безусловно позитивным) или чрезмерной изнеженностью, расслабленностью (фактором негативным)? Над этим вопросом можно было бы надолго задуматься, если бы не было еще и третьего объяснения: упадок воинского духа явился также — или даже прежде всего — следствием трансформации самого военного дела в результате применения различных технических новинок. Желая убедить своего читателя, что ни война, ни воинские доблести не могут «устареть», почти забытый ныне поэт писал в самом конце XIX века:

И сцеплено все так в храмине бытия,  
Что — выбросите меч — и тотчас же теченье  
Согласное планет исчезнет навсегда.

Но в том-то и штука, что теперь самый меч или то, что традиционно обозначается этим словом, стал выделывать какие-то странные пируэты, нарушающие «теченье согласное планет».

### *Глубже в лес*

Говорят, что всякая эпоха — переходная. Наша — более чем любая другая. Во всяком случае, если иметь в виду конкретно военное дело.

Август четырнадцатого салютовал уходящему веку (и всем уходящим векам): в последний раз пехота картинно пошла в атаку с развернутыми знаменами и под барабанный бой, в последний раз гусары и кирасиры, прищпорив коней, сабли вон, в открытую устремились на противника<sup>2</sup>. Прошли считанные дни или недели, и все эти заученные движения захлебнулись в море крови и окопной грязи. И вот что интересно: даже военные специалисты, хорошо знавшие, что могут скорострельные пулеметы, аэропланы и прочее, все-таки не думали, что эта война до такой степени будет отличаться от всех предыдущих. Случайный недосмотр? Отнюдь. С умножением технических средств и их усложнением становится все труднее предвидеть характер будущей войны: слишком много факторов приходится принимать в расчет. Чем дальше — тем больше. Сейчас, на исходе XX века, лицо потенциальной войны, особенно «большой» войны, представляется более гадательным, чем когда-либо в прошлом.

Недавняя война в Персидском заливе (последняя из сколько-нибудь крупных войн, если брать масштаб последних десятилетий) была, в сущности, малой, даже совсем малой войной, но и она принесла целый ряд сюрпризов.

С высоты, так сказать, сегодняшнего дня самым глубоким из потрясений, вызванных первой мировой войной, мне представляется появление немецких химиков на фронте

<sup>1</sup> В. Соловьев. Оправдание добра. М., 1899, с. 478.

<sup>2</sup> Я не учитываю нашу гражданскую войну (а также войну с Польшей 1920 года), которая по многим признакам явилась рецидивом войн XIX века; отчасти поэтому о ней сложено столько песен.

близ Ипра в 1915 году, где впервые в истории были применены отравляющие газы. Тем самым в развитии вооружений был сделан качественно новый шаг. Прежние изобретения ставили целью усовершенствовать то, что уже наличествовало в арсенале, то есть стремились как бы удлинить руку, наносящую удар, или увеличить тяжесть удара, или укрепить защиту. А применение ОВ означало отрыв от всех традиционных методов ведения войны. Не говорю уж об эстетическом аспекте: желто-бурые пары хлора, которые русские прозвали тогда «каиновым дымом», никак не вязались с традиционной баталистикой, а противогаз обезобразил солдата, превратив его в подобие какого-то марсианина.

Глубже в лес — больше дров. На исходе второй мировой войны физики далеко обошли химиков в части служения богу войны, создав атомную бомбу. Основная задача тут была как будто вполне традиционная: еще больше накачать *manus militaris* («военную руку», «мышцу бранную»), сделать бьющий кулак тяжелее. Однако полученный результат оказался выше возможностей человеческого воображения. Даже «обработанное» научно-фантастической литературой сознание не в силах было сразу «вместить» Хиросиму. Фактически это был прорыв в некое неведомое доселе «зазеркалье», где в игру вступают силы нездешнего, нечеловеческого масштаба. А эффект радиации, тот вообще не поддается уразумению с позиции здравого смысла.

Август сорок пятого салютовал XXI и всем последующим векам.

Нарастание военной угрозы, открывшее перед человечеством поистине апокалиптическую перспективу, мы, гражданские, привыкли связывать с военными людьми: это о н и могут привести в действие разные кошмарные виды оружия, это для н и х стараются (такое складывается впечатление) ученые, постоянно изобретая что-то новое, еще более кошмарное. Нам обычно не приходит в голову, что им, военным, может быть, совсем не так уж и приятно получать «в свое распоряжение» новые смертоносные «игрушки». Сами военные, люди дисциплинированные и, как правило, нерассуждающие, даже после ухода в отставку на сѐй счет обычно молчат.

Как будто техника идет навстречу пожеланиям военных, но, что-то давая им, она одновременно что-то и отнимает. Усовершенствованная пушка позволяет достать противника там, где раньше он чувствовал себя в полной безопасности, но она же, по слову поэта, мешает «сойтись лицом к лицу с врагом». Убивать анонимно, на расстоянии — легче, но убивать лицом к лицу — честнее. Броня танка защищает от пуль, но, уж если танк загорелся, он становится ловушкой, откуда можно и не выбраться. Даже такие, относительно простые (по нынешним временам) технические новшества, как танк или дальнобойная пушка, потребовали от военных некоторой психологической перестройки. Период между двумя мировыми войнами отмечен усилениями, направленными на то, чтобы приучить солдата и офицера к «войне машин»: создается психологический симбиоз человека и машины, где человек не только приспосабливается к машине, но и сам становится в чем-то на нее похожим. Мы помним советские песни 30-х годов о том, как «пойдут машины в яростный поход»: в них человек, с одной стороны, выступает как «винтик» государственной и военной «машины», а с другой — как придаток машины в буквальном, нефигуральном смысле. Подобным же образом итальянцы, например, помнят, как футурист Ф.Маринетти слагал величальные в честь «моторов» и «солдат, побратавшихся с моторами». Особенно характерен в этом отношении немецкий писатель Э.Юнгер, чья философия и эстетика войны, изложенная доступно и не без некоторого блеска, наверное, как никакая другая, духовно вспоила и вскормила гитлеровских солдат и офицеров. Пoesзия «стальной», лишенной старомодных обертонов мужественности сочетается у него с культом новейшей техники: согласно Юнгеру, машина есть великолепный инструмент «воли к власти», она отвечает потребностям человека в магической и, с другой стороны, чисто военной склонности к точности и четкому функционированию.

Человек, как известно, существо, привыкающее вроде бы ко всему на свете. Плюс — легко поддающееся (в известных пределах) внушению. В 1915-м танк казался чудовищем, вызывавшим не только страх, но и отвращение, а в 1939-м или 1941-м танкисты уже были окружены некоторым ореолом, перешедшим к ним от кавалеристов. Хотя у человека в танке самоощущение совсем не то, что у человека на коне. Осваивая в силу необходимости новую технику, военные в то же время пытались хоть как-то связать ее с традициями. Отнюдь не по недоразумению в ряде армий танковые части и соединения долгое время именовались (а может быть, и сейчас еще где-то именуются) кавалерийскими, а, скажем, мотопехотинцы зовутся драгунами.

Но механические усовершенствования в военном деле явились лишь этапом «боль-

шого пути». За ними последовали «игрушки», которых военные не ждали и которым вряд ли были рады. Они просто принимали их как неизбежное. Так, они взяли на вооружение химию, преодолевая глубокое внутреннее отвращение к ней. Когда появились атомные, а потом и водородные бомбы, военные сделали вид, будто не заметили, что имеют дело с потусторонними, фигурально выражаясь, силами, и поставили их в строй наряду со всеми прочими — соответственно переписав уставы, внося изменения в стратегию и тактику.

Ученые между тем продолжали «угождать» военным: электроника существенно облегчала управление техникой, но опять-таки, давая, она в то же время что-то и отнимала. Примером тому может служить авиация, в которой изначально было нечто окрыляющее не только в физическом, но и в переносном, психологическом смысле (отчего она стала, пожалуй, единственным из технических родов войск, достойным некоторой романтизации). Человек, военный в частности, издавна мечтал о полете, и теперь мечта его наконец-то осуществилась. Увы, век реактивной авиации внес в летное дело принципиальные коррективы. О пилоте, управляющем современным, напичканном электронной самолетом, все меньше можно говорить, что он «летит», и все больше — что крылья «сами несут» его.

Та же электроника подняла на качественно новый уровень военную разведку. Сейчас о противнике можно узнать почти все, но и противник может узнать почти все, что ему нужно. В этих условиях становится чрезвычайно трудно перехитрить противника, найти такую «ложбинку», такую щель, где можно было бы укрыться от его всевидящего ока и в то же время отыскать в его обороне уязвимое место, по которому можно было бы нанести удар.

Думаю, не будет преувеличением сказать, что первыми жертвами гонки вооружений оказались сами военные. Я давно чувствовал это, не хватало лишь подтверждений с их стороны. Нашлись они в книге Клода Ле Борня (французского военного теоретика, дивизионного генерала в отставке) «Война мертва»<sup>1</sup>.

Наконец-то вместо привычного бодрого рапорта в стиле «все в полном порядке» я услышал живой голос, не скрывающий душевной смуты, разве что смикшированной галльским юмором. На протяжении XX века, пишет Ле Борнь, профессию военного постигли такие глубокие потрясения, что он теперь с трудом узнает сам себя: ему приходится заниматься вещами, не имеющими никакого отношения к тому, что исстари называлось военным делом. «Война (в ее традиционном понимании. — Ю.К.) мертва... — итожит Ле Борнь. — Такой это для нас крутой поворот, такая необъятная пустота образовалась с уходом из жизни дорогой покойницы, что необходимо какое-то время для того, чтобы свыкнуться с новой ситуацией». И еще, в другом месте — тут уже прямо крик души: «Война преставилась. Как же нам без нее жить?» Замечу, что книга Ле Борня вышла в то время, когда об окончании «холодной войны» еще не могло быть и речи; поэтому, говоря о том, что «война мертва», он имеет в виду исключительно факторы научно-технического прогресса.

«Убийство» войны совершалось, следовательно, на протяжении длительного времени. По мнению Ле Борня, первый удар нанес ей знаменитый Клаузевиц, конечно, ничего о том не ведая: «Клаузевиц положил начало разрушительной работе. Он сделал это вопреки собственному желанию. Поставленная им самому себе задача по-новому мыслить о войне имела целью сделать ее более эффективной, а вовсе не ликвидировать ее — как раз эта перспектива казалась ему немислимой». Вышло, однако, так, что процесс всесторонней рационализации, инициированный, как считает Ле Борнь, Клаузевицем, оказался губительным для военного дела.

А ведь чувствовал опасность наш Денис Давыдов, адресуя своим «чересчур умным» коллегам известную ворчливую строку:

Жомини, да Жомини<sup>2</sup>, а об водке ни полслова.

Повторю, однако, что «война мертва» лишь в ее традиционном понимании (да и то если иметь в виду «большие» войны; малые еще сохраняют и, вероятно, сохранят в обозримом будущем что-то общее с традиционными войнами). Древний институт войны не исчез, но лишь претерпел — и продолжает претерпевать — странные метаморфозы.

<sup>1</sup> *Le Borgne, C. La guerre est morte. Paris, 1987.*

<sup>2</sup> *Генерал Жомини* — крупный французский военный теоретик, современник и предтеча Клаузевица в части рационализации военного дела.

Наука и техника по-прежнему двигают военное дело «вперед», уводя все дальше в «зазеркалье», притом уже как будто при минимальном участии самого человека. Как пишет тот же Ле Борнь, «лаборатории заменили поле битвы. Исследователи — не столько изобретатели, сколько открыватели — наблюдают за тем, как предметы и явления сами вступают в бой друг с другом и их взаимные реакции вытягиваются в какую-то бесконечную спираль».

### Витки спирали

Что еще обещает спираль? В наше время широкая публика мало интересуется будущим военной техники, вероятно, полагая, что и достигнутого более чем достаточно. Война в Заливе, например, удивила нас высочайшей точностью попадания ракет, «чудесами» электронной разведки и некоторыми другими вещами. Но ведь была задействована лишь малая часть того, что есть в арсеналах. А то, что есть в арсеналах, пожалуй, бледнеет перед тем, что там только еще готовятся принять. Хотим мы того или нет, очередные витки high tech (высокой технологии), как ее называют американцы, выводят военное дело на все новые и все более удивительные рубежи. Итак, что же в перспективе?

В перспективе химики и биологи собираются удивить мир нисколько не в меньшей степени, чем физики. Уже сегодня химики, например, могут похвалиться тем, что изобрели (открыли?) средства разрушения, пожалуй, более эффективные (а может быть, и более эффективные), чем даже ядерное оружие. Чего стоит один ботулин — чайной ложечки его достаточно, чтобы извести со свету все человечество! Ядерная бомба хоть имеет что-то общее со своим далеким предком — пушечным ядром: ту же ударную силу она в себе несет, только что в миллион раз большую. А здесь — болтается что-то на дне пробирки (вполне вероятно, что данное вещество на самом деле совсем не такое, каким я его себе представляю, но сути дела это не меняет), а стоит привести это «что-то» в действие — и вот вам светопредставление!

Но и ядерное оружие в будущем обещает стать иным. Где-то кто-то высиживает сверхбомбу, которая одна сможет все уничтожить на территории, равной Бельгии и Голландии, вместе взятым. На основном же направлении работ бомба делается все более миниатюрной, а в дальнейшем может быть заменена... чем-то вроде тучки, содержащей заряженные ураном частицы. Эта невидимая (во всяком случае, невооруженным глазом) тучка будет незаметно подплывать к цели, и там уже по команде из центра частицы сольются в нужную критическую массу.

Но химики тут как тут. Они тоже трудятся над такой системой, которая позволит создавать отравляющие вещества непосредственно в зоне нахождения цели. В свою очередь, биологи (вместе с физиками и химиками) находят все более изощренные средства воздействия на человека, поражения тех или иных его органов и физиологических функций и даже изменения наследственности. Действуя на расстоянии посредством генераторов, излучающих какие-то зловещие частицы или издающих инфразвук (и, наоборот, ультразвук) или еще что-нибудь в этом роде, можно будет делать фактически что угодно с солдатами и офицерами вражеских армий, равно как и с жителями вражеских стран (разумеется, если не будут найдены соответствующие средства противодействия, что очень проблематично, а в ряде случаев, как утверждают специалисты, и вовсе маловероятно).

К страшному подстраивается смешное или почти смешное. Так называемое «несмертельное оружие» (по принципу действия оно может быть физическим, химическим или биологическим) ставит целью временное выведение из строя живой силы противника или его техники. Представим следующую картину: неприятельские самолеты-цистерны полили дороги, по которым движется войско, каким-то необычайно клейким составом, и вот танки и прочая движущаяся техника накрепко вросли в землю, так же как и солдаты, способные с этого момента драться, лишь не сходя с места (легко вообразить в этой ситуации бессмертного Чаплина). Или так: лазерные устройства на время лишили зрения солдат и офицеров противной стороны, и те натываются друг на друга, протягивая вперед руки, подобно брейгелевским слепцам. Это и есть «несмертельное оружие».

Дальше впереди вырисовываются совсем уже странные вещи — например, так называемая криптовоенная диверсия (греческое «крипто» означает «скрытый», «тайный»), практически неотличимая от стихийных природных явлений. Некоторое представление о ней можно составить по книге Станислава Лема «Мир на Земле»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Журнал «Звезда Востока», № 9—10 за 1988 г.

«Кислотные дожди были известны уже в двадцатом столетии, когда при сгорании угля, загрязненного серой, облака превращались в раствор серной кислоты. Теперь же полили дожди до того едкие, что они разъедали крыши домов и заводов, автострады, линии электропередач, и невозможно было установить, чье это дело: отравленной природы или врага, наславшего ядовитую облачность при помощи направленного в нужную сторону ветра. И так было со всем. Начался массовый падеж скота — но как узнать, естественные это эпизоотии или искусственные? Океанский циклон, обрушившийся на побережье, — случайный, как прежде, или же вызванный умелым перемещением воздушных масс? Гибельная засуха — обычная или опять-таки вызванная тайным отводом дождевых облаков?»

И дальше: «Но когда в диверсии приходилось подозревать ураган, градобитие, болезни сельскохозяйственных культур, падеж скота, рост смертности новорожденных и заболеваемости раком, а в конце концов даже *падение метеоритов* (мысль о наведении астероидов на территорию противника появилась еще в XX веке), жизнь стала невыносимой».

Господи, да что же это такое? Если это война, то какое отношение к ней имеют парады и разводы, маршевая музыка, знамена и все прочее, с чем до сих пор связывалась армия? Где тут сакральный, праздничный момент? Может ли как-то выразить себя в таких условиях воинская пассионарность, если употребить вошедший в моду термин? Нет, право, если уж таковы пути, коими ныне устремляется «воля к власти», то это не пути войны, как мы ее привыкли понимать. Тут что-то совершенно иное. Другой «жанр».

Могут возразить, что написанное Лемом фантастика. Но мы знаем, что в наше время реальность быстро догоняет фантастику, а порою и опережает ее. К тому же Станислав Лем — не просто фантаст. Автор капитального труда «*Summa technologiae*» — авторитетный прогнозист; новинки будущего века вычислены им на основе тщательного анализа существующих ныне тенденций развития науки и техники.

За подтверждением можно обратиться к вполне научному сборнику «Холодная смерть» (вышел в ФРГ в 1983 году, на русский переведен издательством «Прогресс» в 1985-м). На стр. 202 и следующих рассказано о новых видах оружия, которые могут быть созданы на основе уже известных научно-технических принципов (а в будущем ведь появятся какие-то новые научно-технические принципы, на основе которых может быть создано оружие, о каком нам сейчас не под силу даже помыслить). Среди них «геофизическое оружие» — «преднамеренное манипулирование динамикой, составом или структурой Земли, включая ее биоту, литосферу, гидросферу, атмосферу и космическое пространство». Это примерно то же самое, о чем пишет Лем. И реализация этого оружия предполагается не когда-нибудь, а уже в первой половине или даже первой четверти XXI века. *Manus militaris* растворяется в воздухе, становится невидимой и вездесущей. Грань между войной и миром, порою уже и в наше время становящаяся весьма относительной, исчезает вовсе.

Добавлю, что роль человека становится все более скромной не только в процессе лабораторных исследований, но и в самом военном деле. На уровне штабов все возрастающая часть работы передоверяется компьютерам, а на уровне исполнителей людей должны вытеснить роботы. В стадии разработки — автономные системы вооружений, предназначенные для выполнения боевых задач при минимальном участии или вообще без участия человека. Отдельная техническая единица становится все более «хитрой» и способной к самостоятельным действиям. В будущем предполагается появление микроботов размером с таракана или даже муравья, которые смогут выполнять разного рода диверсионные задания. А там, глядишь, заведутся целые полчища этих гадов, вроде саранчи, только гораздо более вредоносных и труднее поддающихся обнаружению.

Нельзя не прийти к заключению, что война трансформируется в нечто, совершенно отличное от того, чем она была когда-то (и даже совсем недавно). Иначе говоря, исподволь происходит подмена содержания этого понятия — чем дальше, тем больше за ним вырисовывается феномен принципиально новый, чего, похоже, не хотят замечать те, кого это прямо касается. Все заняты своей рутинной, как им кажется, работой. Национальные ВПК пекутся о том, чтобы поднять производство вооружений «на качественно новый уровень», военные — о том, чтобы «использовать новые виды вооружения максимально эффективно», добиться «комплексности использования», «оперативности и согласованности действий», «оперативности, глобальности и надежности управления» (все формулировки взяты мною из номеров журнала «Военная

мысль» за 1993 год). В свою очередь, политики толкуют о «стратегическом сдерживании», о «балансе сил» и т.д., и т.п. Крутятся-вертятся колесики — вроде бы все идет как надо.

А ведь в самый раз остановиться хотя бы на минутку и... удивиться. Удивившись — задуматься. Известно, что философия начинается именно с удивления. Хайдеггер уточнил, что это значит не то, что когда-то, однажды чье-то удивление положило начало философии, а то, что возобновление удивления есть условие всякого подлинного философствования. А здесь — такой сюжет!

Обкатанные рациональные формулировки, вроде только что приведенных, не могут скрыть того, что будущая война обещает стать похожей на... сказку. Лишь в сказках можно найти некоторые отдаленные аналогии действиям, определяемым ныне как «криптовоенная диверсия». Вспомним, что в русских сказках, например, наряду с богатырями фигурируют сверхъестественные силы, обычно им противостоящие: Кощей, сидючи где-нибудь на медной горе или треногом коне, или Яга в своей избушке приводят в действие природные стихии, становясь поперек дороги какому-нибудь Алеше Поповичу или Еруслану Лазаревичу. У англичан подобным же образом действует Мерлин, замкнувшийся в своей знаменитой башне. В китайских сказках сверхъестественное вмешательство выглядит еще эффектнее: Царь драконов, рассердившись на императора, «организует» наводнение с громом и молнией, насылая на его войско ветер и дым... (те, кто лучше меня знаком с фольклором, могли бы привести и другие, возможно, еще более выразительные примеры). Находятся и добрые волшебники, которые приходят на помощь богатырям, в подобных случаях дело решает единоборство волшебников. Хотя в эмоциональном фокусе оказываются все-таки не волшебники, а богатыри. Так, в «Русlane и Людмиле» Пушкина: судьбу Руслана (Еруслана) фактически решает «дуэль» Финна и Черномора, но героем выглядит все-таки Руслан, а Финн остается на втором плане.

Нежданно-негаданно мы вернулись в «страну архетипов». В будущих войнах главными их участниками станут «волшебники», которые, сидя в каких-нибудь современных эквивалентах башни Мерлина, смогут оттуда дирижировать подвластными им стихиями. Что же касается «богатырей», то я не знаю, каким будет их психологический «статус», но с фактической стороны им скорее всего придется удовольствоваться вторыми ролями.

Сказка мстит за себя человечеству, погрязшему в «научном мировоззрении» и поторопившемуся изгнать ее в мир дошколят<sup>1</sup>.

Надо ли, однако, представлять будущие войны как неизбежные? Почему бы не допустить другой сценарий? Скажем, такой: пусть накапливаются в арсеналах разные новые виды оружия — раз уж этот процесс нельзя остановить, — но никому и в голову не приходит пустить их в ход. Есть ведь уже у человечества кое-какой «опыт воздержания», накопленный как раз за те годы, когда атмосфера была отравлена миазмами нетерпимости и злобы. За сорок с лишком лет «холодной войны» никто ведь ни разу не применил ядерное оружие. Еще раньше, в период второй мировой войны, несмотря на ее тотальный характер, не были применены отравляющие вещества, в достатке имевшиеся у воюющих сторон.

В отношениях между крупными странами, теми, что именуются «державами», такой сценарий представляется вполне реальным, хотя и не без оговорок. Действительно, с некоторых пор они попали в патовую ситуацию, когда ни одна сторона не может позволить себе сделать «ход». Уже сейчас в арсеналах ведущих военных держав столько всякой техники, летающей, ползающей, ныряющей и еще черт-те что выделяющей — от чудищ доисторической страховидности, технических динозавров и бронтозавров до каких-то небольших, но особенно вредоносных аппаратов, — что их владельцы должны испытывать подлинное «затруднение от избытка». Чтобы пустить в ход все имеющееся оружие, понадобились бы такие необъятные пространства, такие сонмы врагов, какие можно увидеть разве только во сне. Реальная наша планета слишком для этого тесна. Слишком малы мишени сравнительно с накопленным запасом разрушительных сил. Приведение в действие даже совсем небольшой его части — за которым последовал бы более или менее эквивалентный ответ со стороны противни-

<sup>1</sup> Я несколько не гиперболизирую: сказка имеет, по меньшей мере, столь же солидную онтологическую основу, как и наука. В подтверждение сошлюсь хотя бы на П.А.Флоренского, в своих научных исследованиях сохранявшего, по его словам, «сказочное миропонимание».

ка — имело бы катастрофические последствия как минимум для вовлеченных в конфликт держав, как максимум для всего человечества. Таков парадокс, рожденный гонкой вооружений: обвешанные оружием «силачи» уже не могут себе позволить драться всерьез.

Открывающиеся ныне возможности разного рода военно-технических тайнодействий делают установившееся равновесие более хрупким, но вряд ли они способны его сломать. Некоторым гарантом в этом отношении служит чувство ответственности, каким не могут не обладать руководители ведущих держав, понимание ими того, сколь многими ниточками связано сейчас все на свете; я уже не говорю об элементарных этических соображениях, которые на всякий случай не будем принимать в расчет.

Увы, в мире существуют — и, вероятно, будут существовать в обозримом будущем — такие режимы, где уровень ответственности совсем другой. И то слава Богу, что их жертвами являются на сегодня лишь малые страны; соответственно в их распоряжении оказываются относительно скромные арсеналы. С другой стороны, именно скромность (относительная, подчеркиваю) их арсеналов развязывает им руки. Владелец пяти-шести небольших ядерных зарядов может пустить их в ход, особенно если ему известно, что противник не в силах ответить ему тем же. Еще более вероятно, что он не поколеблется предпринять против соседа криптовоенную диверсию, коль скоро получит в свое распоряжение необходимые для этого средства. Кстати, мы пока ничего не знаем (возможно, и специалисты не знают) о том, насколько сложным будет их производство. Не окажутся ли некоторые из них весьма доступными в этом смысле, более доступными, чем ядерные заряды или химические бомбы, изготовление которых требует не только сложных, но и довольно громоздких (а значит, поддающихся обнаружению) производственных комплексов?

В перспективе малая страна сможет угрожать не только другой малой стране, но и крупной тоже, к этому ведет абсолютное возрастание накапливаемых разрушительных мощностей. Возможен такой вариант, что какая-нибудь Анчурия получит в свои руки оружие, способное уничтожить все население Соединенных Штатов (при условии, что не будет эффективного средства противодействия). И что толку с того, что Соединенные Штаты смогут уничтожить Анчурию тысячу раз подряд! Ведь в данном случае  $1000 = 1$ . Таков еще один парадокс, рождаемый гонкой вооружений: «мелюзга» по своим возможностям приближается к «силачам».

Но и крупная страна может представить угрозу для других стран — в случае внутренних потрясений. В этих условиях может прийти к власти какая-нибудь безответственная группировка, которая, ведя свою политическую игру, способна поставить на карту не только мир (как состояние не-войны), но и само существование человеческого рода. Возникает и другая возможность: чудодейное оружие может быть похищено из государственных арсеналов и, в частности, попасть в руки мафиозных клик и террористических организаций.

Есть над чем задуматься. Скажу сильнее: есть от чего испытать головную боль. Впереди, до самого горизонта, блестит кремнистый путь, которым никто никогда не ходил и который потребует от человечества небывалой осторожности и осмысленности движений.

## Горизонт

Хочу предупредить против двух чересчур поспешных умозаключений, которые могут быть выведены из сказанного. Первое из них относится к военным, их психологии и этике.

Наша армия сейчас глубинно дезориентирована, и меньше всего на свете мне хотелось бы хоть чуть-чуть поспособствовать еще большей ее дезориентации. Главная проблема в том, что из-под ног у нее выбит камень, более семидесяти лет служивший символом веры, и новой опоры пока не найдено. Как будто всем ясно, где ее следует искать — в русле традиций старой русской армии; но что-то поворот в эту сторону совершается крайне медленно. Как бы его ускорить? России нужна армия, сильная не только своими профессиональными качествами (о чем нам часто сегодня напоминают — вполне справедливо, хотя несколько односторонне), но так же или даже прежде всего своим духом. Этически крепкая армия.

Конечно, этос военной среды не может быть чем-то совершенно отличным от этоса общества в целом, а последний нынче таков, что не позволяет надеяться на скорое его улучшение. Но с чего-то ведь начинать надо. Наверное, воспитание новых офицерских

кадров (и, может быть, перевоспитание старых) могло бы стать одним из путей нравственного оздоровления общества: сама профессия офицера требует определенного аскетизма, «собранности» и «подтянутости». В ней, как и вообще в профессии военного, заключено, кроме того, живое чувство традиции: занимая свое место в строю (сужу по давнему опыту срочной службы), не только ощущаешь себя частицей единого военного организма, но и как бы принимаешь эстафету у тех, кто так же вот десятилетия и столетия назад «с места с песней» брал строевым. Происходит как бы индукция чувства (приобщения к чему-то большому и протяженному во времени) в «поле» физического движения.

С другой стороны, задача сохранения, и даже не столько сохранения, сколько восстановления, традиций осложняется постоянной трансформацией самого военного дела. Это уже, собственно, мировая проблема. Тому, что сохраняется в мужчине от воина, трудно примириться с научно-техническим Sturm und Drang'ом, превращающим войну в современную разновидность колдовства. Отсюда нередкое, скажем, в литературе или кинематографе — от некоторых героев Хемингуэя (тонкий вариант) до Рембо (грубый вариант) — стремление так или иначе отстоять права «человека с ружьем», добывающего победу благодаря таким своим качествам, как верный глаз и твердая рука, сноровка и личная отвага. Особенно, я сказал бы так, трогательный пример в этом роде — американские фильмы о «звездных войнах», где космос представлен как новый Дальний Запад.

Было бы, однако, преждевременным сетовать на «невостребованность» традиционных мужских доблестей. Как я уже сказал, в обозримом будущем малые войны еще сохраняют что-то общее с традиционными войнами; следовательно, «человек с ружьем» или с автоматом (или каким-то его будущим эквивалентом) отнюдь еще не делается «лишним». Хотя надо отдавать себе отчет в том, что в любом случае «командовать парадом» будут «волшебники», а более или менее традиционные военные фактически становятся «вспомогательной силой».

Вероятно, состав воинского духа должен стать несколько иным, отличным от традиционного. Скажем, делается не слишком уместной фанатерия, вроде бы всегда приличествовавшая — по крайней мере, в малых дозах — воину и даже чуть ли не украшавшая его (если мы заменим слово «фанатерия» близким ему «гусарством», то уже определенно найдем в нем симпатичные нотки). Какими-то новыми оттенками должно заиграть такое качество, как стойкость. Вспомним, как располагает к себе стойкий оловянный солдатик в сказке Ханса-Кристиана Андерсена (которого часто считают почему-то детским писателем), хотя ему ни разу не приходится ни с кем сразиться. Такой уж ему выпадает жребий: быть игрушкой, которою крутят-вертят, как им вздумается, стихии; а все равно он держится молодцом — всегда ружье на плече, голова прямо, грудь вперед!

Второе умозаключение, которое может быть выведено, касается всех нас. Это, мягко говоря, очень невеселое умозаключение: и так черного цвета вокруг хоть отбавляй, и перспективы не ахти какие радужные — чего стоит, например, одна только экологическая угроза! — а тут еще новые «страшные сказки» обещают сделаться былью.

Чтобы не впадать в грех уныния, надо выработать (возможно, правильнее будет сказать, пробудить в себе) чувство истории, более адекватное реальному историческому процессу. Последний нельзя лишить трагического измерения, как бы нам этого ни хотелось. История есть восхождение, но оно не исключает срывов, напротив, предполагает их. Периоды более или менее спокойные, благополучные рано или поздно сменяются периодами неблагоприятными и прямо катастрофическими. Случается, что благоприятные периоды зацветают иллюзиями: кажется, что все идет к лучшему «в этом лучшем из миров». Особенно характерным был в этом смысле Век Просвещения, поставивший целью перестроить всю жизнь человечества, основываясь на принципах «разума». С точки зрения просветителей все «неразумное» подлежало решительному искоренению — не в последнюю очередь, конечно, война<sup>1</sup>. Фигурально выражаясь, еще

---

<sup>1</sup> Утопическая мысль проникла даже в армейскую среду: нашлись военные теоретики (пруссак Бюлов, англичанин Ллойд и некоторые другие), которые, не разделяя идеи, что с войнами следует раз и навсегда покончить (иначе какие же они были бы военные теоретики!), считали, что отныне их следует вести... без пролития крови. То есть место войны должен был занять некий «кригшпиль» (военная игра, в которой все смерти и ранения были бы условными, а победителя выявляли, так сказать, по очкам). Уникальная страница в истории военной мысли!

не развеялся пороховой дым Тридцатилетней войны, в одной Германии погубившей (вместе с сопутствовавшей ей чумой) почти две трети населения, а на свет уже стали появляться один за другим проекты «вечного мира», наиболее известный из которых принадлежит перу Жан Жака Руссо («мальчишки», «не одержавшего ни одной плохонькой победы», как о нем отзывался в этой связи Пушкин).

Коммунистическая идеология унаследовала от Просвещения это «розовое» видение будущего — включающее золотой сон о «вечном мире», разумеется, в отдаленной перспективе, — на котором были воспитаны поколения советских людей. Хотя в реальности советский период был одним из самых катастрофических периодов европейской и мировой истории. Сейчас мы окунулись в мир западной культуры, но и он тоже не свободен в этом смысле от противоречий. Идеология прогресса и постоянного улучшения условий жизни не допускает сколько-нибудь серьезных потрясений и тем паче катастроф, представляющихся ей оскорбительными и грубо абсурдными. С другой стороны, уже одна только экологическая перспектива вынуждает готовиться к самому худшему, исподволь ломая то, что осталось от «просвещенческого» благо- и прекраснодушия (впрочем, известный философ Мирча Элиаде полагает, что «просвещенное» сознание, совершенно не подготовленное к бедствиям, которые несет история, всегда умещалось в человеке с архаическим мифомышлением, воспринимающим их как нечто в порядке вещей). Отсюда — резкие перепады настроений.

Чувство истории должно быть более ровное, исключаящее как неоправданный оптимизм, так и пессимизм, тем более — панические настроения. Единственно верный тон отношения к будущему, по моему убеждению, задан христианством: созвучие упования (обращенного поверх «мира сего», но — отраженно — также и к «миру сему») с трезвостью и готовностью работать в рамках истории.

Об атомной бомбе Э.Ферми однажды сказал: «Это интересная физика».

Об истории, перед которой атомная бомба открыла совершенно новые возможности, я бы сказал так: это интересная история.

Простодушие Ферми граничит с цинизмом: он ведь сам был среди тех, кто создавал дьявольское оружие. Напротив, аз есмь потенциальная жертва какой-нибудь будущей войны и потому, наверное, имею моральное право сказать так, как сказал. Впереди — сплошной мрак, опасностей хоть отбавляй, но вздохи и причитания уже как-то поднадоели; пора глазу привыкнуть к темной (как она представляется нам сегодня) гамме «неведомого века» и начать различать его контуры.

Я понять тебя хочу,  
Смысла я в тебе ищу.

Область смыслов — наиважнейшая для человека; сама жизнь не так ему дорога, как ответы на вопросы «зачем» и «для чего». Сталкиваясь с чем-то непривычным, небывалым, первым делом стремишься докопаться до смысла. Понять — значит, овладеть ситуацией.

И может быть, это только нам, гуманитариям старших поколений, перегруженным воспоминаниями свежешедшего времени, будущее представляется таким мрачным. Может быть, новые поколения сумеют взглянуть на вещи более непредвзято. Я никоим образом не поддерживаю чисто прагматический подход (если вообще таковой возможен) к вопросам, которые ставит жизнь. Напротив, я убежден, что только историческая память позволит овладеть будущим. Но наши головы слишком полны шумом минувших столетий, особенно двух последних столетий, а сейчас надо слушать в сию историю, включая «плюсквамперфектум» (давнопрошедшее время). Ибо наше время в некоторых своих аспектах перекликается с давнопрошедшими временами: известно, например, что некоторым аналогом научно-технической революции может служить только неолитическая революция, имевшая место много тысячелетий назад. Подобным же образом постановка на службу военному делу волшебных средств, вырванных из вечного заточения в тайниках природы, отдаленно напоминает о ситуации наших предков в каком-нибудь тысячном колене.

И у них, и у нас — грань между космосом и хаосом зыбка, ненадежна. У них — потому, что они еще только-только овладевают средствами, позволяющими хотя бы отчасти обезопасить себя от хтонических (из недр земного естества идущих) бурь и потрясений. Если бы мы могли заглянуть в их души, то, конечно, не нашли бы в них никакой благостности, никакого излишнего оптимизма. Тем меньше у них оснований для излишнего оптимизма, что мифы, которыми они живут, постоянно напоминают им о

том, что было время, когда хаос еще не был скован мироустроительными силами, и что он еще способен «показать себя» (таков, для примера, миф о Тифоне, низвергнутом в Тартар, откуда он грозит богам и всему живому, вызывая бури и извержения вулканов).

У нас, напротив, слишком большое техническое могущество, плохо согласованное с мироустроительными, в принципе, задачами, которые мы, человечество, перед собою ставим. Вроде бы хотим сделать наше существование лучше обеспеченным, более надежным, но самое могущество наше способно привести нас, так сказать, в объятия Тифона. Мы «будим» хаос, сами того не желая. И это на «мирном» пути научно-технического развития. Что же говорить о тех случаях, когда кто-то решится вынуть «меч из ножен»!

Вероятно, мирочувствие, скажем, середины XXI века будет очень сильно отличаться от мирочувствия XIX века, который «обаял» человечество на протяжении большей части XX. Исчезнут многие краски, что, впрочем, в его (человечества) жизни не раз уже случалось. И все-таки, повторю, впереди нас ждет по-своему интересная история. Она не будет безоблачной, но надо надеяться, что, по крайней мере, чересчур страшного удастся избежать. Я не верю, что «Бог плюнул». Внутреннее «драматургическое» чувство подсказывает, что до конца «пьесы» еще очень далеко (более всего убеждает в этом путь технического развития: очевидно, мы еще где-то на полдороге или даже не дошли до середины); следовательно, надо быть готовым к тому, чтобы достойно сыграть все остающиеся «акты».

Роман Арбитман

## Мы одни плюс разбитое зеркало

*Фантастика сегодня:  
воспоминания о будущем и предсказания назад*



Мысль о том, что в недемократическом обществе жанры антиутопии и романа-предупреждения отнюдь не пользуются государственным покровительством, выглядит на редкость банально и ни в каких особых доказательствах не нуждается. Печальная судьба, постигшая в нашей стране «Мы» Замятина или многие романы Стругацких, всем хорошо известна. С другой стороны, существует устойчивое заблуждение, будто жанр литературной утопии, напротив, имманентен тоталитарному обществу и наиболее гармонично существует в рамках социума, движимого мономанией вперед и ввысь и весьма равнодушного к категориям «вчера» и «сейчас». Казалось бы, очевидная вещь: миру, в котором жизни сегодняшнего поколения отводится почетная, но печальная роль отделяемой первой ступени в космическом рывке общества к светлому будущему, более всего обязана, по идее, соответствовать художественная литература об этом светлом будущем, поставленная на поток в результате режима наибольшего ей благоприятствования. Однако практика сталинской системы и тем более мягких тоталитарных конструкций эпох Хрущева и Брежнева опровергает этот стройный теоретический постулат. Жанр научной фантастики, среди функций которого едва ли не на первом месте значилась «обкатка» самых привлекательных технологических (и вместе с тем идеологических) моделей нашего «завтра» и «послезавтра», в СССР практически все годы пребывал в загоне, вынужденно довольствуясь низшей ступенькой в строгой иерархии литературных жанров. Объяснение этого феномена может быть только одно. Мощная тоталитар-

ная идеологическая машина просто-напросто узурпировала с в о е право на любую утопию; отлично отлаженный механизм государственной пропаганды элементарно не нуждался в каких-либо сомнительных союзниках, пусть и самых благожелательных. Коммунистическая утопия из стекла и бетона у ж е существовала как данность, и она была самодостаточна. Этому синтетическому Граду Небесному не требовались никакие путеводители — наоборот, даже легкие намеки на конкретику могли уже выглядеть грубым посягательством на целомудренность мечты. Недаром ведь самая известная научно-фантастическая утопия конца 50-х — роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» — официальными инстанциями была встречена достаточно холодно: Ефремову этого вполне правоверного пропагандистского полотна никто н е з а к а з ы в а л! Лишь через какое-то время, когда критикам удалось отполировать почти все шероховатости и вписать ефремовский многоугольник в идеальный круг предписанной утопии, «Туманности Андромеды» высочайше разрешено было обслужить мечту. Но — только ей. Уже роман молодых братьев Стругацких «Возвращение (Полдень, XXII век)», опубликованный в начале 60-х, не вызвал у пропагандистов ничего, кроме раздражения: описано было, разумеется, светлое, но н е т о будущее. У Стругацких мечта не замутилась, просто чуть деформировалась. Однако и этого невинного «чуть» хватало для того, чтобы в очередной раз подтвердить статус-кво научной фантастики в прежней литературной иерархии.

Любопытно, что все дискуссии о судьбе

жанра, которые писатели-фантасты осторожно вели на протяжении 60—70-х и начала 80-х годов, касались, как правило, не внутрилитературных проблем, а прискорбно низкого социального статуса отечественной научно-фантастической литературы. Авторы прекрасно осознавали свое место в «литературном гетто» (ограничение тиражей, подчеркнутое невнимание критики, пренебрежение «толстых» журналов вкуче с отсутствием хотя бы одного собственного журнала и т. п.) и настойчиво, порой даже неприлично навязчиво предлагали себя системе в качестве сопропагандиста. К счастью для фантастов, система была консервативна в своем неприятии комментаторов мечты и не делала творцам нашей сайенс-фикшн никаких поблажек.

Таким образом, ко второй половине 80-х годов научно-фантастической литературе в СССР в целом удалось выйти в эпоху свободы и гласности без постыдного шлейфа вчерашнего и явного сотрудничества с тоталитарным режимом. Стройная градиация жанров нарушилась, вектор переменил свое направление, и последний в ряду получил право на совершенно законных основаниях стать первым.

Советская фантастика, которой прежде клинически не везло, этим правом поспешила воспользоваться. Однако — в силу непривычки к регулярной литературной жизни — сделала это несколько суетливо, словно опасаясь, что послабления скоро кончатся и фантастику снова поставят на место. Критика, сразу прозрев, тоже проявила явно не академическую поспешность, взявшись расчистить место, можно сказать, плацдарм для передовой НФ литературы. Между делом досталось левым, правым и виноватым. Возникшая вмиг идиосинкрязия к какой бы то ни было утопии вызвала всплеск запоздалых обличений самых ранних вещей Стругацких (имею в виду странные статьи И. Васюченко в «Знамени» и В. Сербиненко в «Новом мире»), а также умелую издевку над светлыми ефремовскими построениями. Авторам «Трудно быть богом» и «Жука в муравейнике» деловито были поставлены в вину их давние опыты, вроде уже упомянутого «Возвращения...». У Ефремова же в его кристально-чистом «облике грядущего» обнаруживали хрустальный КГБ и бриллиантовый ГУЛАГ. Петербургский писатель-фантаст Вячеслав Рыбаков в своей повести «Прощание славянки с мечтой» талантливо, смешно, зло анатомировал «Туманность Андромеды», находя в книге скры-

тые латентным состоянием высокопарную пошлость и сервильность. Мертвая блестящая поверхность ефремовской утопии была разбита вдребезги, но ее осколки — подобно осколкам зеркала тролля в андерсеновской сказке — разлетелись по всей последующей фантастической литературе. Как бы ни старались затем наши фантасты избавиться от осколков с о в е т с к о г о опыта построения НФ, окончательно сделать это не получилось. Маленькие зазубренные обломочки светлой мечты, больно впиваясь в подошвы, так или иначе заставили обратить на себя внимание: достижение «чистоты» постсоветского жанра фантастики надолго откладывалось.

Поначалу все это замечено не было. На самом излете 80-х и в самом начале 90-х взрывной и неконтролируемый характер приняло развитие жанра антиутопии. Не только признанные мастера сайенс-фикшн, но и многие авторы из «пограничных» жанров отдали дань негативным прогнозам на будущее. Однако лишь реабилитированный Евгений Замятин из далеких 20-х годов дотянулся до абстрактно-отдаленного будущего, отделив солидным временным промежутком свою реальность и мир людей-номеров. Что касается наших современников, то пугающая зыбкость политических координат дня сегодняшнего вынуждала их заглядывать даже не в послезавтрашний, но в завтрашний день.

Авторы предчувствовали катастрофу и стремились ее поскорее описать — хотя бы для того, чтобы позднее иметь повод для мстительных возгласов, типа: «Предупреждали же вас!» Именно на конец 80-х приходится появление достаточно заметных в ту пору вещей с тремя «не» — повестей «Невозвращенец» (А. Кабаков), «Не успеть» (В. Рыбаков) и пьесы для чтения «Нежелательный вариант» (М. Веллер). Уже на их примере было заметно, что кристаллизуется «неканонический» вариант антиутопии. Лишь на первый взгляд представлялось, что смысл «минус-предвидения» в синтезе антиутопии и романа-катастрофы — катастрофы биологической (как у В. Рыбакова), экологической (как у М. Веллера) или политической (как у А. Кабакова). На самом деле получившийся жанр принципиально не вписывался в общемировой канон.

Подход к выдуманной реальности оказывался совсем иным, нежели это было принято в цивилизованных странах.

Дело в том, что с самого начала западный роман-предупреждение на тему близкой катастрофы был типичным порожде-

нием технологической цивилизации, изнанкой ее вечных фобий и карманным Апокалипсисом. Человек Запада привыкал жить в комфортном мире устойчивых социальных институтов и умных дружелюбных механизмов. При малейшем сбое человек этот тут же оказывался «голым на голой земле». Символом такого кошмара еще в начале XX века стал роман Эдуарда Моргана Форстера «Машина останавливается», в котором разумная жизнь на Земле по сути прекращалась по причине, обозначенной в заглавии. Пример подобного рода демонстрировал уже в начале 60-х известный создатель психоделических фантазий Филипп Кендред Дик, у которого в «Молоте Вулкана» человечество, разбив верховный компьютер, сразу возвращалось едва ли не в первобытное состояние. С другой стороны, беда могла скрываться не только в отказавших технологиях. Любой серьезный сбой в работе любой из отраслей социальной сферы (полиции, адвокатуры, страховой медицины и пр.) приводил здесь к практически аналогичным роковым последствиям — вспомним хотя бы «Стальной прыжок» Пера Валё.

Наша же собственная реальность со всеми возможными фантастическими экстраполяциями ее негативных тенденций в недалеком будущем была скроена по иным законам.

Для нашего общества феномен «остановившейся машины» не был вообще никаким феноменом. Авария любого уровня, кроме, пожалуй, чернобыльской, с какого-то времени стала у нас восприниматься общественным сознанием как явление почти заурядное, совсем не апокалиптическое и даже малоинтересное. Такому асу, как Артур Хейли, помнится, понадобилось немало сюжетных ухищрений, чтобы в финале романа «Отель» хоть как-то замотивировать одну несчастную катастрофу гостиничного лифта — в то время как у нас, к примеру, хронические поломки всех лифтов в стране, вместе взятых, в лучшем случае могли стать темой банального газетного фельетона.

Вот почему факты многочисленных аварий прежних лет, сделавшиеся достоянием гласности только сегодня, восприняты были публикой достаточно спокойно (если не сказать равнодушно): исходя из своего «бытового» опыта всех предшествующих десятилетий, мы и ожидали чего-то похожего, даже худшего. Лавина катастроф, накрывающая нашу реальность, в массовом сознании попала в один ряд с нынешними общественными потрясениями и как

бы «уравновесилась» с ними. Это и дало толчок к возникновению нового литературного жанра-мутанта, который уже четко обозначился в начале 90-х и во второй половине десятилетия выкристаллизуется окончательно. Жанр этот, возникший в лоне научной фантастики, далеко не всегда имеет «технологическую» подоплеку, зато он так или иначе имплантирован в социально-политическую ткань нашей повседневной жизни.

Роман вялотекущей катастрофы — назовем его так. Время действия обозначается как недалекое будущее, место действия — наша страна.

Чтобы лучше разобраться в новом жанре, стоит прибегнуть к западным литературным аналогиям. Западный роман катастрофы (будь то знакомые нашим читателям «Мутант-59» Кита Педлера и Джерри Дэвиса, «Штамм «Андромеда» Майкла Крайтона, «Аэропорт» Артура Хейли или, скажем, «Клон» Кейт Уиллхейм и Теодора Томаса) композиционно делился на три неравновеликие фазы. Развернутая «мирная» экспозиция сменялась краткими, шокowymi, событийно насыщенными картинами бедствия, после чего обязательно следовала релаксация и продолжительная конструктивная часть приведения системы в норму. К нашим же условиям эта понятная схема не подходила совершенно.

Задним числом анализируя вновь популярного «Невозвращенца» А. Кабакова, понимаешь, что до сих пор удерживают на плаву этот бестселлер 1989 года не столько снайперские прогнозы (сбывшиеся лишь отчасти), сколько более важное обстоятельство: автор одним из первых попытался воспроизвести наше ощущение катастрофы как бесконечного процесса — как если бы падение перегруженного лифта из романа Хейли затянулось на годы, на десятилетия. Герой «Невозвращенца» Юрий Ильич по законам антиутопии обязан был то и дело соприкасаться со страшными реалиями окружающего его мира (это и вызывало наибольший интерес в год первой публикации), но для него-то самого все эти реалии были уже скучно обыденными.

Точно так же и для героя повести Вячеслава Рыбакова «Не успеть», действие которой было отнесено в ближайшее завтра, атмосфера всеобщего неблагополучия воспринималась как норма, как данность. Средняя, «шоковая» часть западного романа катастрофы у нас неизбежно становилась главной и единственной, распрос-

транеясь в прошлое и в грядущее от момента повествовательного «сейчас». Катастрофа произошла (глагол несовершенного вида) — в спокойной констатации факта чудилась едва ли не умиротворенность.

Жутковатые подробности сельской робинзонады одной отдельно взятой городской семьи казались в 1991 году читателям «Новых Робинзонов» Людмилы Петрушевской только родом высокохудожественной истерики, филигранного кликушества на модную тему «конца света». Теперь же, перечитывая произведение, обращаешь внимание уже на другое. Надрыв словно бы выветривается со временем, «чернота» отходит на второй план, зато на первом месте остаются деловитость и споровитость, с какими бывшая «ячейка общества» выходит в «автономное плавание». Герои «хроники конца XX века» (авторский подзаголовок Петрушевской) обживают как родную, обустроивают чудовищную реальность, данную им в ощущениях, добиваются вовлечения всех аномалий в круг повседневной жизни и уменьшают тем самым оттенок экстраординарности своего существования. И речь не о том, что «подлец человек ко всему привыкает»; напротив — дуновение смерти не может победить в человеке человеческое, его стараний найти гармонию и на посты-ядерном пепелище, даже там.

В этот же круг проблем, без сомнения, вписывалась и повесть «Лаз» Владимира Маканина, опубликованная примерно в то же время, что и новелла Людмилы Петрушевской. Первые интерпретаторы «Лаза» почти бессознательно оставляли в стороне «бытовые» детали будничной жизни Ключарева, главного героя повести. Критика склонна была рассматривать произведение не как антиутопию, но скорее как притчу, как чисто логическую абстракцию или даже как дополнительный аргумент писателя в бессмысленном и вечном «споре» между духом и телом. Более поздний контекст, в который попала повесть, высвечивает иную, событийную сторону произведения. Метафизическую отдушину, где находил временное успокоение маканинский же Михайлов, сменил совершенно конкретный лаз, благодаря которому Ключарев все-таки делает свое существование сносным. Подобно Робинзону герой выносит на поверхность все те вещи, которые могут ему пригодиться. Более того: когда значительная часть его долгого труда (он откапывает для семьи дополнительное убежище) идет насмарку,

герой по-прежнему не оставляет своих попыток вернуть жизнь хоть к какой-то норме.

Жанр романа вялотекущей катастрофы дал наконец однозначный ответ на долго терзавший философов вопрос: что лучше — ужасный конец или ужас без конца? Выбор из двух зол именно и только второго вряд ли свидетельствовал лишь о нашей повсеместной тяге к мазохизму (хотя ряд социальных психологов весьма серьезно трактовал знаменитую фразу «Лучше бы, конечно, помучиться», произнесенную в кинофильме «Белое солнце пустыни» любимцем всего советского народа красноармейцем Суховым). Просто ужас, тянущийся без конца, естественным образом переставал быть ужасом, переходил в иное качество. Художественным подтверждением этого тезиса явилась, например, повесть петербургского фантаста Андрея Столярова «Послание к коринфянам». Столяров закономерно пришел к антиутопии в жанре вялотекущей катастрофы, полемизируя с фэнтэзи. В западных фэнтэзи (как и в уже упоминавшихся алармистских романах жанра сайенс-фикшн) катастрофа оказывалась событием чрезвычайным и более-менее определенным во времени. В фэнтэзи любой рыцарь, вооружившись верным Дюрандалем и парой надежных заклятий, мог уничтожить силы зла и вернуть пошатнувшейся было Вселенной порядок. Столяров переводил некоторые черты фэнтэзи в нашу действительность, сплавляя ее с сайенс-фикшн — и тут же (хотел того или нет) получал неизбежную для искаженного мира картину дрящегося крайнего неблагополучия, того самого ужаса без конца—без края. Не в пример героям фэнтэзи герои Столярова вынуждены были пр и т е р п е т ь с я к катастрофе. Как и в «Невозвращенце», и в «Новых Робинзонах», так и в «Послании к коринфянам» Апокалипсис переставал быть чем-то исключительным, перемешивался с бытом. Действие повести разворачивалось на фоне впечатляющих примет пришествия к нам Сатаны. Но жуть была будничной и незаметной, потому что скрадывалась привычными и мелкими ежедневными кошмарами — вечным разгильдяйством, политическими интригами, склокой ведомств и т. п. Мир глаголов несовершенного вида не предрасположен был к активным действиям, и они только вредили спокойствию однотонного черно-коричневого кошмара; недаром активность однофамильца автора этих строк Арбитмана в конечном счете лишь усугубляла положение, делала общий

колер придуманной «ближней» реальности более темным, но не многоцветным.

Повесть Андрея Столярова вышла сравнительно недавно, когда родовые черты нового жанра стали хорошо видны. Однако сегодняшняя коррекция реальности все определеннее приближала написанные раньше произведения А. Кабакова, В. Рыбакова, Л. Петрушевской или В. Маканина к тому, чтобы стать «учебными пособиями», «справочниками» по ежедневной катастрофе, теми «картами ада» (если воспользоваться выражением Кингсли Эмиса), где указаны помимо расположения серных кипящих котлов еще и гостиничные, и общепитовские «точки». Другое дело — зачастую вышеназванным авторам все-таки не хватало положенной бесстрастности. Эмоциональный накал мешал спокойному, неторопливому анализу предложенной картины мира. Герои книг уже осваивали «безумный-безумный-безумный мир», зато их создатели еще не могли окончательно привыкнуть к положению пассажиров отпущенного на волю стихий лифта. Авторам все никак не удавалось осмыслить вероятность, по которой (в нарушение всех правил) лифт может не лететь вниз, а как бы парить бесконечно...

Пожалуй, наиболее точно соответствовал жанру вялотекущей катастрофы роман московского прозаика Вячеслава Сухнева «Встретимся в раю». Автор намеренно сконцентрировал самые характерные черты политической и экологической антиутопии (в книге военные готовят переворот, а во второй части романа еще и взрывается многострадальная Тверская АЭС). Однако при все том взвесь крупных и мелких бедствий оседает на каждой фигуре описываемого мира аккуратным ровным слоем. И у Сухнева, несмотря ни на что, речь идет о н о р м а л ь н о й мирной жизни. С проблемами, конечно (как без них?), но будничной. Без сенсаций...

Нельзя сказать, что «Встретимся в раю» — какой-то эталонный роман. Во многом это достаточно традиционное произведение (несмотря на сюжет), к тому же автор до конца не переболел «методом соцреализма». Повествованию не откажешь в динамике, хотя обилие функциональных героев, калифов на час, сильно портит дело. Тем более что роман перегружен сугубо информативными монологами персонажей на тему внешней и внутренней политики, а также экономики и экологии: у Сухнева философствуют журналисты и рэкетеры, бывшие десантники и предприниматели, стукачи и писатели, пол-

ковники и инженеры-атомщики. К счастью, сюжет не ограничивается задушевными разговорами на темы патриотизма, охраны природы и западных загребущих спонсоров. Главный герой, простой инженер Зотов — не самый активный участник дискуссий. Его задача в другом: мирно вписаться в текущую катастрофическую действительность и совершенствовать свое индивидуальное убежище, добиваясь гармонии с самим собой. Гипертрофированные как будто бы признаки всеобщего упадка (преступность, терроризм, тайные общества, сильнейшее социальное расслоение и т. п.) не мешают Зотову деловито исполнять свои обязанности. Если вдуматься, его работа в закрытом КБ, где он проектирует марсианские вездеходы и не занимается ничем иным, — тоже своеобразная робинзонада: в шатающемся мире он находит свою «нишу», свой «лаз» и добровольно их не покинет. К чести автора, он не превращает своего героя в доблестного борца с обстоятельствами и вместе с ним не ищет однозначных решений. Зотов не уповает на возможное в туманной перспективе «светлое царство капитализма» (карикатурное перевернутое подобие ефремовских утопий), он не заражен никаким очередным «бессмертным учением», давно потерял веру в генеральский менталитет (или все-таки в ментальность генералитета — как лучше сказать?). Короче говоря, герой романа сам «не знает, как надо», и не верит ни одному из политических гуру. Подобно персонажам Маканина и Петрушевской он просто живет. Безусловно, есть в этом демонстративном «просто» и свой схематизм. Зотов выпит богаче, чем обычные «черно-белые» герои классических антиутопий, однако сам он вовсе не так уж многогранен (в пограничных ситуациях автор «припоминает» бывший офицерский опыт Зотова, и этого хватает ему с лихвой всякий раз).

Интересно отметить, что повествование шире схем, сюжета, авторских симпатий или антипатий — возможно, и вопреки авторской воле. Та невозмутимость, которой так не хватало создателям отечественных антиутопий конца 80-х и начала 90-х, присутствует в романе «Встретимся в раю». Трезвый, спокойный и сосредоточенный взгляд на окружающую героя перманентную катастрофу — может быть, лишь свидетельство недостаточной эмоциональной насыщенности художественной палитры автора, но в данном случае этот недостаток становится сильной стороной произведения. Ефремовский холодный оско-

почек «Туманности Андромеды» попал по назначению. Чуть суховатая уравновешенность в оценке окружающего — залог освобождения одновременно и от отчаяния, и от иллюзий; только такая манера поведения пассажира «пикирующего лифта» выглядит наиболее достойной.

Роман вялотекущей катастрофы только формируется в нашей литературе, но ему, вполне вероятно, уготована любопытная перспектива. В качестве художественного метода исследования нашего ближайшего грядущего этот роман будет незаменим. Хладнокровный (но не циничный) взгляд на катастрофу «изнутри» уже помогает читателю разобраться и в своих собственных возможностях. Конечно, это очень прагматичный подход к литературе, но научная фантастика давно уже привыкла к такой прагматике: она согласна быть чем угодно, хоть «инструментом», если таким образом она сможет в какой-то степени подготовить нас к завтрашнему дню. Когда-то, на заре перестройки и гласности, покойный ныне Алесь Адамович писал о необходимости «сверхлитературы», которая должна была бы, «взорвав ядерную бомбу в сознании читателя», уберечь нас от взрывов в реальности. Правда, с тех пор благодаря нашему славному поражению в «холодной войне» атомная угроза перестала быть дамокловым мечом. Однако идея Адамовича все же может иметь воплощение. Не исключено, что как раз новый «синтетический» жанр материализует этот давний замысел писателя.

Пожалуй, у этого жанра оказывался всего один, но важный недостаток: вектор его направлен лишь в одну сторону — в близкое будущее, без вариантов. В дополнение к «воспоминаниям о будущем» читателю фантастики, особенно сегодня, стали необходимы и произведения в ином жанре — «предсказаний назад».

Теперь уже всем доподлинно известно: мысль о том, что история-де не имеет солагательного наклона, родилась в недрах нашего агитпропа. Горячий камушек, придуманный Аркадием Гайдаром, был элементарной ловушкой, своего рода тестом на лояльность. Каждый человек рано или поздно осознавал необходимость «переписать» всю нашу жизнь набело, вернуться обратно, избегая прежних ошибок. Однако такой поступок однозначно воспринимался раньше как вызов «единственно правильному курсу», взятому несколько десятилетий назад. Лишь пьяньский герой Василия Шукшина однажды рискнул попросить у Николы-угодника «билетик на

второй сеанс» — да и то Никола при ближайшем рассмотрении оказался родным тестем, который сунул герою под нос старческий крепкий шиш и пообещал зятю вместо жизни «ишо разок» вызвать милицию...

После отмены пресловутой шестой статьи и цензуры жанр «альтернативной истории» получил в нашей фантастике широкое распространение. Причем, если для западных фантастов бестрепетный перебор вариантов «что было бы, если...» (если бы Наполеон выиграл Ватерлоо, если бы паровую машину изобрели еще в Древнем Риме и т. п.) имел и имеет характер невинного литературного пасьянса, то у нас отношение к «альтернативной истории» несравненно более серьезно. Во-первых, на нашем судьбоносном историческом пути есть несколько вопиющих развилочек, и сверни мы каждый раз в иную сторону, жизнь наша, возможно, могла кардинально поменяться. Во-вторых, в этом жанре любой наш писатель быстро забывает, что творит всего лишь х у д о ж е с т в е н н у ю реальность, и представляется самому себе почти демиургом, обладающим мистической силой в з а п р а в д у что-то менять (истоки этой мистики в нашем вечном «поэт в России больше, чем поэт»). Тем не менее, пока автор еще пребывает на распутье, выбирая между уделом писателя-экспериментатора и тяжелой должностью пророка («предсказывающего назад») в своем отечестве, — такая литературная фантастика может быть очень интересной.

Из множества развилочек в истории наши авторы в последнее время чаще всего избирали две: 1945 год, условно говоря, и год 1917-й. Другими словами, что было бы, если бы наша страна проиграла Великую Отечественную или — что еще более глобально — вообще избежала бы искуса Октябрьской революции.

Начнем с даты более поздней и с предположения, которое до сих пор выглядит более кощунственно. Почти одновременно увидели свет два произведения на эту тему — роман «Иное небо» красноярца Андрея Лазарчука и повесть «Тихий ангел пролетел» москвича Сергея Абрамова. Действие обоих произведений происходит, как и положено, в недалеком будущем — с той лишь поправкой, что прошлое, оставшееся позади, не такое, как у нас. Германия выиграла войну с нами более чем полвека назад. И что теперь?

При наличии одинакового сюжетного посыла оценки двух авторов совершенно расходятся.

Это расхождение в оценках на сегодня

нышний день оказалось едва ли не объективным: мировоззренческие позиции, отраженные в двух книгах, ныне обе имеют распространение. С одной стороны, увеличилось количество наших граждан, обиженных на события полувековой давности. Голодный и озлобленный совок, всегда с завистью поглядывающий на сытых и довольных побежденных бундесбюргеров, получил возможность высказать эти мысли открыто. Отличное баварское пиво плюс свежие охотничьи сосиски по сравнению с теплыми разливными пивными помоями и осклизлой останкинской колбасой издавна в глазах совка являлись очень серьезным аргументом в пользу умозаключения: лучше бы о н и победили нас. Конечно, кое-кто закончил бы свои жалкие жизни в Дахау, зато остальные, пережив некоторое унижение побежденных, сегодня бы уже без хлопот «кушали» свое пиво и разъезжали нанедорогих «фольксвагенах».

Сергей Абрамов, начав раскручивать данную гипотезу с некоторой долей иронии, очень быстро подпал под обаяние первобытного совкового мифа, вдруг с радостью осознав: ничего т а к о г о, особо страшного по нынешним временам в подобном варианте нет. Коммунизм был бы уничтожен превосходящими силами нацизма, а темная аура нацизма, глядишь, и рассосалась бы через десятилетие-другое. К тому же, по оптимистической версии С. Абрамова, в России «национал-социализм изначально отличался от его фашистского родителя... Он никого не давил, не ломал через колено, но, поставив во главу угла национальную идею вообще, дал толчок для развития идеи русской, татарской, башкирской...». Подавление свобод, лагеря смерти и геноцид — все то, что прежде выглядело символом конца цивилизации «хомо сапиенс» и торжества неандертальцев (с Гитлером в башке и с парабеллумом в руке), у Сергея Абрамова оказывалось всего лишь мелкой бытовой неприятностью, вроде возрастных прыщей. К моменту, когда в повести разворачивалось основное действие, Россия, вопрекинувшая под Гитлером, уже переживает капиталистический ренессанс. Правящая национал-социалистская партия ведет страну от победы к победе, рубль тверд, как никогда, Дума мудра, храмы исправно функционируют. Настоящий орднунг во всем. Внедрив в свою квазиреальность героя «простодушного» и отдав собственную сюжету лишь незначительную часть книжной площади, автор решил гордо продемонстрировать своему Ване достопримечательнос-

ти счастливо побежденной России: помимо пива и колбасы (Bier und Wurst) присутствуют и иные опознавательные знаки — газета «Куранты», «Спартак» и Пикуль на лотках. Каждому благу автор уделил положенное место, так что общая картина «России-которую-мы-обрели» стала похожей на амбарный реестр. Допуская, что писатель имел право и на такую версию, однако в рассуждениях о благотворном влиянии третьего рейха на Третий Рим есть элемент эпатажа довольно-таки гнусного свойства, похожий на деловитое взвешивание на исторических весах баночного пива и банок с «циклоном-Б» — с последующими вычислениями, что перетянет.

В отличие от С. Абрамова Андрей Лазарчук сумел провесты корабль своего сюжета между исторической банальностью и банальным святотатством. По мнению автора, победивший рейх через полвека ждал бы не веселенький орднунг бюргеров, но те же беды, что и победившую в реальности сталинскую империю: непреодолимые экономические противоречия регионов, лихорадочная перестройка, рост сепаратизма, эпидемия терроризма, расколы развал. Период полураспада общества примерно совпал у Лазарчука по времени с периодом реальной дезинтеграции экс-соцлагеря. И на обломках самовластья возникают почти одни и те же малосимпатичные физиономии любителей половить рыбку в мутной воде, политических авантюристов, выкорышей разведок и контрразведок...

Вся эта альтернативно-криминальная история представляет собой не столько стержень повествования, сколько фон — отменно детализированный и умело декорированный. «Иное небо» по форме тяготеет к классическому триллеру с крутыми поворотами сюжета. Динамика триллера соответствует характеру эпохи: гамбургская колбаса в продаже имеется, но вместо идиллии и порядка — один нескончаемый октябрь 93-го в Москве. В своем «альтернативном» жанре обе упомянутые вещи обнаружили некую явную типологическую близость к иным литературным разновидностям (утопическим и антиутопическим) отечественной научной фантастики: в образе гитлеровского псевдорая в России вдруг опять промелькнул осколочек умозрительной ефремовской гармонии; вариант же, предложенный Андреем Лазарчуком, вошел в резонанс с жанром вялотекущей катастрофы.

Самое интересное и неожиданное построение в жанре «альтернативной истории» предложил сегодня читателям уже

неоднократно помянутый в этой статье фантаст Вячеслав Рыбаков. Писатель, удачно попробовавший свои силы в области антиутопии и романа-предупреждения («Первый день спасения», «Не успеть» и др.), пришел к жанру романа-варианта совершенно сознательно.

Речь идет о романе «Гравилет «Цесаревич» — произведении, вызвавшем (судя по первым откликам в прессе) интерес за пределами традиционного круга любителей фантастики. Появлению этого романа предшествовали не только «Прощание славянки с мечтой», но и рассказ «Давние потери» — первая попытка Вячеслава Рыбакова замахнуться на злополучный горячий камушек.

«Давние потери» увидели свет в те времена, когда в отечественной литературе мощно лидировала так называемая «антисталинская тематика». Многие историки и публицисты, вытянув из прошлого кровавого Сосо Джугашвили в компании наиболее одиозных (не всех) «тонкошеих вождей» и пригвоздив их к позорному столбу своими раскаленными филиппиками, глубокомысленно считали, будто в с о с т а л ь н о е — oprичь этих монстров и выродков! — в минувшем было если и не совсем приемлемо, то уж, во всяком случае, вполне терпимо. Вячеслав Рыбаков, словно бы включаясь в тот общий хор, задавал свой невинный вопрос: «А что, если бы?..»

Автор интересовался очень простой вещью. Что было бы, будь товарищ Сталин не палачом, а исключительно душкой? А его соратники — сплошь ангелами и умницами? Ну, конечно, не было бы ни ужасного 37-го, ни мировой войны в 39-м. Все было бы чинно, благородно: технический прогресс, дружба народов, свобода творчества, отсутствие у высшего эшелона оскорбительных привилегий (в рассказе члены Политбюро зачитывают до дыр свежий — один на всех — номер журнала «Ленинград» с новой подборкой здравствующего Мандельштама). Неторопливая раздумчивая интонация автора не настраивала на подвох. Не сразу, ох, не сразу читатель понимал, что перед ним — хитроумная провокация, сплошное издевательство над сладкими мечтаниями либералов «с человеческим лицом». Ибо вся конструкция рассказа оказывалась выморочной от начала и до конца: не могло существовать в природе никакого «доброго товарища Сталина» и ангелоподобных большевиков. Иначе они просто были бы уже не Сталин и не большевики (будь Иосиф Виссарионович

действительно интеллектуалом-резонером из рассказа, давно бы ему лежать в яме вместе с умницей Молотовым и деликатнейшим Кагановичем). История и в самом деле являла собой карточный домик: попытка перестроить его, вытащив только одну подпорченную карту снизу, приводила только к тому, что валилась вся постройка. Невозможность с о в е т с к о й гармонии в принципе вдруг выпирала из рассказа, как гвоздь в ботинке, неожиданно впившийся в ногу. Рыбаков возвращал нас к первоначальному смыслу слова «утопия» — «место, которое находится н и г д е». То есть вообще нигде не находится, кроме воображения. В финале рассказа несколько штрихов (типа Кузнецкого моста, ставшего здесь на самом деле мостом через реку) помогли понять самым непонятливым, что перед нами н е н а с т о я щ а я Земля. Земля, где людские мозги устроены принципиально по-другому. Сказочное тридевятое царство. Мир, которого не может быть, потому что не может быть никогда.

Читая первые страницы романа «Гравилет «Цесаревич», можно было подумать, что предшествующий роману акт сакрального бития ефремовского зеркала оборачивался для автора серьезными последствиями: самое большое количество осколочков пришлось именно на долю самого Вячеслава Рыбакова. На первый взгляд, «Гравилет «Цесаревич» был создан в ошеломительном жанре утопии — разве что с поправкой на альтернативность. Как и в «Давних потерях», автор поднял руку на исторический камушек, только, казалось бы, всерьез и без невероятных экспериментов с ангелоподобным Кобой.

Действие романа разворачивается в самом конце 90-х годов нашего столетия. Правда, в не совсем обычном будущем. В мире, созданном воображением писателя, российская история не оступилась, как в 1905-м, и уж тем более не съехала с рельсов в 1917-м. Соответственно и прочие страны вокруг не совершили своих роковых ошибок.

Перед читателям возникает Российская империя конца XX века — конституционная монархия со столицей, естественно, в Санкт-Петербурге, с заботливым государем и прекрасно функционирующими министерствами, и всем правительствующим сенатом. А коммунизм... Коммунизм остался в качестве одной из распространенных религиозных конфессий. Ни экономической, ни политической основы у здешнего коммунизма нет, есть лишь морально-

этическая составляющая. Никакого насилия. Никакого «взять все, да и поделить». Философия самосовершенствования и любви к ближнему. Коммунисты в России В. Рыбакова пользуются равными правами с православными христианами, буддистами, приверженцами ислама и т. п. Кстати, и главный герой романа — полковник Министерства государственной безопасности Российской империи князь Александр Львович Трубецкой — по сюжету убежденный коммунист. В рыбаковском, конечно же, фантастическом смысле: любит ближнего, как самого себя, да-с.

Первая часть романа — тонкая и умелая стилизация. При чтении произведения нет-нет да и вспоминаются забавные ныне романы-предвидения, которые писались в России в начале века и имели в виду наши дни. Общество все то же. Но мостовые почище, городские полюбезней, полуштоф водки подешевле, а стакан сельтерской в любой лавочке вообще стоит сущие пустяки. Опрятные извозчики раскатывают сплошь на надувных шинах, экипажи на мягких рессорах. На некоторых установлены мощные бензиновые двигатели. А в небе над Петербургом много-много аэропланов и монгольфьеров разнообразной конструкции.

Будущее, придуманное В. Рыбаковым, довольно похоже на эти умильные древние романы-прогнозы. Правда, наука шагнула далеко вперед за пределы фантазий об аэропланах и фаэтонах, начиненных двигателями внутреннего сгорания: «На стационарные гелиоцентрические орбиты в промежуток между орбитами Земли и Марса предполагалось обычными беспилотными устройствами с жидкостным приводом забросить две серии мощных гравитаторов, которые... обеспечивали бы перемещение корабля практически любого тоннажа с постоянным ускорением десять метров в секунду». Признаться, эта технологическая научно-фантастическая заумь (к счастью, в романе ее очень немного) одновременно с «Вашим высокопревосходительством», «любезнейшим», «целковым», «батенькой» смотрит куда забавнее, чем даже одинокий твердый знак в конце заголовка теперешней газеты «Коммерсантъ». А все общество кажется попервоначалу таким аксеновским Островом Крымом, чудесным образом распространившимся на всю территорию Советского Союза. И, стало быть, никакой угрозы извне миру В. Рыбакова (в отличие от хрупкой аксеновской гармонии на отдельно взятом острове) нет и не предви-

дится. Тишь, гладь, божья благодать и сплошное дружеское окружение; гигантский проект, о котором шла речь в технической цитате, натурально, совместный: Россия, Североамериканские Соединенные Штаты и прочие страны на подхвате... Кажется, В. Рыбаков уже приучил своего читателя к жестким экспериментам, однако описанная Россия-Утопия выглядит так занимательно!

Однако стоп. Всмотритесь. Перед нами вновь «нигдея». Как и в случае с «Давними потерями», это — ненастоящая Земля. Мало того: настоящая Земля никогда не вступит в царство такой гармонии. Вот она, и с т и н н а Земля: маленький шарик, выращенный под стеклянным колпаком в подвале одного из немногих оставшихся на благополучной Земле-2 безумных ученых. Малявки на шарике и не знают, что очень давно всю их планету-игрушку обработали особым химическим составом, провоцирующим всегдашний дух конфронтации во имя... Во имя чего происходят войны, революции и прочие «неслыханные перемены и невиданные мятежи», микроскопические политики и философы потом объяснят, придумают много красивых слов. Там, на маленькой Земле. Маленькой, как шарик «уйди-уйди».

Роман больно бьет по нашему самолюбию. Читая романы из серии о падающем лифте, мы еще можем надеяться, что рано или поздно скорость падения будет замедляться и, в конце концов, есть шанс на мягкую посадку. Мы можем еще, пожалуй, смириться с ожесточенным скепсисом рыбаковских «Давних потерь» (какая, мол, утопия при проклятых большевиках!). Но наблюдать уничтожение только что обретенной идиллии «России, которую мы потеряли», для многих нестерпимо. Наши историки и услужливые публицисты только-только отыскивали было утопию в прошлом, в эпохе «до 17-го года», которую бы только почистить, смазать хорошенько, и, родимая, сама пойдет вдоль по Питерской... И в этот самый момент фантаст вновь доводит понравившуюся многим идею до абсурда. Мол, утопия возможна. Если состав атмосферы будет другой. Избавьте Землю от ненависти и страха — вот все и образуется. Всего-то. Пока же извините: не будет вам ни дружбы с братством, ни мирного вспомоществования, ни мудрого государя-императора.

Вдобавок ко всему даже счастливой Земле-2 (прекрасному и неяростному миру) угрожает опасность. Наш мир, запаянный под стеклянным куполом, начинает таинственным образом влиять на утопическую

реальность, коража ее. Ибо мы не просто отравлены, но и способны своими эманациями отравить всех окружающих — даже сильный и красивый макромир вокруг. Это мы можем, этого у нас не отнять. И вот уже тишайший обыватель из obsługi гравилета его императорского высочества подкладывает бомбу в летательный аппарат, на котором путешествует Великий князь. Зачем? Сам понять не может. Безумный мир взаимодействует со здравомыслящим. Поскольку безумный мир (наш) реален, а здравомыслящий придуман, утопия дает слабину. Пораженный безумием инженер, соотечественник милейшего князя Трубецкого, начинает вдруг бормотать кошмарные анпиловские лозунги про красное знамя, которое надо поднимать выше, и про необходимость восстановить порядок в мире «чистоплюев блаженненьких».

Роман «Гравилет «Цесаревич» — вещь более чем печальная. Альтернативная утопия при ближайшем рассмотрении оказалась антиутопией, несравненно более тра-

гической, чем все, написанное фантастом ранее. Жизнь, начатая сначала, полагает автор, может получиться удачной, но только не у того, кто разбил горячий камень. Тем не менее роман исполняет одну из своих функций и становится в самом деле полезным предупреждением. Художественно убедительная альтернативная фантастика избавляет нас от иллюзий. Трагический результат мысленного опыта все равно является результатом. Не будь подобных произведений, мы могли бы и впрямь себя уверить, что наша самая большая беда — не иметь доступа к возможности прожить жизнь вторично. Теперь же выясняется, что самое страшное не в этом. Самое страшное — прожить в т о р у ю жизнь так же бездарно, как и первую. Потому что второй шанс наш еще не иссяк, зато третьего уж точно не будет.

Фантастика позволяет нам самим сделать выбор. Зеркала нет, и мы смотрим правде прямо в глаза.

Александр Зорин

## Выход из лабиринта



9 октября 1962 года выдалось солнечным.

Горстка молодых людей толпилась у ворот Новодевичьего кладбища, куда должны были в тот день привезти из Елабуги прах Марины Цветаевой. Таков был слух, а возможно, что и намерения писательского начальства, которому могло быть неизвестно, что могила Цветаевой затеряна. Возможно, и послали в Елабугу какую-нибудь комиссию, надеясь отметить семидесятилетие поэта славным перезахоронением. Мы — молодые поэты — пришли к Новодевичьему утром и проторчали там, никого не дождав-шись, до позднего вечера.

Только-только вышла серенькая книжечка ее стихотворений, попавшая ко мне, увы, год спустя после той несостоявшейся встречи. А тогда я знал понаслышке, что Цветаева великий мастер стиха и давно узаконила корневую рифму, которой эффектно фехтовали популярные стихотворцы, а мы принимали их упражнения за новаторство.

Кого мы только не читали... Голод по исповеднической правде поднял на поверхность мириады ложных открытий. До чтения Пушкина еще было расти и расти, продираясь сквозь дебри самообразования. Я не пропускал ни одной газетной полосы на стендах, где пестрели колонки стихов. Поглощал все, что печаталось в Москве, в Питере, брат привозил мне поэтические сборники из Иркутска. В любой провинциальной дыре, где оказывался, я разыскивал книжный магазин и увозил с собой местные стихотворные изделия. Такая всеядность не могла не сказаться на вкусе. Наступила интоксикация, которую я смутно почувствовал, — отравление души. И однажды я набил своими сокровищами два чемодана и принес их в букинистический. Букинисты выудили из чемоданов несколько сборничков, остальное я высыпал тут же у входа в урну; образовалась гора, и книготорговцы попросили меня отнести гору куда-нибудь подальше.

Но это уже было время, когда с Цветаевой я не расставался и синий том Библиотеки поэта (Большая серия) носил с собой повсюду, открывая в транспорте, а то и на ходу, запамятовав какую-нибудь строчку.

Я ею всерьез заболел, как заболевает горячо влюбленный молодой человек. Ее горечь, непримиримость обострили характер. Я стал писать ее стилем, разумеется, эпигонским. Это было полное и безоговорочное принятие ее законов — в искусстве и в жизни. Исповедание веры, которое она начертала на своих знаменах — «ОДНА ИЗ ВСЕХ, ЗА ВСЕХ, ПРОТИВУ ВСЕХ!» — стало моей заповедью. Я заказал красивую дубовую раму под ее увеличенный портрет и смотрел на него, наверное, так же, как она в юности на портрет Наполеона. Она, между прочим, поместила портрет Наполеона в киот, на место иконы. В семье никто не мог противиться ее дерзости. Отец, поглощенный искусством и сохранивший нерадостные воспоминания о своем детстве (сын сельского священника), не придавал значения увлечениям старшей дочери. Правда, однажды он сказал одной из дочерей, показав на икону: «Все, кто не знают Бога, кончают самоубийством». Кончать самоубийством тогда было модно, безверие открывало широкие врата «серебряному веку», через которые прошествуют многие наши кумиры. Юная Марина пыталась застрелиться в театре во время спектакля «Орленок». Смерть была бы обоснованной: Ростана Цветаева боготворила. Но, слава Богу, револьвер дал осечку.

Коренные вопросы бытия, мучившие с детства, не отпустили ее всю жизнь. «Что такое человек?», «К чему все?», «В чем смысл всего?» — спрашивала она, вернувшись

в Россию, пытая безответную пустоту, потому что окружающие находили эти вопросы отвлеченными.

Конечно, ее поэзия на эти вопросы не отвечает, но фактом своего мучительного бытия задает их непрестанно.

В ту пресловутую хрущевскую оттепель и в последующую непролазную слякоть формирование личности моих сверстников начиналось с крайнего индивидуализма. В нашей молодой литературной среде царил дух насмешки, безжалостного сарказма. Что имело давнюю традицию. Еще до нашего рождения не кто-нибудь, а беззлобный Дмитрий Кедрин признавался: «У поэтов есть такой обычай: / в круг сойдясь, оплевывать друг друга». А те переняли эстафету от вольнолюбивых предшественников, которые, живя в пустынном квартале, как об этом пел Александр Блок, — встречали друг друга «надменной улыбкой».

Однако же чувство братства тоже теплилось... Странного какого-то троюродного братства, близости десятой воды на киселе. Потому что в минуты отчаяния хотелось выть «камчатским медведем без льдины» (Цветаева), и никакие компании, которые «нелепо образуются» (Евтушенко), не спасали. Казалось, что спасала Марина Ивановна, разделявшая твою благородную ярость к «бессмертной пошлости» и ко всяким там «читателям газет». Ницше, которого я узнал примерно в то же время, в учителя не годился, хотя его афоризмы запоминались. Не годился, потому что душа искала спасительной любви, тосковала по верности, надеялась все-таки на поддержку. Потому что душа, по выражению Тертуллиана, от рождения христианка. И даже исковерканная мусорным воспитанием, нет-нет да и вспомнит об идеале. А Ницше поучал: «Падающего толкни!» В силу своей горячности и заземленной природы я всегда находился по СЮ сторону добра и зла. Свехчеловеческая отстраненность меня несколько не убеждала. Звучало красиво, с поэтическим пафосом (Ницше и был прежде всего поэтом), но в кровь не вошло. Вошло цветаевское: ЗА ВСЕХ! ПРОТИВУ ВСЕХ! Это было абсурдом. Как можно, спасая всех, всех отрицать?.. У нее и в жизни так складывалось. Набрасывалась на первого встречного спасательным вихрем и тут же отторгала от себя. Думала, что тянет ввысь из последних сил, а действие выходило противоположным. О чем время спустя холодно свидетельствовала... Тогда я не мог понять, что мерилom ее высот была она сама. А это опасное измерение. Последняя ее записка к сыну так и кончается: «Попала в тупик».

Так вот, Марина Ивановна не знала, как спасти, но спасти рвалась, и это было так по-человечески, так понятно...

Один из коренных русских характеров, изображенных Лесковым, — Катерина Измайлова, леди Макбет Мценского уезда. Живучий образ ослепленной любви, любви убивающей. Той, что возникла в Эдемском саду, когда люди нарушили первый союз с Богом, поставив себя на Его место. Преступая заповедь, они, любящие друг друга, оказываются смертными. Их отступничество повлекло за собой смерть, то есть оказалось самоубийственным шагом. Слепая любовь живет и сегодня там, где не освящена искупительной жертвой. Россия для нее подходящий полигон. Сколько несчастных матерей, не просветленных любовью, исковеркали жизнь своим чадам.

Анастасия Ивановна Цветаева вспоминает: «Я воспитывала сына в понятиях добра и зла. Марину же интересовали только ум и талант, и она пожала плоды, воспитав сына, который только себя признавал, и дочь, которая всеми интересами своими пошла в отца». И дальше: «Марина не воспитывала детей в понятии добра и зла. Она нарушала пятую заповедь. Она растила идолов». Анастасия Ивановна намекает на то, что у них с сестрой была дурная наследственность, имея в виду семейную ситуацию, неверность Марии Александровны, их матери, своему профессору-мужу. Но русский поэт Марина Цветаева наследовала традиции не только семейного круга. Ее питали сосцы русской культуры, фольклора — со сказками Афанасьева не расставалась. В ней кипела природная сила, не сдерживаемая никакой заповедью — ни пятой, ни седьмой. Ее великий дар, возвращенный спартанским мужеством, сравним с духовным богатством, которое имела Россия. Дитя России, Цветаева унаследовала ее характер: жертвенный и... деспотичный в своей жертвенности. Там, где жертва перестает быть добровольной, она оборачивается насилием. Русская революция — яркое тому свидетельство.

Живу — никто не нужен!  
Взошел — ночей не сплю.

Согреть чужому ужин —  
Жилье свое спалю!

Как это настроение отвечало моим тогдашним неразборчивым сближениям! Ледяное одиночество и сумасшедшее пламя близости. Крайние состояния, которые в отдельности вовсе не чисты, не самостоятельны и продержаться долго не способны. Неправда, что никто не нужен в одиночестве. Безотчетно, безутешно — еще как нужен! Иначе откуда пламенное желание пожертвовать последним, накормить, удержать... Удержаться — даже на расстоянии. Он, этот вошедший, ради которого пожертвовала всем, — и мой и не мой, и здесь он, и нет его вовсе! А может, и меня нет, нет моего места на земле, моего дома, который я одним чохом спалила — ради чего? Ради кого? Смутное, отнюдь неблагословенное чувство после такой жертвенности. «Просты наши законы: написаны в крови». Цветаева не оговорила: в крови. А не на скрижалях Завета. И поэтому законы двойственны, природны. Они водят по кругу, все уже и уже стягивая к последней точке, к петле.

Проста моя осанка,  
Нищ мой домашний кров.  
Ведь я островитянка  
С далеких островов! —

пела моя душа, не имея ни друга подлинного, ни крова надежного. Есть далекие острова, мечталось мне, где и сегодня возможно открыть неизведанный мир, новые краски.

Закат Европы еще до шпенглеровских прогнозов многих погнал на Восток — Киплинга, Гогена, Рериха, Гумилева. Оттуда веяло иной реальностью, новой религией. Какова «старая», европейская, узнавать было неинтересно. А ведь цветаевское «с далеких островов» перекликалось с евангельским: «Царство Мое не от мира сего». Тогда этой замены я не понимал. Всякая нездешность казалась неотмирностью, притягательной, как таинственный Таити. Цветаевский голос звучал тоже не от мира сего. От какого — неважно, главное, что не от этого, навалившегося явной безысходностью «на бабочку поэтиного сердца». «Гляжу на след ножовой: / Успеет ли зажечь / До первого чужого, / Который скажет: пить». Чужой — здесь ключевое слово. Потому что в с е чужие, невзирая на степень физической близости. И об этом, как о гарантии «свободы», забывать нельзя. Накормлю, последнее отдам, но все равно чужой, хотя и был на мгновение близким. («Родные ли мы?...» — так, помнится, называлась неопубликованная повесть моего друга.) «Ну, а ушел — как не был, / И я — как не была». Как говорится: с глаз долой; из сердца вон. Ненасытная самоотдача — «Жилье свое спалю» — вызывает иллюзию родства, мелькающую череду постояльцев. Но природные силы иссякнут в конце концов, и будет с горечью объявлено: «Пора гасить фонарь наддверный...»

В евангельской притче о благоразумном самаритянине говорится о левите и священнике, прошедших мимо страдания, переступивших через несчастного. Разве они были неверующими? Возможно, даже шли на молитву в храм, засвидетельствовать свою веру. И верующий человек, близкий, казалось бы, к страданию, способен переступить через него и идти, не оглядываясь, дальше. Влечение и безразличие к ближнему, завязанное цветаевским морским узлом, всего лишь силовое сведение крайностей, надолго не рассчитанное. Сердце, ищущее мира, надежности, жизни будущего века, — не может полагаться на импульсивную любовь.

Это по-русски, это в русле нашей истории — бросаться за искупительной помощью, за евангельским откровением не в Церковь, а к писателю — властителю дум. Русская Церковь веками отвращала страждущих. И они, дозревшие до исповеди, потянулись к Гоголю, Толстому, Достоевскому, откровение которых разве что по букве было схоже с евангельским.

Совсем не обязательно поэту быть столпником, религиозным подвижником. Это мы в своих путаных поисках хотим видеть его таким и теряемся перед несоответствием видимого и идеального. Гениальность может не соответствовать святости. Пушкин — тому первый пример. Хотя и внушал нам: «Гений и злодейство — несовместны». (Так и хочется возразить: не должны быть совместны!) Гениальность и злодейство подлежат

разным оценкам. Гениальность — не моральная категория. Пушкин же и уверял, что «поэзия выше нравственности — или, по крайней мере, совсем иное дело». Дар, отпущенный свыше, может быть использован и во зло. Мало ли в человеческой истории Наполеонов! У Цветаевой Наполеон помещался перед глазами, а точнее — в сердце, ибо с детства была близорука. Гений — божество римской мифологии — может быть добрым или злым. Идиоматическое — «злой гений». И перед нами вечный выбор: пойти за тем или за другим. Человек волен выбирать свой путь — на то и дана человеку свобода.

Художник и святой не всегда идут одним путем. Разумно ли хвататься за творчество, как за святость? Святость не синоним творчества, хотя без творчества неосуществима.

Художник, даже великий, может оказаться беспомощным. Марина Ивановна не стеснялась признаваться в этом. Почувствовал свое бессилие и Пушкин, когда его, смертельно раненого, взял на руки из саней Иван Козлов и понес по ступеням в дом. «Грустно тебе меня нести?» — спросил Пушкин.

Святой же, сознавая свое недостоинство, беспомощным и одиноким, наверное, никогда не бывает. Помощник — Господь — всегда рядом, хотя и страшно сознавать Его присутствие.

Сегодня, когда Россия на ощупь выкарабкивается из выгребной ямы, где так долго отлеживалась, нас еще более мучит желание свести творчество к нравственному подвигу. Отсюда обостренный интерес к личной жизни художника. Соответствует ли идеалам, о которых распинается?.. Россия мучительно ищет пример. Должен же быть!!! Ни в политике, ни в искусстве, ни в Церкви пока не находит. Пример Александра Меня, пророка в своем отечестве, увы, остается за семью печатями.

Порыв Цветаевой-поэта устремлен к высшей правде, к горнему миру. Но, доверившись ее порыву, разбиваешься о мир дольний, которому поэт-человек отдает рабелепную дань.

И потому вывести из лабиринта она не способна. А я в пору своей припозднившейся юности искал именно такого поводыря, которого она предлагала в Крысолове, в своем Тезее. Ее откровение — свободы не приносило. И даже напротив, следуя за ее чарующими звуками, все большее и большее ощущал себя в плену окружения, в стае крыс, бредущих куда-то...

Из тупика только два выхода: в смерть или на свободу. Можно, конечно, всю жизнь топтаться в тупике, полагая, что это и есть преддверие свободы, ожидающей нас за последней чертой. Но такая межеумочность — не в цветаевском духе. Она настаивает на абсолютной ясности, на исчерпывающем ответе. Она и подтолкнула к книге Иова. Иов, сидящий на гноище, о том же спрашивал. Нищий, одинокий, уже полутруп, он вдруг поверил, что все с ним случившееся имеет таинственный смысл и обещает спасение. В нем зародилось доверие к Бытию, и он получил ответ. Доверие к Бытию вывело из тупика Авраама, Моисея, оно поддерживало Деву Марию в самые страшные и непонятные минуты жизни. И его — доверия — может не оказаться в поэте, в «сыне гармонии» (Блок).

Читая ее письма, как не вспомнить пушкинское:

Не для житейского волненья,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв.

Но «От судеб защиты нет» — сказано уже в преддверии XX века. Битвы и житейские волнения не обошли никого из крупных русских поэтов. Правда, житейские волнения не исключают молитв; чаще всего они-то их и рождают. Цветаевский стон под глыбами судьбы, удесяттеренный в письмах, — развернутый комментарий к пушкинским строкам... Но разве поэзией она не преодолевала гнет жизни? «Так и в гробу, и под доской». «Петь не могу!» — «Это воспой!» Воспеть уже стало невозможно физически. «Полны руки дела», а голова — бредом неисповедимых подстрочников или мыслями о близких. «Когда писать?» Грянул час в русской истории, у поэта отняли все (не это ли предсказывал Блок?..), писать стало НЕКОГДА.

Что же, и смысл жизни иссяк? И можно ставить точку? Значит, поэт действительно рожден для сладких звуков, отсутствие которых — для него — превращает мир в

газовую камеру?.. Мне, литератору, добывающему хлеб насущный не литературой, трудно было с этим согласиться. И я догадывался, что ее уход — не выход из тупика. Если и в наше казарменное время рождаются поэты, значит, не иссяк источник для их вдохновения и есть откуда черпать сладкие звуки и молитвы.

И тут пришел на помощь опыт ГУЛАГа. Новейшая литература, рожденная под его жерновами. Не просто литература, а небывалый опыт сопротивления смерти. В таких масштабах смерть никогда не сваливалась на человечество. И дух, противостоящий ей, вселял надежду... Дух, подсказывающий, что только приобщение к Истине делает человека свободным.

Не корректирует ли время миссию поэта? Мне сейчас роднее не просто сладкопеец, не просто сын, а свидетель Гармонии, печать которой он чувствует на себе с детства, когда «от мамки рвутся в тьму мелодий». Совершенные звуки — это его язык, на котором он сначала лепечет «года в два», а потом свидетельствует о явном и сокровенном, о непостижном, целостном Бытии, о великом Замысле, который для каждого человека — благо.

Куда улетучилась святая Русь, воспетая Нестеровым и Шмелевым? 17-й год не оставил от нее даже облачка. Да была ли она на самом деле? Многомиллионная армия палачей — чекистов, гепоушников, энкаведешников — родилась не в России ли во время, когда как раз возрождался миф о святой Руси? Как шелуха слетела с них религиозность, зато марксистская идеология усваивалась с завидным прилежанием. Марина Ивановна святоотеческую мифологию не жаловала и видела, что русский мужик, по замечанию Толстого, талантлив, но жулик. Обладатель той самой гениальности, которая очень даже уживается со злодейством. А мораль — приспособливалась к обстоятельствам. У вождя — своя мораль, у палача — своя. У холопа, у обывателя, у поэта — все пользовались моралью, как калошами: смотря по погоде... Блок, отчаявшись, в конце жизни написал о себе: «Слопала-таки проклятая, гугнивая, родимая матушка-Россия, как чушка, своего поросенка». То же самое могла подумать о себе Цветаева. Но она предьявила счет не России, с которой ей ли считаться? Два цветаевских дома, две библиотеки, немалые деньги из банка — все заграбастала себе матушка-Россия. Но что с нее взять! Не ведает, что творит. А кто ведает? Германия, захватившая пол-Европы? Любимая, тоже с детства всосанная с молоком, Германия... Безумный мир! Кто же довел его до этого состояния? Кто ведает? Один Бог... Ему и счет. Пора расквитаться. «Пора — пора — пора / Творцу вернуть билет». Да и куда приехали? В тупик. Нет. «Не надо мне ни дыр / Ушных, ни вещей глаз. / На твой безумный мир / Ответ один — отказ».

Но отказ был и раньше, только наполовину. Принятие-отказ одновременно.

Мой путь не лежит мимо дому — ничего.  
А все ж с пути сбиваюсь.  
(Особо — весной!),  
А все же по людям маюсь,  
Как пес под луной.

Принять-отринуть — давнее состояние болезненной раздвоенности.

И сегодня толпы людей, видя ужас враждующего мира, спрашивают: куда же смотрит в аш Бог? Почему допускает столько беззаконий? Вопрошающие хотят видеть в Создателе главное должностное лицо, отвечающее за порядок. Хотели бы иметь больше гарантий в нашей нестабильной действительности. Но не юридические законы устанавливает Творец Вселенной. Прежде всего Он взывает не к праву, а к совести каждого: не ты ли повинен в крови, льющейся вокруг? Отступничество — твое, а не соседа, не жиды, не атеиста, не президента, не царя и прочей неблагонадежности. Чувствовать себя причастным злу и не мириться с ним — удел призванных, рискнувших ПРИНЯТЬ этот мир, как колосющееся поле, где — до поры, до времени — растет еще немало сорняков.

В голове не укладывается, будто она не знала: Богоотступничество — смерть. Что попрание заповедей чревато самоубийством — медленным, на протяжении жизни, или мгновенным. Впрочем, мгновенного, как сама писала, не бывает.

Немцы, поверившие Гитлеру, равно как и русские Ленину — Сталину, ступили на путь гибели, и война — закономерный этап этого пути. Знала. Но одно только знание не умиротворяет душу, которая мечется, как столб дыма над потухающим костром. За год до смерти она уже искала глазами крест... Она сдалась уже во Франции, когда с горькой

очевидностью поняла, на кого работали Сережа и Аля. Дальше жизнь катилась по инерции — возвращение, иллюзорность семьи, безответная любовь к сыну, суррогат творчества — переводы, сердечные самообольщения, боязливая, озирающаяся по сторонам слава.

На протяжении последних сломленных лет судьба не раз протягивала ей руку помощи. Вплоть до собрания — пусть унижительного — в Чистополе, где ее решено было прописать. Продержалась бы месяц... В октябре в Чистополь приехал Пастернак, многие семьи из Татарии перебрались в Ташкент... Но она была уверена, что кругом беззащитна.

Спассти ее могло только ПРИМИРЕНИЕ.

Не оправдание безумства мира, а ПРИМИРЕНИЕ с ним — с безумным, с больным, но не безнадежным. Она и сама уже была «тяжело больна». Как больна языческим христианством Россия, ввергнувшая себя в пучину революций.

Да не примет ее душа мои мелькающие мысли за брошенный в нее камень. Она выпила свою чашу до дна. Она и в предсмертной икоте осталась поэтом, тем, каким понимала его назначение в мире. Неуместно, может быть, здесь сказать, но ее предсмертная записка Муру — это та же плазма неукрощенной поэзии, которая не остыла в ней до последней минуты.

Не переставая любить Марину Цветаеву, я однажды запретил себе ее читать. Снял со стены портрет, оставил только маленький на книжной полке. Понял, что попал под нее, как под поезд, что ею невольно подпитываю страсть к растрове. Нет, я не пытался противопоставить ей поэзию более уравновешенную. Ее напряженные диссонансы, внезапные смысловые аккорды, бесконечные, срывающиеся в бездну анжабеманы, прерванная на полуслове, ушедшая в сторону и вновь продолженная фраза, ее дыхание, неуместное в объем грудной клетки, — все это не разрушает гармонии, а расширяет ее диапазон, где уже не хватает знаков препинания. Нет, на уровне «вдохновения и сладких звуков» она оставалась для меня поэтом гармонического склада. Дисгармония на уровне личности — вот что останавливало. Ибо шел на ее пророческий голос, ища защиты, а она сама искала — гадалку...

Теперь я понимаю — то не пророческий голос, а раскаленный лирический, только небывалых глубин и высот, на какие выбросило ее народное бедствие.

# — Привет, соседко!

Рубрику ведет Лев Аннинский



Домовой, он же доможил, пестень, лизун, соседко,  
братанушка...

*Энн Ветемаа. Домовой Пеэтрус.  
Перевод Александра Томберга*

Когда-то я живописал Энна Ветемаа и его героев в окружении реторт. Статья называлась «Фауст в маске Мефистофеля». С тех пор прошло восемнадцать лет. Последние пять из них были годами тоски, гаснущего контакта и едва теплящегося интереса: как он там, в своей отделившейся Эстонии? Как вообще они там, наши европейцы, нас покинувшие?

Они там — в большом порядке. И он там, как выясняется, — в своем жанре: в окружении реторт! Ну, верен же себе: мензурки, пипетки, плошки, колбочки, тигли. Магические числа. Алхимия, алфизика, алботаника. Пестики, пылинки, плодоножки, пистиллум, партеогенез. Сода и сера, содом и гоморра. Флора и фауна. Вши, муравьи и прочая насекомая нечисть, словно вновь вылупившаяся из «Яиц по-китайски».

Эти «Яйца» и другие маленькие романы Ветемаа поразили когда-то русскую критику: она долго замороженно и подозрительно принималась к ароматам лаборатории. Хорошо еще, к запахам анатомички примешивались пары доброго рейнвейна, который, впрочем, и теперь имеется в творческих погребках нашего героя.

Тогда, в блаженной памяти семидесятые годы, эта алгоритмическая проза (вообще интеллектуальная проза эстонцев, а Ветемаа в особенности) воспринималась как демонстративный уход из царства суконно-бархатной повествовательности. Лучше в колбу, чем на просторы социалистического реализма! Так мы это тогда воспринимали (хотя не всегда так формулировали).

Теперь, в новом романе Энна Ветемаа «Домовой Пеэтрус», подобная алхимизация работает на принципиально ином фоне. Просторы социалистического реализма отступили в небытие и развеялись, как дурной сон; суконные рыла идеологических критиков там, в имперском страшном сне, и остались. Эстонская душа нащупывает собственную почву; эстонская культура озабочена самоидентификацией; эстонская государственность строит свой собственный дом; эстонская литература его обживает.

Фауст, сдвинувший набекрень маску Мефистофеля, занимается изготовлением Домового.

На изготовление Домового мобилизованы следующие компоненты: бочки, тележные спицы, санные полозья, лапти, постолы, старые мешки, а также обрывки юбок и штанов... Эти кучи хлама переходят в стадию самооживления, и тогда глаза, уши и космы отрастают сами собой. В результате является нечто маленькое, горбатенькое, косматенькое и трясущееся, как пес на краю лужи.

Тут, пожалуй, вдумчивый читатель прервет мои контекстовые изыскания, уловив в них, и не без резона, отзвук ерничества. Он скажет, что муки суверенизации негоже сопрягать с хламными метафорами. Он заметит, что Энн Ветемаа начал писать своего «Домового Пеэтруса» в ноябре 1989 года, когда эстонское самосознание еще не переступало магической черты регионального эксперимента, планируемого в рамках общесоветской системы; окончен же роман о Домовом в августе 1990-го, когда еще целый год отделял Эстонию от окончательного слома системы и от освобождения в самобытность. Пожалуй, еще и процитирует мне строгий читатель то место из «Домового Пеэтруса», где Энн Ветемаа прямо предупреждает: нечего ухмыляться! Не уподобляйся зубоскалам! Не кощунствуй!

На это я отвечаю, что такого рода ухмылки и прочие стилистические провокации —

вполне в духе самого автора. Когда Энн Ветемаа писал травестийные вариации на темы «Калевипоэга», его вполне можно было упрекнуть в зубоскальстве и в кощунственном обыгрывании национального эпоса, однако, как сам он сказал бы: «Только саддукеи (и фарисеи — добавлю я) могли бы ТАК прочесть «Воспоминания Калевипоэга». Что же касается «Домового Пеэтруса», то хоть и писался роман «до независимости», однако читается — «в самое время». Как известно, проекты, которые ждут реального осуществления, прежде испытываются в воображении художников.

И наконец, сам Энн это упреждение объяснил в эпиграфе к роману: «Камень существует еще до того, как ты его получишь...» Дальше метафора обрастает чертами и запахами: «...но в тот самый момент, когда ты попытаешься его извлечь, он чаще всего рассыпается в прах. Кому же хотя бы на миг удастся на него взглянуть, тотчас же зажмет нос от страшной вони».

Ну, что же, зажмем нос и выпустим вонь из колбы алхимика на исторический простор.

Действие романа происходит в начале XIV века, «в тот благословенный период жизни эстонского народа, когда над его отчизной занималась заря христианства, в душе народной пускало ростки вероучение Господне, приветливые монахи крестили язычников», а Святой Престол еще не начал рвать эту землю на части, соперничая с тевтонским рыцарством (и «русские с востока» еще не явились).

Впрочем, уточняет Энн невинным голосом, «в начале XIV столетия на нашей милой эстонской земле существовало несколько относительно независимых, а потому враждующих друг с другом государств».

Фирменная ухмылка, с которой это нам сообщено, не мешает повествователю, переступив через дурные геополитические предчувствия, поставить опыт с предельной (лабораторной) чистотой и выяснить следующий важный вопрос: можно ли примирить первозданную, земляную, народную, языческую, сугубо эстонскую самобытность — с некоторой Чистой Идеей, то есть с «мировой духовностью», то есть (как скажем мы сегодня) с «общечеловеческой цивилизацией», в роли которой выступает у Ветемаа католическая ортодоксия?

В стилистике «Домового» это преломляется так: станет ли скотина пить святую воду?

Станет. Но, с другой стороны, «лапотник остается при своих чунях», и мужики, согнанные на площадь присутствовать при сожжении богохульника, тупо смотрят на святой костер и думают про себя: «Опять целый день накрылся, а надо бы на гороховое поле итить» (еще раз оцените работу переводчика).

В общем, тут есть некоторое неразрешимое противоречие. Конечно, «на таящиеся в святой воде силы ничто не может повлиять», но «по сравнению с квартой или квинтой всякая терция:уводит в сторону от Великой Чистоты». Мужик эстонский крестится привычно, но верит не очень, да ведь «если бы мы верили во все, что делаем, то до чего бы тогда докатились?» — с травестийной осторожностью спрашивает нас автор, и мы его понимаем.

Так что приходится подмешивать одно в другое. Сочетать Великую Чистоту, пришедшую с берегов Тибра (или Эльбы), и доморощенный навоз. «Святая вода с говнецом», — определяет Энн Ветемаа рецепт этого стилистического зелья. Применительно к духовному зрению рецепт оборачивается советом носить повязку, перекидывая ее то на правый, то на левый глаз, в зависимости от того, в черном или в розовом свете ты хочешь увидеть эту жизнь.

Что же до сюжета (роман все-таки), то дело кончается, увы, сожжением Домового. Аутодафе. Конечно, Пеэтрус — милейшее существо, он охотно выполнял крестьянскую работу, ходил на гороховое поле, он усердно молился и даже вырезал из репы трогательную головку нашего Спасителя, но наивная прямота, с которой этот сотканный из праха житель эстонского Дома судил о нашем Спасителе — он считал, например, себя его братом... но не будем вдаваться в идейные ловушки, расставленные ему инквизиторами, — так или иначе Домовой Пеэтрус угодил-таки на костер. И погиб, взлетев в святое небо. Только какие-то тесемки и клепки посыпались вниз. Да нашли около потухшего костра «красное сердце Пеэтруса...».

«...Такое крохотное и вместе с тем такое большое», — завершает Энн Ветемаа свой исторический парафразис.

Завершаю и я свой — критический. Слава тебе, Господи, что эстонского Домового допрашивали в католической инквизиции, а не в православном Синоде! Что сожгли его именем Святого Престола, а не отправили в Сибирь на коммунистическое перевоспитание. И что Советская власть (а также Российская империя) наконец-то тут ни при чем.

In the long short story by ALEXANDER BORODYNIA there are mixed together passion and irony, half-detective mysticism and «sketches» on everyday life. The scene is laid on board of a ship bearing tourists to the Big Solovetsky island, where a whole monastery has been destroyed at the time of Stalin's ruling.

NICKOLAY SHMELEV, a well-known economist and author. Reckless Greta.

Where does the life begin and where does the art end? The events described in this long short story are seen through Peter Breigel's sight. The canvases of the great artist are reviving under the pen of N.Shmelev.

SOPHIA GRIGOROVA-ALIEVA. I Kiss You In Your Lips.

This novel by a well-known Bulgarian prosaist has been prohibited in her country until quite recently. It is a story of an intricate, nearly tragic love, of a hard life totally dependent on the social collisions of the epoch.

YOCKO IRINATY. With Scarlet Indian Ink Over Black Silk.

This is an example of belated Russian postmodernism. Quite original verses of Natalia Bogatova and Irena Ermackova pretend to be translations from certain Japanese medieval poetess' tankas, though they obviously bear the stamp of puerly Russian impetuosity.

VALERY ALTUHOV, a well-known Russian philosopher, proposes scientific explanation of some social matters of current interest.

We Are Alone Plus a Broken Mirror.

A criticist from Saratov ROMAN ARBITMAN analyzes modern Russian science fiction, concentrating on the «mutant genre» (the author's definition) of a «limp catastrophe» and «an alternative course of the History».

**Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию-изготовителя, указанные в выходных сведениях журнала.**

**При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.**

*Технический редактор* Анна Селиверстова

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор — 291-62-27, заместитель главного редактора — 291-62-49, заместитель главного редактора и секретариат — 202-52-03, зав. редакцией — 291-62-27, отдел прозы — 291-85-10, отдел поэзии — 291-63-63, отдел публицистики — 291-05-09, отдел критики — 291-64-50, факс: 291-63-54.

Сдано в набор 03.07.94. Подписано в печать 04.09.94. Формат бумаги 70 x 108 1/16. Печать высокая. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 21,7. Уч.-изд. л. 19,76. Тираж 23 000 экз. Зак.312ТКЗ. Цена свободная.

---

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И.И.Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена свободная

Индекс 70250

ISSN 0012-6756. Дружба народов, 1994, №9, 1-192